

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ · ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
МАЖЮЛИС В. П.
МЕЛЬНИЧУК А. С.

РАСТОРГУЕВА В. С.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОВОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ЩЕРБАК А. И.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие X Международному съезду славистов	5
Ш м и д т К. Х. (Бонн). Значение новых данных для реконструкции праязыка.	6
А л е к с е е в А. А. (Ленинград). Задачи научного издания славянских и русских источников XI—XVI вв.	26
Ж у р а в л е в А. Ф. (Москва). Лексикостатистическая оценка генетической близости славянских языков	37
З о л о т о в а Г. А. (Москва). Синтаксические основания коммуникативной лингвистики	52
П а н ф и л о в В. С. (Ленинград). О вьетнамских классификаторах	59

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В и н о к у р Г. О. О возможности всеобщей грамматики	70
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

XXIX сессия Постоянной международной алтаистической конференции	91
И в а н о в В я ч. Вс. (Москва). К проблеме тохаро-алтайских лексических связей	99
Р а с с а д и н В. И. (Улан-Удэ). Роль контактов в образовании тюрко-монгольской языковой общности	103
Т е к и н Т. (Анкара). Внутритюркские свидетельства соответствия тюркского /š/, чувашского /š/ и монгольского /č/	108
П ю р б е е в Г. Ц. (Москва). Инфинитные конструкции как объект типологического изучения	112
К у з ь м е н к о в Е. А. (Ленинград). Монгольские элементы в маньчжурском и диалектная база старомонгольской письменности	117
Б у р а е в И. Д. (Улан-Удэ). Результаты контактирования языков алтайской общности в циркумбайкальском регионе	123

Рецензии

Ш а р а ш и д з е Ж. (Париж). <i>Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.</i> Индоевропейский язык и индоевропейцы	129
Ф ё й е Ж. (Нант). <i>Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.</i> Индоевропейский язык и индоевропейцы	138
Э д е л ь м а н Д. И. (Москва). <i>Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.</i> Индоевропейский язык и индоевропейцы	140
Ж и в о в В. М. (Москва). <i>Янин В. Л., Зализняк А. А.</i> Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.).	145
А л в р е П. Ю. (Тарту). <i>Baker R.</i> The development of the Komi case system. A dialectological investigation	156

C O N T E N T S

Greeting to the X International Congress of slavists; S c h m i d t K. H. (Bonn). Contributions from new data to the reconstruction of the Proto-language; A l e k s e e v A. A. (Leningrad). Aims of a scientific edition of Slavonic and Russian written monuments of the XI—XVI centuries; Ž u r a v l e v A. F. (Moscow) Lexico-statistic evaluation of genetic affinity of Slavonic languages; Z o l o t o v a G. A. (Moscow). Syntactic principles of communicative linguistics; P a n f i l o v V. S. (Leningrad). On Vietnamese classifiers; D j a č k o v M. V. (Moscow). Phenomena involved in the pidginization and creolization of languages; **From the history of science:** V i n o k u r G. O. On the possibility of universal grammar; **Surveys:** The XXIX Session of the Permanent International Altaistic Conference; I v a n o v V. V. (Moscow). On the problem of Tokharian-Altaic lexical links; R a s s a d i n V. I. (Ulan-Ude). The importance of contacts in the formation of Turkic-Mongolian language community; T e k i n T. (Ankara). Inner-Turkic evidence for the correspondence: Turkic /š/, Chuvash /ś/ and Mongolian /č/; P'j u r b e e v G. C. (Moscow). Infinite constructions as an object of typological study; K u z' m e n k o v E. A. (Leningrad). Mongolian loans in Manchurian and the dialect base of the Old Mongolian writing; B u r a e v I. D. (Ulan-Ude). Contacts of languages of the Altaic community in the region around the Baikal Lake and their results; **Reviews:** C h a r a c h i d z e G. (Paris). *Gamkrelidze Th. V., Ivanov V. V. The Indo-European language and the Indo-Europeans*; F e u i l l e t J. (Nantes). *Gamkrelidze Th. V., Ivanov V. V. The Indo-European language and the Indo-Europeans*; E d e l m a n Dž. I. (Moscow). *Gamkrelidze Th. V., Ivanov V. V. The Indo-European language and the Indo-Europeans*; Ž i v o v V. M. (Moscow). *Janin V. L., Zaliznjak A. A. The Novgorod Charters written on birch-bark (from excavations of 1977—1983)*; A l v r e P. J u. (Tartu). *Baker R. The development of the Komi case system. A dialectological investigation.*

ПРИВЕТСТВИЕ X МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Слависты нашей страны, лингвисты, литературоведы и историки, приветствуют X Международный съезд славистов и желают всем участникам съезда заинтересованной и плодотворной работы.

Десятый съезд — юбилейный. Без малого шесть десятилетий тому назад, в 1929 году, состоялся первый съезд славистов (славянских филологов) в Праге, определивший программу научных исследований на последующий более чем полувековой период. В разработке новых направлений и идей в ту пору принимали участие многие известные ученые, в том числе И. А. Бодуэн де Куртене, Н. С. Трубецкой, А. Мейе, Е. Курилович, С. Младенов, А. Белич, Н. Н. Дурново, А. М. Пешковский, М. Р. Фасмер, Т. Лер-Сплавинский, С. М. Кульбакин, В. Дорошевский, Л. Теньер, А. Вайан, Д. В. Бубрих и др. На первом съезде выступили со своими тезисами члены «Пражского лингвистического кружка». Славистические съезды, таким образом, были с самого начала съездами, поднимающими и решающими широкие общелингвистические и филологические проблемы языкознания и сравнительного и общего литературоведения.

Вторая мировая война и ее последствия приостановили почти на два десятилетия проведение славистических съездов, однако уже первый послевоенный съезд славистов в Москве в 1958 году, во главе которого был основатель журнала «Вопросы языкознания» В. В. Виноградов, дал мощный импульс дальнейшему международному сотрудничеству славяноведов и регулярному проведению славистических съездов.

Славяноведение в наше время развивается на всех континентах. Число славистических институтов, кафедр и объединений постоянно растет. Свидетельством тому — наличие авторитетных научных центров в Японии, Австралии, Канаде. Возникают новые формы сотрудничества и взаимности между славистами славянских стран, славянских и неславянских стран, академических, университетских и иных институтов, фондов и учреждений. Приближаются к своему завершению такие крупные международные предприятия, руководимые Международным комитетом славистов, как Общеславянский лингвистический атлас, Общекарпатский лингвистический атлас, серия трудов по истории славистики, продолжается интенсивная работа по изучению грамматического строя славянских языков, по лексикографической обработке словарного фонда древнеславянского (церковнославянского) языка и фонда его различных редакций, по славянской ономастике, ставится вопрос об объединении усилий по разработке проблем славянской фразеологии, поэтики, текстологии.

Последовательно стремясь к расширению и укреплению сотрудничества славяноведов всех стран и континентов, мы желаем X Международному съезду славистов в Софии успешной работы и ожидаем от него значительных научных результатов, ведущих к дальнейшему подъему мировой науки о славянах.

ШМИДТ К. Х.

ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАЯЗЫКА

Настоящая работа посвящена рассмотрению следующего вопроса: в какой мере реконструкция того или иного праязыка может быть модифицирована в результате открытия новых данных. Под новыми данными здесь имеется в виду прежде всего расширение материальной базы какого-либо языка или языковой группы после открытия новых документов или даже целых языков, генетические связи которых с уже известными языками могут быть доказаны посредством введенной Э. Бенвенистом процедуры идентификации. Суть этой процедуры Э. Бенвенист определяет так: «Данная процедура связана с учетом конкретной субстанции и сравниваемых элементов» [1, с. 102]. Я бы назвал этот вид расширения конкретной языковой базы субстанциональным расширением (СР) в отличие от интерпретационного расширения (ИР), представляющего собой новый анализ или аранжировку материала как результат лучшего понимания или более удачной интерпретации имеющихся данных. Классическим примером ИР в области индоевропейской морфофонемике являются законы, установленные Грасманом [2], Вернером [3], Бругманом [4] и Ф. де Соссюром [5]; см. также [6, 7]). В более позднее время предметом обсуждения явились ларингальная и глоттальная теории¹.

Необходимо отметить, что при получении новых данных СР и ИР не всегда четко отделяются друг от друга, они могут различным образом комбинироваться. К примеру, ларингальная теория (она подтверждена конкретными свидетельствами, например, хеттским *h*, «довольно последовательным удлинением гласных перед индоиранским *nr* в сложениях» [15, с. 152, примеч. 3], некоторыми протетическими гласными в греческом и армянском, а также, возможно, и фригийском [9, с. 32, примеч. 3 и сл., с. 57, 70; 16, с. 68 и сл.]: ср.

(1) хет. *ha-an-za* («перёд»: греч. *ἀντί*, скр. *sū-náras* < **su-h₂nero-s* «прекрасный»: греч. *ἀντήρ*, др.-арм. *ayr*, фриг. *αῶαρ*: скр. *nar-*)

кажется ближе к СР, чем глоттальная гипотеза, которая в большей степени основывается на типологических критериях, таких, как низкая частотность **p* или глоттального **p'*, или на «универсалии», согласно которой звонкие аспирированные смычные предполагают наличие глухих аспирированных смычных (относительно обсуждения дополнительных аргументов см. [6, с. 343, примеч. 2 и сл.]):

(2)	I	II	III	
	(<i>p'</i>)	<i>b</i> ^[h]	<i>p</i> ^[h]	
	<i>t'</i>	<i>d</i> ^[h]	<i>t</i> ^[h]	
	<i>k'</i>	<i>g</i> ^[h]	<i>k</i> ^[h]	[12, ч. I, с. 39].

¹ Относительно истории ларингальной теории см. [8, 9]; относительно глоттальной теории см. [10; 11; 12, ч. I, с. 5—80; 13]; обе теории обсуждались М. Майрхофером [14]. Настоящая работа строится на результатах, полученных на основе ларингальной теории, и дает оценку глоттальной теории.

Теоретически свидетельства в пользу СР и ИР могут быть почерпнуты из всех языков мира. Но здесь мне хотелось бы сосредоточиться (после общего вступления) на СР и двух моделях ИР в индоевропейском. Настоящая статья построена следующим образом: I. Некоторые принципы реконструкции праязыков; II. Свидетельства субстанционального расширения (СР); III. Две модели интерпретационного расширения (ИР); IV. Резюме.

I. Некоторые принципы реконструкции праязыков

Реконструкция праязыка типа индоевропейского основывается на теории, предполагающей происхождение генетически связанных языков от общего предка, называемого п р а я з ы к о м. При доказательстве языкового родства релевантными являются лишь материальные совпадения («stoffliche Übereinstimmungen»), как их назвал Трубецкой [17, с. 214—233, 217]². Таким образом, субстанция языкового знака, но не его структура или тип может изменяться независимо от генетических связей языка. Поэтому Ельмслев прав, когда он утверждает: «Внутри одной языковой семьи могут быть языки совершенно различных типов, а в пределах одного и того же языкового типа могут быть языки совершенно различных семей» [18]. В качестве лишь одного примера развития различных языковых типов внутри одной языковой семьи можно указать на агглютинирующее склонение в современном армянском языке, в котором, в отличие от флективного склонения древнеармянского, имеются отдельные морфемы числа и падежа:

(3) др.-арм. ном. ед. ч. *azg*, мн. ч. *azg-k'*, ген. ед. ч. *azg-i*, мн. ч. *azg-ic* > совр. арм. ном. ед. ч. *azg*, мн. ч. *azg-er*, ген. ед. ч. *azg-i*, мн. ч. *azg-er-i*.

Тип склонения в современном армянском предполагает г р у п п о в у ю ф л е к с и ю (Gruppenflexion) атрибутивной синтагмы³.

(4) др.-арм. *tes-i arkay-i τὸ ἄλλο βρασιλέως* (Матф. 5, 35) vs. совр. арм. *tes setan-i* «большого стола».

Групповая флексия в (4) характеризуется отсутствием автономии слова⁴ — определение *tes* «большой» в современном армянском лишено флексии. Более того, агглютинация современного армянского коррелирует с редукцией варьирования формы⁵, т. е. с алломорфным варьиро-

² Однако Трубецкой недооценивал в своей статье эвристическую значимость таких совпадений (относительно «6 структурных признаков» Трубецкого см. у Бенвениста [1, с. 109, примеч. 1], который пишет, что «язык такелма обладает всеми теми шестью признаками, совокупность которых, по мнению Трубецкого, является отличительной чертой индоевропейского типа»).

³ Относительно термина «Gruppenflexion» см. [19], где Ф. Финк говорит о «г р у п п а х элементов, которые, будучи словами, п а х о д я щ и м и с я в с т а н о в л е н и и, кажутся относительно слабо связанными друг с другом».

⁴ Относительно термина «автономия слова» (Autonomie des Wortes) см. [20, с. 14]: «Каждое слово в предложении является самостоятельным и содержит в себе форманты, характеризующие его отношение к другому слову (согласование) или его функцию внутри предложения (флексия)».

⁵ Относительно термина «вариация формы» (Formvariation) см. у Э. Леви [21, с. 205 и сл.], который дает следующее определение: «обозначение одной и той же... внутренней формы посредством различных внешних форм», например, *vir-i, cui-us, stella-rum*.

ванием в пределах одного и того же падежа:

(5) др.-арм. *azg* «нация, народ», *-i, -ē, -iw*; мн. ч. *-k', -s, -iç, -twk' >* совр. арм. *azg, -i, -iç, -ov, -um*; мн. ч. *-er, -eri, -eriç, -erov, -erum*; др.-арм. *ji* «лошадь». *-oy, -ov*; мн. ч. *-k', -s, -oç, -ovk' >* совр. арм. *ji, -u, -uç, -ov, -um*; мн. ч. *-er, -eri, -eriç, -erov, -erum*!

Пример (5) показывает, что различие между *i*- и *o*-основами древнеармянского в современном языке было нейтрализовано как в формах инструменталиса и локатива ед. ч., так и во всех падежах во множественном числе. В сравнении с современным армянским французское склонение развивалось совершенно отличным образом:

(6) лат. *capitis* > франц. *de la tête*.

Разделение «понятия, класса, падежа» («Begriff, Klasse, Kasus»), которое Леви назвал «изоляцией флексии» (Flexionsisolierung) [22, с. 17], по существу равнозначно «технике изоляции» и «аналитическому синтезу» Сэпира [23, с. 142] ⁶. Несмотря на эти типологически контрастирующие субституции, которые пришли на смену индоевропейской модели склонения, никто не станет подвергать сомнению генетическую связь между современным армянским и французским.

Мы лишь попутно затронем другие аспекты проблемы, которые необходимо учитывать в связи с реконструкцией праязыка. В числе их могут быть упомянуты различия между внешней и внутренней реконструкцией [26, с. 6 и сл.], между абсолютной и относительной хронологией, географическое положение языка в доисторические и исторические времена, а также типологические соображения.

Внешняя реконструкция состоит из серии операций:

а) установление повторяющихся звуковых и морфемных законов, благодаря которым отдельные языковые континуанты связываются с восстановленным праязыком, например:

(7) и.-е. **snusós* «невестка»: скр. *snusǎ*, др.-арм. *nu*, греч. *νός*; лат. *nurus*, др.-в.-нем. *snur*, ц.-слав. *snъchǎ*.

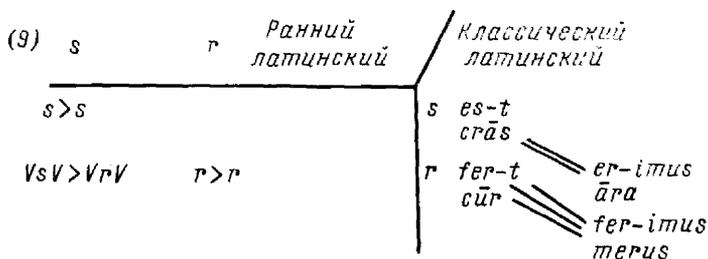
Индоевропейское **snusós* подверглось влиянию следующих законов: морфемного закона [замена *o*-основ ж. р. на *ā*-основы (санскрит, церковнославянский)]; фонологических законов [переход комплекса согласных **sn-* в **n-* в аналаге (древнеармянский, греческий, латинский)]; переход *s* в *θ* или *γ* в интервокальной позиции (древнеармянский, греческий, латинский) либо перед ударением (древне-верхне-немецкий); переход *s* в *ç* или *ch* после *u* (санскрит, церковнославянский), сдвиг ударения (латинский)] [27, с. 120 и сл.];

б) установление дополнительных трансформаций, таких, как семантические изменения или процессы аналогии, ограниченные отдельными языками; пример (8) касается древнеирландского гентива *sethar* вм. **sesar*, где спрант *th* развился по аналогии с другими терминами родства:

⁶ Ср. у В. Скадички: «Важнейшей чертой изолирующего типа является уменьшение числа аффиксов, которые даже могут и вовсе отсутствовать. Так возникают короткие одноморфемные слова. В живых языках имеется мало аффиксов, но в то же время целый ряд „формальных слов“». См. [24, с. 160 и сл.; 25].

(8) и.-е. *suesōr «сестра», ген. *suesrōs; др.-арм. k'oyr < *k'eur < *sy esōr, ген., дат., локат. k'er < *suesr-ōs, -ēi, -i; др.-ирл. siur. ген. sethar вм. *sesar по аналогии с bráthair, bráthar; máthair, máthar; athair, athar);

с) попытка реконструкции фонологической, морфологической, синтаксической и семантической систем праязыка (относительно реконструкции семантических систем см. [28, с. 585—598; 29, с. 45—52; 30—32]). Внутренняя реконструкция, основы которой были заложены уже Э. Германном [33, с. 1—64], имеет дело с морфонемными изменениями в отдельных языках как результатом расщепления, подобно тому, которое мы видим в описании механизма латинского ротацизма Х. М. Хёнигсвальдом⁷:



Отношение лат. *fer-t* к *fer-imus* сравнимо с отношением лат. *es-t* к *er-imus* (последняя форма восходит к **es-imus*).

Контраст между абсолютной хронологией (АХ) и относительной хронологией (ОХ) основывается на том факте, что наиболее важные консервативные, архаические элементы какого-либо языка могут быть по-разному мотивированы. АХ имеет дело с «возрастом» древнейших документов: не может быть никакого сомнения, что латинский язык ближе к модели реконструкции индоевропейского праязыка, чем его потомки — итальянский, французский, испанский и др. ОХ, с другой стороны, учитывает различную скорость изменения языков в зависимости от их географического положения (ср., например, маргинальные языки), от языкового уровня (ср., например, основной словарь; грамматические подсистемы) и, возможно, также и от типа языка. В примере (10) параметры 1) АХ и 2) ОХ комбинируются с факторами 3) непрерывная традиция (НТ), vs. фрагментарная традиция и 4) более длительный или менее длительный период традиции (ПТ) [35, с. 129]:

(10)	Хетский	Греческий	Санскрит	Албанский
1. Абсолютная хронология	+	+	+	—
2. Относительная хронология	±	±	±	—
3. Непрерывная традиция	+	+	+	+
4. Период традиции	—	+	+	—

⁷ Ср. у Хёнигсвальда: «формы *es-(t)* „он есть“ ~ *er-(imus)* „мы будем“ являются альтернирующими; *fer-(t)* „он несет“ ~ *fer-(imus)* „мы несем“ — не альтернирующими; *crās* „завтра“, *cūr* „почему“, *āra* „алтарь“ и *merus* „чистый“ являются неопределенными; выясняется, что *āra* содержит старое s, а *merus* — старое r» [34, с. 102; 27, с. 111, с. 15 и сл., с. 124].

Диаграмма (10), кроме того, показывает, что ОХ индоевропейских языков с древнейшей традицией, — т. е. хеттского, греческого и санскрита, — рассматривается в современных исследованиях индоевропейского праязыка совершенно иным образом.

Проблема географического положения тесно связана с вопросом разделения индоевропейских языков, который начал обсуждаться еще в XIX в. Лоттнер [36, 37] заменил греко-латинскую гипотезу своей италокельтской теорией; Шлейхер [38, с. 4 и сл.] развивал идею родословного древа, предполагавшую первичное расщепление индоевропейского на славянско-германский vs. арио-греко-итало-кельтский; И. Шмидт [39, с. 27] предпочитал «картину волны ..., представленной в виде концентрических кругов, затухающих по мере отдаления от центра»; Лескин [40, с. XIV и сл.] пытался синтезировать идеи Шлейхера и Шмидта; он, кроме того, установил важный принцип: «Критерии более тесной общности могут быть найдены только в таких позитивных совпадениях соответствующих языков, которыми в то же время эти языки отличаются от других» (см. также модификации этого принципа в [41, с. 390; 42, с. 57 и сл.]). А. Мейе [43] обсуждал вопрос об единстве индоиранского, итало-кельтского и балто-славянского в смысле диалектных групп, «которые сохраняли общность в период, следующий за индоевропейским». В настоящее время одним из наиболее важных вопросов индоевропейской лингвистической географии является положение хеттского и анатолийского внутри индоевропейской языковой семьи (см. недавнее обсуждение в IL 1984, № 9, особенно [44; 35, примеч. 19; 45; также 26, примеч. 14, 16]), а также проблема различий между восточными индоевропейскими языками (т. е. индо-иранскими, греческим, армянским) и индоевропейским праязыком ([47, 48, примеч. 13], см. критику в [49] и [42, примеч. 24]).

С точки зрения лингвистической типологии [50—51] необходимо принять во внимание ряд черт на уровне фонологии, морфологии и синтаксиса. Эти вопросы часто обсуждались различными авторами, а недавно — Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым в их обстоятельной работе [12]. Убедительность типологических критериев ограничивается следующей дилеммой. Имеются ясные указания на индоевропейский тип, который отличается от модели, полученной путем прямой реконструкции. Однако этот типологически вероятный реконструкт трудно верифицировать из-за огромной временной дистанции. Так, например, на уровне морфологии и синтаксиса индоевропейской номинативно-аккузативной конструкции весьма вероятно предшествовала еще более древняя синтагма, состоящая из активного и неопределенного падежей. На возможность такого, более древнего реконструкта указывает ряд черт, среди которых могут быть упомянуты следующие:

а) древняя дихотомия по роду — о б щ и й (communis: мужской и женский) и средней (neutra), — установленная для доисторических времен, несмотря на то, что она еще не доказана для анатолийского [52]. Нет необходимости упоминать, однако, о том, что распространитель корня *i*, которым характеризовался номинатив/аккузатив ед. и мн. ч. нескольких классов основ в лувийском, не может быть использован в качестве доказательства наличия древнего женского рода:

(11) ном./аккуз. ед./мн. ч. лув. *harrani-* «орел», перогл. лув. *suçani-* «собака»; лув. *çašu-* (ср. р.) «хороший», *çašui-* (общ. р.); *ura-* (ср. р.) «большой», *uri-* (общ. р.); *ārraja-* (ср. р.) «длинный», *āraji-* (общ. р.) [53, с. 408 и сл.; 45, с. 149, примеч. 26; 46, с. 25, примеч. 26];

б) противопоставление классов активных и пассивных/стативных глаголов как предварительная ступень для противопоставления аориста/презенса и перфекта⁸.

в) различие между маркированным номинативным/аккузативным падежом общего рода и немаркированным номинативным/аккузативным падежом среднего рода: до появления номинатива и аккузатива система основывалась на неопределенном падеже (*casus indefinitus*, относительно этого термина см. [56, с. 213 и сл.; 57, с. 41 и сл.; 58]) или на абсолютном падеже. Этот последний явился предшественником активного (*activus*) и объектного (*obiectivus*, «*Zielkasus*») падежей, появление которых, в свою очередь, было первым шагом на пути становления номинатива и аккузатива. Неиндоевропейские параллели маркирования прямого объекта в целом следуют тому принципу, что «раздельная маркировка аккузатива и согласование глагола с объектом более вероятны в именных фразах, которые характеризуются высокой степенью одушевленности и определенности» [59, с. 212]. Применительно к эргативным и активным языкам этот принцип лег в основу гипотезы, предложенной М. Сильверстейном [60, с. 122]: «Если эргативная система расщепляется просто на две двусторонние схемы падежной маркировки, то минимально или [+ ego], или [+ tu]-формы являются номинативно-аккузативными, а остальные — эргативно-абсолютивными» (ср. также у С. Маклендон [61, с. 61]: «... система отделяет нарицательные и собственные имена, для которых должна быть маркирована функция агенса, от местоимений, терминов родства и личных имен, для которых маркированной должна быть функция пациенса» ([62, с. 52; ср. [63]).

Вопреки этим закономерностям — и в этом состоит дилемма — процессы языкового изменения, благодаря которым доисторический тип трансформировался в праиндоевропейский реконструкт, не могут быть во всех деталях подтверждены из-за огромной временной дистанции. Тем не менее столь же ошибочным было бы как полное игнорирование типологических соображений, так и некритическое принятие недоказанных гипотез.

II. Данные, получаемые на основе субстанционального расширения (СР)⁹.

В соответствии со степенью своего воздействия на реконструкцию модели индоевропейского праязыка свидетельства новых данных могут быть подразделены на три группы:

⁸ Ср. у Каугилла [54, с. 34]: «Именные глаголы — предшественники индоевропейского перфекта и азиатского *hi*-спряжения — не различали времени или залога и основывались на 3-м л. ед. ч. отыменного происхождения...», см. там же, примеч. 26; также ср. у К. Х. Шмидта [55, с. 97]: «Как первоначально стативный глагольный класс праиндоевропейский перфект, в отличие от аористо-презентной системы (возникшей из более поздней категории динамических глаголов), испытывал дефицит в морфологических категориях: его признаки ограничивались имперфектным аспектом и интранзитивной диатезой».

⁹ См. [64, с. 270—277], где дается общий обзор развития индоевропейской лингвистики за период между 1957 и 1982 гг.

и более поздние инновации. Вероятными архаизмами являются такие черты, как рефлексы ларингальных, сохраненные в хеттском (№ 1), а также, по-видимому, древняя дихотомия *genus commune* и *genus neutrum*, отсутствие перфектного времени¹² и сигматического аориста¹³, сохранение форм древнего генитива ед. ч. *o*-основ на *-*os*:

(13) хет. ном. ед. ч. *antuḫṣ-a-š*, ген. ед. ч. *antuḫṣ-a-š* в противоположность *-*esol-oso* (греческий, германский, древнепрусский); *-*osio* (индоиранский, греческий, древнеармянский, фалискский); *-ī* (латинский, кельтский, венецкий, мессапский); *-*ōd* (славянский, восточнобалтийский, возможно, дакский, кельтиберийский), *-eis* (оскско-умбрийский)¹⁴, а также дистрибуция так называемых пространственных падежей в древнехеттском, изучавшаяся Штарком [73]:

(14)

	Ед. ч.		Мн. ч.
	класс вещей	класс лиц	
датив		<i>-i</i>	} <i>-aš</i>
терминатив	<i>-a</i>		
локатив	<i>-i</i>		
аблатив	<i>-az</i>		
инструменталис	<i>-it</i>		

или использование неопределенного падежа в качестве локатива [74].

В других случаях в анатолийском наблюдались инновации. Последние изучались особенно в отношении возможной утраты старого суффикса оптатива *-*ieh₁-/ih₁*, характеризовавшегося градацией основы¹⁵.

¹² См. у Каутилла [54, примеч. 31]: «...именная форма, которая лежит в основе индоевропейского перфекта и анатолийского *hi*-спряжения, должна была быть чистой основой без падежных окончаний; она использовалась предикативно и образовывалась от формы *o*-ступени корня с суффиксами *-e-/o-* в активном значении; подобный тип представлен в гомер. греч. *ᾠδός* „певец“, *πυρρός* „сопровождение“; вед. *nāyā-* „вождь“, *śāki-* „помощник, помогающий“; лат. *procius, coquus*; н.-слав. *prorokъ* „пророк“; тох. В *plewe* „плот, лодка“; хетт. *iš-ha-a-aš* „хозяин“ (<**scoḗ-o-s* или **scoḗ-o-s*); см. также примеч. 10.

¹³ См. [12, ч. 1, с. 389, примеч. 3; 72, с. 490—514]. Рикс [26, примеч. 14] отмечает: «Морфологический след усматривали также в окончании *-š* в 3-м л. ед. ч. претерита *hi*-спряжения (*naiš* „он вел“; также в *-š*-окончаний *-šten-, šteni* во 2-м л. мн. ч.), которое обычно сводили к пеходу *-š-t* сигматического аориста. Для этого *-š*, однако, были предложены и другие объяснения: смешение форм 3-го л. с формами 2-го л. ед. ч. или с архаическим окончанием 3-го л., которое собственно лежит в основе сигматического аориста...».

¹⁴ Ср. ц.-слав. *bog-a* < **bhāg-od*, литов. *tėv-o*, лтш. *tēv-a* < **ōd* (по аналогии с гласной основы *-a-*; ном. ед. ч. *-as* и т. д.) < **ōd*; дакск. *Decebalus per Scorilo*; кельтиберийск. *tocaitos* : *cue* : *sarnicio* : *cue*.

¹⁵ Ср. [45, с. 144 и сл., примеч. 26]. Штрунк ссылается на замечание Ф. Зоммера («аблаут *-iē-* : *-i-* в суффиксе основы») [75, с. 63] и приводит дополнительные аргументы относительно возраста оптатива, в частности: «К предполагаемой основной функции праисторического оптатива, ... заключающейся в выражении желания и представления (потенциальность, пререальность), совершенно точно подходят р е г у л я р н ы е при этом наклонении вторичные окончания, которые, в отличие от первичных окончаний, являются немаркированными и нейтральными в отношении ко времени и действительности» (с. 45 и сл.; см. также [26, с. 20, примеч. 14]).

Отсутствие грамматически оформленной категории аспекта¹⁶ вполне могло быть результатом иного специфического развития в анатолийском. Его былое наличие подтверждается формами развития настоящего времени в анатолийском [77, с. 249, примеч. 13; 78]. Отсутствие дифференциации между аористом и имперфектом предполагает утрату архаичного «*tempus primum*», о котором Швицер писал [79, с. 640]¹⁷ следующее: «При формальном подобии решающим для понимания является положение в системе» (с. 640):

(15) греч. аор. ἐγένετο: през. γίγνεται имперф. ἐγγίνετο vs. скр. имперф. *ajanata*: през. *janate* (ср. др.-лат. *genit*); др.-арм. аор. *eber* «он нес» < **ebheret*: имперф. скр. *abharat*, греч. ἐφερε; др.-арм. аор. *elik* '«он оставил» < **elik* et: аор. скр. *aricat*, греч. ἔλιπε.

Хотя хеттский и разделяет с другими древними индоевропейскими языками набор характерных черт в склонении (классы основ, падежи: см. [81, примеч. 31; 53, примеч. 30]) и спряжении (формы основ настоящего времени, две серии личных окончаний, дифференциация активной и средней диатезы), его архаизмы указывают на раннее отделение анатолийской языковой группы от индоевропейского. Если не принимать во внимание те инновации, которые произошли после его отделения, как, например, переход от категории состояния к *hi*-спряжению, утрату аспекта и *tempus primum*, а также, вероятно, и опатива, то анатолийский соответствует реконструкции более архаического индоевропейского типа, характеризующегося следующим набором черт: наличием глаголов, различающихся в отношении диатезы (состояние vs. действие) и аспекта (презенс/имперфект vs. аорист), наличием существительных, обозначающих лицо (общий род) и не-лицо (средний род), из которых только первый класс встречается в функции агенса; обычное использование неопределенного падежа [35, с. 133, примеч. 19].

Что касается тохарского, система склонения которого обнаруживает такие типологические инновации, как агглютинация и особая маркировка аккузатива ед. ч. в отношении к существительным, обозначающим разумные существа, то я хотел бы обратить внимание на утверждение, высказанное недавно В. Томасом [82, с. 128]: «В связи с особенностями преобразования и изменений в своей языковой системе тохарский не приобрел такого значения для индоевропейского праязыка и индоевропеистики, как хеттский и другие индоевропейские языки, открытые к началу XX в.». То, что две упомянутые выше черты отражают последующее развитие тохарского склонения, подтверждается консервативным статусом отдельных классов: с одной стороны, грамматические падежи не разделяют перехода от флективного к агглютинативному падежному типу; с другой стороны, термины родства, в основном *r*-основы, которые обычно считаются архаичными, лишены маркера аккузатива ед. ч.:

¹⁶ Относительно возраста этой категории ср., с одной стороны, утверждение О. Семерельи [76, с. 528, примеч. 43]: «Аспект следует рассматривать не как общее наследие, а как результат параллельного и независимого развития» (это не убедительно), и, с другой стороны, слова Рикса [26, с. 12, примеч. 14]: «Не следует избегать гипотезы о том, что аспектная оппозиция должна была возникнуть уже в праиндоевропейском».

¹⁷ См. также [80, с. 42, 45 и сл.]; относительно проблемы образования простой тематической презенсной основы в древнехеттском см. [78, с. 259 и сл., примеч. 49; 26, с. 20, примеч. 14, с. 14 и сл.].

(16) тох. В ном. ед. ч. *pācer* «отец» (A *pācar*), косв. *pātār*; ген. *pātri*; [A *pācri*]; В косв. *petso* «муж» [A ном./косв. *pats*], ном./косв. *soy* «сын» [A *sel*].

Группа b), т. е. языки, существенные главным образом для изучения отдельных групп праязыка, состоит, помимо прочего, из чрезвычайно древних индоарийских и греческих документов. Данные митаннийского языка из Малой Азии ограничиваются немногими апеллятивами, теонимами и личными именами; среди этого материала мы находим числительные, частично в архаичной форме и частично как инновации:

(17) митан. *aika-* «один»: вед. *eka-*, *ti-e-ra-* «три»: вед. *tri-*, *pa-an-za-* «пять»: вед. *pāñca-*, *ša-at-ta-* «семь»: вед. *saptá-*, **na-a-ṇa-* «девять»: вед. *náva-* [83, с. 15].

Свидетельства микенского языка (см. [16, с. 5, примеч. 5; 84—86]), ставшие доступными после дешифровки линейного письма В, демонстрируют серию архаизмов, например, сохранение лабиовеларных, отсутствие стяжения гласных и сохранение **ṣ* почти во всех позициях:

(18) микен. *qo-u-ko-ro/g^u* οααοαοα = βοαααοαοα, *a-to-ro-qo* / άαααααα^ωαα = άαααααα^ωαα; *do-e-ro* / δαααοαα = δααααοαα; *wa-tu* / φααααα = άαααααα.

Что касается венецкого языка, который известен по надписям, найденным в северо-восточной Италии (Эсте, Лаголе), и который обнаруживает ряд совпадений с латинским, то его позиция остается спорной:

(19) венец. *ekvon*: *equum* (с **kū*); *vivoi*: *vivō* (дат., **g^uūo-*), *murtwoi*: *mortuo* (дат. п., ц.-слав. *mrtvъ*); **l, r > ol, or*: *vclti* «воля» (субст.), *murtwoi*; формы основы *fak-* «делать», *donā-* — «дарить, вручать» (см. [87], где

содержатся ссылки на более старые работы, но отвергается италийская (латинская гипотеза)).

Еще одним представителем группы b) является кельтиберийский, который я буду обсуждать в контексте галльских надписей, особенно надписи из Шамальера, принадлежащих группе с). Основополагающим для идентификации кельтиберийских надписей в качестве кельтских (она осуществлена в 1946 г. А. Товаром [88]) был произведенный М. Гомесом Морено в начале 1920-х годов анализ этнических и лингвистических стратов иберийского п-ова на основе убедительного чтения иберийских писем [89]. Кельтиберийский синтаксис характеризуется рядом архаичных черт, и прежде всего основным порядком слов «субъект — объект — глагол», причем определяющий элемент предшествует определяемому. Синтаксис по крайней мере двух надписей, из Боторриты и Пеньяльба де Вилластар, скорее всего основывается на этом принципе (см. [90, 91]):

(20) 3) *uta*: *oscuēs*: *stena*: *ueroniti*: *silabur*: *sleitom*: *conscilitom*: *gabi-seti* «и кто всегда пытается эти (строения) завоевать, должен брать (*gabiseti*) серебро, на кусочки расколотое»; 4) *uta*: *oscuēs*: *boustomue*: *coruinomue macasi[a]mue ailamue ambitiseti* «и кто хочет построить хлев или вал, или стену или другое (здание) ...»; 8) *iās*: *osias*: *uertatosue*: *temeiue*: *robiseti*: *saum*: *tecametinas*: *tatus*: *somei*; 9) *enitousei* «те *arsnas* (ж. р. мп. ч.), которые он или вне дома, или в доме разложит/убьет, десятую часть из них надо принести в жертву этому *Tousos*»; 10) *tocoitei*: *ios*:

ur : *antiomue* : *ausei* : *aratimue* : *tecametam* : *tatus* «что касается тогетов, которым У. или А. должны/будут приносить процветание, то десятую часть их следует принести в жертву» (Боторрита А) [92, с. 170].

В числе архаизмов кельтиберийского синтаксиса, не известных ни галльскому, ни древнеирландскому, могут быть упомянуты полностью скаляемое относительное местоимение **ios*, повторение союзов **k^we*, **nek^we*, *цѣ* и союз *uta*, засвидетельствованный также в индоиранском.

(21) кельтибер. *Tocoitos cue* : *sarnicio* : *cue* (Боторрита А1): греч. *κατὶρ ἀνδρῶν τὲ βῆῶν τὲ* (A544) vs. лепонтийск. *Latumarui Sapsutai pe* vs. архаическ. прл. *fer ḍa n-élat be(i)ch ro-ch lamethar jorgull* «человек, от которого спасаются пчелы (т. е. пчелиный рой) и который осмеливается (т. е. кто готов) дать показания».

В кельтиберийском имеются две морфологические черты, которые отражают более древнюю модель реконструкции пракельтского:

1) четыре конъюнктива-футурума на *s* с тематическими окончаниями 3-го л. ед. ч., которые соответствуют индоевропейскому типу, представленному в греческом, индоиранском, оскско-умбрском и средневаллийском:

(22) *gabiseti* «он должен взять», *ambisieti* «он будет строить вокруг», *robiseti* «он будет убивать», *ausei* «он должен/будет приносить процветание (приумножать)», гомер. *ἀμείψεται*, лат. *καίῃσσομεν*, др.-инд. *néṣat* = авест. *naēšat* «должен вести», оскск. *just* «erit», *deivast* «iurabit», умбрск. *ferest* «feret»; ср.-кипр. *duch* «может принести» < **deuk-s-e-t*, *gwares* «может прийти на помощь» < **uo-ret-s-e-t*, *gunech* «может сделать» < **ureg-s-e-t* (ср. [92, с. 171, примеч. 60], где, тем не менее, следуя Р. Турнайзену [93, с. 391], оскско-умбрские данные по-прежнему объясняются атематической флексией; см. также [16, с. 230, примеч. 5; 94, с. 288]);

2) генитив ед. ч. *o*-основ на *-o*, ср. *Tocoitos cuiē* : *sarnicio* : *cue* в примере (22).

Комментарии к конъюнктивам-футурумам на *s* в (22): а) основообразование и степень аблаута : *gabiseti* является поздней формацией, образованной от основы настоящего времени:

(23) др.-прл. *ga(i)bid* В II «берет», галльск. *gabi budduton imon* (см. [95, с. 15 и сл.] и мой обзор в [96, с. 330 и сл.]; см. также [97, с. 403 и сл., примеч. 59]).

Что касается аблаута (см. [98, с. 84 и сл.] — **ueg-*, **uōg-*, **aug-*, **ug-*: лат. *augēre*, гот. *aukan*, литов. *augti* «расти» и т. д.), то *ausei* обнаруживает полную ступень, которая не совсем ясно представлена в таких примерах, как *ambi-tise-ti*, в корне **dheiǵh-* или **steigh-*, и в *robiseti*, в корне **bhei(h)-*, где полная ступень *ei* либо выражена через *i* вместо *e*, либо изменена по аналогии.

б) Кельтиберийские конъюнктивы-футурумы корней **dheiǵh-* или **steigh-*, **bhei(h)-*, **aug-* и презентной основы *gabie/i-* доказывают, что правило, действовавшее в древнеирландском («Конъюнктив на *s* образуется только от сильных глаголов, корень или глагольная основа которых оканчивается на дентальный или гуттуральный смывный или спирант либо (в презенсе и претерите) на *nn*» [93, с. 380]), не применимо к пракельтскому.

Отсутствием дифференциации между конъюнктивом и футурумом кельтиберийские глагольные формы в примере (22) напоминают шесть древнеирландских глаголов, в которых «основа будущего времени... совпадает с основой конъюнктива» [93, § 662], ср. также [99]:

(24) др.-ирл. *aingid-*, *-anich* «защищает»: конъюнкт. фут. ед. ч. 3-го л. *'ain* < **aneg-s-t*; *la(i)gid* «лежит»: *'lé* < **leg-s-t*; *sa(i)did* «сидит»: *seiss* (абсолют.) < **sed-s-t* + гласный; *reg-* «протянуть»: *'ré* < **reg-s-t*; *rethid* «бежит»: *'ré* < **ret-s-t*; *techid* «избегает»: *'tess* (1-е л. ед. ч.) < **tek^wsō*.

Судя по кельтиберийским и валлийским свидетельствам в (22), можно заключить, что различие в древнеирландском атематического окончания в 3-м л. ед. ч. активных и депонентных глаголов, как и во 2-м л. ед. ч. депонентных глаголов *s*-конъюнктива, *s*-футурума и *s*-претерита, в отличие от тематического окончания во всех других случаях, было результатом обоюдной аналогической адаптации конъюнктива, футурума и претерита.

с) Тематический конъюнктив-футурум в (22) необходимо рассматривать в контексте двух других кельтских форм будущего времени на общеевропейском фоне: 1) будущего на **-sje-/sjo-*, которое встречается три раза в галльских надписях из Шамальера:

(25) *bissiet* «он будет расщеплять»: **bheid-*, **bhid-*; *pissiiu mí* «я увижу»: др.-ирл. *ad'ci* «видит» < **k^wis-e-t*; *toncnaman toncsionio* «которые будут давать клятву» [92, с. 174, примеч. 60].

Суффикс **-sje-/sjo-* при соединении с корнями, оканчивающимися на сонант, предполагает развитие ларингального между корнем и суффиксом основы. Эта форма будущего времени известна в индоиранском с рефлексам в балтийском и славянском [100]; недавно П. Холлифилд предпринял попытку доказать его наличие в греческом [101]:

(26) вед. *kar-i-syā-ti* «он сделает», *vak-syāti* «он будет говорить». авест. *vax-šyā* «я буду говорить», литов. *dūo-siu* «я дам», ц.-слав. *byšęšteje*, *byšōšteje* < **bhū-sjo-nt-* «то μέλλο», греч. (Гес.) *κειοντες·κοιμηθησομενοι* < **kei-h₁-sjo-nt-* = вед. *śay-i-sya-nt-*.

2) кельтские свидетельства других образований будущего времени ограничены древнеирландскими «сигматическими и аспигматическими редуцированными футурумами», которые «первоначально составляли один класс» [93, с. 414]. Это образование по существу соответствует индоиранскому дезидеративу. В кельтском и индоиранском этот старый дезидератив отмечен как редупликацией, так и присоединением к основе суффикса *s*, которому предшествует ларингальный, если он присоединяется к корню, оканчивающемуся на сонант:

(27) скр. *cikīrṣati* : *kar* «делать», *kṛtā-*; *śuśrūṣate* : *śru-* «слышать», *śrutā-*; др.-ирл. *celid* «скрывает»: буд. *'céla* < **cechla* < **kiklā* < **kikl^hse-l-o*; *ga(i)rid* «зовет»: буд. *'géra* < **gigr^hse-l-o*; *'géna* «ранит» (: скр. *jighāṃsati*; корень *han-*).

Все эти формы будущего времени, конъюнктивы-футурумы в примерах (22) и (24), а также футурумы в (25) и (27), принимая во внимание их параллели за пределами кельтского, должны рассматриваться как пра-

кельтские и архаичные. Они, вероятно, восходят к тому периоду, когда кельтские \bar{a} -конъюнктивы (см. [93, с. 380 и сл.], где указывается на «сильные глаголы *agid* „гонит“ и *ad·gládathar* „обращается“» с a -конъюнктивом) и древнеирландские f -футурумы¹⁸ либо еще не были продуктивными (\bar{a} -конъюнктивы), либо вовсе отсутствовали (др.-ирл. f -футурум). В отношении f -футурума, который представлен лишь в древнеирландском, этот вывод кажется самоочевидным. Необходимо, однако, иметь в виду, что встречаемость \bar{a} -конъюнктива [104] ограничена западными индоевропейскими языками, по-видимому, лишь италийским и кельтским¹⁹. Попытка Х. Рикса (см. [107, с.153]; ср. [26, с. 24, примеч. 14]) свести происхождение \bar{a} древнеирландского \bar{a} -конъюнктива к дезидеративному суффиксу $*-h_1se/o-$ предполагает разделение италийского и древнеирландского \bar{a} -конъюнктивов:

(28) арх. лат. *advenat, attulat*; др.-ирл. $*bera$ $*bher\bar{a}$ -t: индик. наст. вр. *beir* < $*bher\bar{e}$ -t; др.-ирл. \bar{a} - < $*h_1se/o-$: ср. греч. $\mu\epsilon\nu\omicron\upsilon\sigma\iota$, гомер. $\mu\epsilon\nu\epsilon\omicron\upsilon\sigma\iota$ < $*men\text{-}h_1\text{-}so\text{-}nti$.

Другая слабая сторона этой теории заключается в предпосылке, что ларингальный $-h_1-$, первоначально дистрибутивно ограниченный позицией после сонантов, был распространен на все позиции.

Этому противоречат тематические суффиксы $*-sie/o-$ (25) и $*-se/o-$ (27), где подобный аналогический процесс не имел места. Как нам известно по древнеирландскому футуруму в примере (27), процесс аналогии действовал на более поздней стадии и отличным образом:

(29) др.-ирл. конъюнк. *gara*: *gaba* = футур. $*g\bar{e}ra$ < $*gigrhse/o-$: x ; $x = *g\bar{e}ba$ ²⁰.

Необходимо принять во внимание, наконец, и галльск. *lubiias* из Ля Грофесанка, хотя оно обнаружено в поврежденном контексте:

(30) галльск. $[\text{sani } lubiias \text{ san }]$. [*llias sante* [[109].

Форма *lubiias* похожа на конъюнктив 2-го л. ед. ч. глагола, также засвидетельствованного в галльском — *lubitus* и *lubi*:

(31) *lubiias*: *lubitus*, *lubi*: скр. *lubhyati*, лат. *lubet*, *libet*.

Такой анализ галльского *lubiias*, по-видимому, опровергает гипотезу Рикса также и с фонологической точки зрения, поскольку и.-е. s в интервокальной позиции в галльском сохраняется.

¹⁸ Относительно перешенной проблемы происхождения f -футурумов см. [93, с. 396 и сл.]; в [102] К. Уоткинс говорит о нередуцированных дезидеративных прилагательных со структурой $k o r e n$ и \bar{u} , «которым были приданы новый признак \bar{a} - и глагольная флексия: $*dasw\bar{a}\text{-}ti\dots$ » (с. 81). Эта теория неубедительна, поскольку ведийские и кельтские дезидеративные образования [см. (27)] в целом являются редуцированными; см. [103].

¹⁹ Что касается венетского *tolar* (нар. leg.), ср. [87, с. 293, с. 56]; относительно мессапского см. [105, с. 197, 205]; относительно тохарского см. [106, примеч. 30].

²⁰ Кроме того, гипотеза Рикса не затрагивает слабых глаголов: «Что касается конъюнктива на \bar{a} слабых глаголов, то я придерживаюсь традиционного выведения \bar{a} из корневого аориста корня $*b^h_1ueh_2-$ ». К. Р. Маккоун [108, с. 248] тем не менее приходит к выводу, что «все конъюнктивы островного кельтского были связаны с морфемой $*-se/o-$, которой иногда предшествовал смычный, а иногда $*-a-$ ».

Указывая на отсутствие семантической параллели для перехода от дезидератива к конъюнктиву, А. Баммесбергер [110, с. 66 и сл.] объясняет *ā*-конъюнктив в древнеирландском и итальяском как «конъюнктив с кратким гласным аористных образований на *-ā-* со стяжением *-ā-e-/o->ā-*» (с. 70): «Две различные функции древнеирландского *ba* (конъюнктив наст. вр. и претеритно-имперфектный индикатив) продолжают две первоначально различные формации, а именно, вторичный аорист **bhw-a-* и конъюнктив **bhw-ā-e-/o->*bhw-ā*» (с. 70). Эта теория кажется вполне убедительной, но если мы примем ее, то должны считаться с формой конъюнктива, которая из-за стяжения гласных не может быть дифференцирована от своей претеритной базы. Возможной альтернативой была бы семантическая деривация из *ā*-претерита, уже предложенная Турнайзеном в 1884 г. в его теории инъюнктива²¹.

Как бы то ни было, ограниченность распространения *ā*-конъюнктива итальяским и кельтским не выглядит обстоятельством, способствующим возведению этой категории к праиндоевропейскому. Более вероятно, что семантический переход от аориста к конъюнктиву имел место в качестве изоглоссы соседних языков — итальянского и кельтского.

Комментарии к кельтиберийскому генитиву ед. ч. *o*-основ на *-o* [пример (21)]:

Хотя мы ожидали бы в общем иное звуковое развитие²², лучшим объяснением на сегодняшний день кажется происхождение этого *o*- из окончания аблатива ед. ч. на **-od*.

Независимо от источника кельтиберийского *-o*, различные рефлексы генитива ед. ч. *o*-основ в кельтском (т. е. **-o* в кельтиберийском vs. **-ī* в других кельтских языках) необходимо рассматривать в контексте двух фактов: 1) развитие генитива ед. ч. *o*-основ в индоевропейском, старое окончание которого было сохранено лишь в хеттском *-aš*, в то время как в других индоевропейских языках оно было заменено различными морфемами (см. пример 13); 2) др.-фалиск. **-osio* и оскск.-умбр. **-eis*:

(32) др.-фалиск. *eko Kaisiosio*; оскск.-умбр. *-eis* (ген. *i*-основ): оск. *sakaraki-eis*, умбр. *popl-er*; *-ī* (латинский, некельтиберийский кельтский; поздний фалисский; марсийский; мессапский; венецкий).

В ы в о д: др.-фалиск. *-osio*, оскск.-умбр. *-eis* и кельтибер. **-o* подтверждают позднее распространение **-ī*, которое, следовательно, не может рассматриваться в качестве черты кельтского или итальянского праязыка²³, но также не может служить аргументом в пользу итало-кельтской гипотезы.

К. Уоткинс уже в 1966 г. признал [114, с. 39], что «общность *-ī* в итальяском и кельтском можно рассматривать скорее как результат ранних контактов, а не первоначального единства». Этимологическая идентификация морфемы *-ī* далеко не общепринята: на основе теории Вакернагеля, которая связывает генитив на *ī-* с индоиранским наречным падежом на *-ī* — ср. скр. *grāmī-bhū-* «получить во владение деревню»

²¹ См. [111]: «Таким образом, итало-кельтские **bhūām* **bhūās* **bhūāt* являются старыми, унаследованными от праязыка образованиями, образующими безаугментные формы, которые могли служить для обозначения как прошедшего времени, так и конъюнктива (и будущего времени)».

²² См. [112, с. 288]; нельзя исключить, однако, и возможности сокращения **-ō* в **-ōd*: ср. примеры, даваемые У. Шмоллем в [113, с. 78].

²³ Гипотеза Мейе («несомненно, что *-ī* заменило *-eis*») опровергается меньшей частотностью *i*-основ в текстах (см. также [47, с. 89, примеч. 27]), где тем не менее вопрос о том, что явилось исходным, остается открытым.

{*grāma-*); *krūrī-ky-* «ранить» (*krūra-* «рана») [115] — *-ī* вполне можно рассматривать как старую морфему, которая в различных функциях сохранилась в маргинальных языках ²⁴.

Завершая кельтский раздел моей статьи, я бы хотел обратиться к галльск. *duxtir* «дочь», недавно обнаруженному в надписях из Ларзака [117, с. 131 и сл.]. Это новое свидетельство подтверждает предположение О'Брайана и Хэмпса (см. [118, с. 178 и сл.], где рассматривается прл. **ducht(a)ir*; см. также [119, с. 39 и сл.]) и опровергает гипотезу А. Мейе, имеющую отношение как к итальяскому, так и к кельтскому: «Древние названия сына и дочери были утрачены и заменены новыми словами» [43, с. 38, примеч. 78].

III. Две проблемы интерпретационного расширения (ИР)

Эта часть статьи является не более чем краткой заметкой, относящейся к конкретному вопросу. Отправной точкой служит модель сегментации агглютинирующего финитного глагольного комплекса (33) и простого предложения (34) в работе Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [12, ч. I, с. 343; с. 362—363]:

(33) Ранговая структура сегментных глагольных форм ряда *-*mi*

Морфемный ранг	0	I	II	III	IV	V
Последовательность морфем	St	Тематическая гласная	Конъюнктив Оптатив Каузатив	Личные показатели	Субъектная версия	Наст. время (аспект) Повелит. накл. (с. 343)

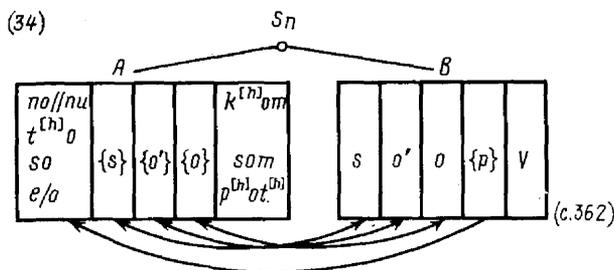


Диаграмма (34), которая основывается на законе Вакернагеля, гласящем, что индоевропейские энклитики занимали вторую позицию в предложении [120], и на порядке слов SOV, иллюстрируется хеттским материалом:

(35) хет. *na-an-kān ku-en-zī* «и его (-*an*) убивает»; *ša-an^D Ḫal-ma-š[u-it-ti]*
DŠi-i-uš-mi-iš pa-ra-a pa-iš «и его (-*an*) Халмасуиту (O') Бог-наш (S) отдал» (с. 363).

²⁴ См. обсуждение в [116, с. 85 и сл.; 89 и сл.; 105 и сл., особенно с. 111: «Теория *devi* на самом деле кажется менее уязвимой, чем другие»].

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, очевидно, рассматривают используемые для оформления предложения частицы *-kan* < **k^[h]* *ot* (обозначает перфективность)²⁵, *-san* < **som* (обозначает интратерминальность)²⁶ и *-pat* < **p^[h]* *ot^[h]* (выражает идентификацию или эмфазу; ср. [122, с. 150 и сл.]: «*-pat* „равным образом, также“») в качестве хеттских архаизмов. Стрелки на их диаграмме (34) призваны показать, что элементы под А и В находятся в отношении дополнительной дистрибуции, т. е. что наличие одного из элементов {s}, {ó}, {o} на левой стороне таблицы предполагает отсутствие соответствующего элемента S, O, O на ее правой стороне (с. 362). Что касается диаграммы (33), то она не во всех отношениях соответствует древнейшей модели реконструкции индоевропейского праязыка. Например, спорно утверждение, что конъюнктив и оптатив в колонке II относятся к одной и той же эпохе. Как уже было отмечено, оптатив был, вероятно, утрачен в анатолийском. Однако несмотря на спорные моменты подобного рода, диаграммы типа (33) и (34) представляют значительный типологический интерес и могут внести важный вклад в понимание индоевропейских структур. С точки зрения типологии диаграмма (33) напоминает, например, картвельский глагольный комплекс из 12 элементов, описанный Деетерсом в 1930 г. [123, с. 6 и сл.]:

(36) 1) преверб, 2) личный аффикс, 3) версионный гласный, 4) корень, 5) аффиксы пассива /ep/, /d/, 6) аффиксы каузатива, 7) аффиксы мн. ч.. относящиеся к объекту, 8) формация основы наст. времени, 9) аффиксы имперфекта, 10) гласный наклонения, 11) личное окончание, 12) суффикс мн. ч.

Синтагматический порядок морфемной цепочки подчиняется структуре языка; элементы 5 и 6, 7 и 8, 7 и 9 являются взаимоисключающими. На рис. (37) показана сегментация двух примеров — др.-груз. *damid-ginnes* «он наймет нас» и сван. *laxzazēna* «он пришел встретить его»:

(37)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	da	m	i	dg		in	n			e	s	
b)	la	x		zaz	ēn					a		

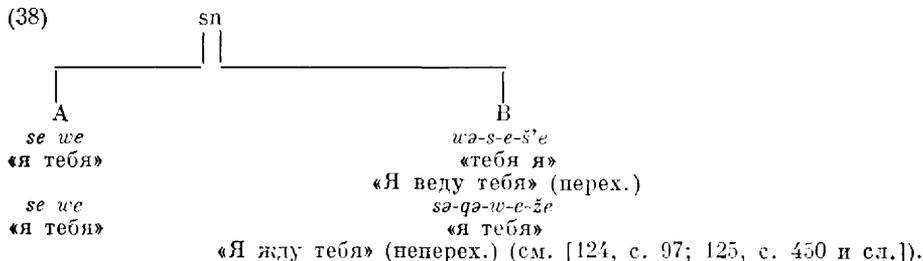
Хотя индоевропейский праязык был значительно менее инкорпорирующим и агглютинирующим языком, чем пракартвельский, сегментация морфемной цепочки представляется перспективным методом для осуществления более глубокого анализа индоевропейского глагольного комплекса.

Диаграмма (34), с другой стороны, напоминает модель полисинтетического западнокавказского языка типа адыгейско-черкесского, хотя необходимо отметить два различия: 1) в адыгейском синтаксические отношения могут быть выражены дважды, т. е. вне и внутри инкорпорирующего глагольного комплекса; 2) в адыгейском инкорпорирующая глагольная форма соответствует простому предложению, изображенному

²⁵ Ср. у Джозефсона [121, с. 416]: «Частица *-kan* указывает как на способ протекания действия, так и на аспект. Завершенное действие обычно рассматривается как предельное или, скорее, как запредельное (посттерминальное), поскольку точное действие считается завершенным».

²⁶ Ср. у Джозефсона (там же): «Частица *-san* лишена выраженных связей с определенным временным пределом и является признаком интратерминальности. Эта частица, однако, не противоречит общей категории предельного действия, являясь нейтральной и негативной по отношению к тому или иному временному пределу».

под В в диаграмме (34), что может быть проиллюстрировано двумя примерами:



IV. Резюме

После обсуждения таких принципов реконструкции, как субстанция vs. структура, внешняя vs. внутренняя реконструкция, абсолютная vs. относительная хронология, географическое положение и тип, тема «Значение новых данных для реконструкции праязыка» была подразделена на «Субстанциональное расширение и «Интерпретационное расширение». Среди примеров на новые данные, обеспечивающие СР, центральное место заняла индо-хеттская гипотеза и реконструкция пракарельского. Обсуждение ИР было ограничено типологической оценкой двух синтагматических моделей, установленных Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [12], т. е. сегментацией финитной глагольной формы и сегментацией простого предложения.

Перевел с английского Чурикова В. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Benveniste E. La classification des langues // Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. P., 1966.
2. Grassmann H. Über die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An- und Auslaute der Wurzeln // KZ. 1863.12.
3. Verner K. Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung // KZ. 1877. 23.
4. Brugmann K. Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache // Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik. 1876. 9.
5. Saussure F. de. Mémoire sur le système primitif de voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.
6. Schmidt K. H. Indogermanisch als Diasystem // Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Festschrift für Peter Hartmann./ Hrsg. von Faust M., Harweg R., Lehfeldt W., Wienold G. Tübingen, 1983.
7. Collinge N. E. The laws of Indo-European. Amsterdam — Philadelphia, 1985.
8. Polomé E. The laryngeal theory so far // Evidence for Laryngeals / Ed. by Winter W. The Hague, 1965.
9. Lindeman F. O. Einführung in die Laryngaltheorie. Berlin, 1970.
10. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы, М., 1972.
11. Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V. Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeindogermanischen Verschlüsse. Vorläufiger Bericht // Phonetica. 1973. 27.
12. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
13. Popper P. J. Glottalised and murmured occlusives in Indo-European // Glossa. 1973. 7.
14. Mayrhofer M. Lautlehre (Segmentale Phonologie des Indogermanischen) // Cowgill W., Mayrhofer M. Indogermanische Grammatik. Bd. I. Halbband 2. Heidelberg, 1986.
15. Cowgill W. Evidence in Greek // Evidence for Laryngeals / Ed. by Winter W. The Hague, 1965.
16. Rix H. Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. Darmstadt, 1976.

17. *Trubetzkoy N. S.* Gedanken über das Indogermanenproblem // AL. 1939. 1.
18. *Hjelmslev L.* Die Sprache / Translated from the Danish by Werner O. Darmstadt, 1968. S. 111.
19. *Finck F. N.* Die Haupttypen des Sprachbaus. Leipzig, 1910. S. 154.
20. *Deeters G.* Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen // Revue de kartvelologie. Bedi Kartlisa. 1957. 23.
21. *Lewy E.* Die Heimatfrage // KZ. 1931. 58.
22. *Lewy E.* Der Bau der europäischen Sprachen. 2-te Aufl. Tübingen, 1964.
23. *Sapir E.* Language. N. Y., 1921.
24. *Skalička V.* Ein typologisches Konstrukt // TLP. 1966. 2.
25. *Schmidt K. H.* Das indogermanische Kasusmorphem und seine Substituenten // Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. von Rix. H. Wiesbaden, 1975.
26. *Rix H.* Zur Entstehung des urindogermanischen Modusystems // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften. 1986. 36.
27. *Schmidt K. H.* Grundlagen und Methoden der historischen Sprachvergleichung // Perspektiven der Linguistik. I / Hrsg. von Koch W. A. Stuttgart, 1973.
28. *Thieme P.* The comparative method for reconstruction in linguistics // Language in culture and society. A reader in linguistics and anthropology / Ed. by Hymes D. New York — Evanston — London, 1964.
29. *Humbach H.* Indogermanische Dichtersprache? // MSS. 1967. 21.
30. *Schmitt R.* Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.
31. Indogermanische Dichtersprache / Hrsg. von Schmitt R. Darmstadt, 1968.
32. *Meid W.* Dichter und Dichtkunst in indogermanischer Zeit // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge. 1978.20.
33. *Hermann E.* Über das Rekonstruieren // KZ. 1907. 41.
34. *Hoenigswald H. M.* Language change and linguistic reconstruction. Chicago, 1960.
35. *Schmidt K. H.* Rekonstruktion und Ausgliederung der indogermanischen Grundsprache // IL. 1984. 9.
36. *Lotzner C.* Über die Stellung der Italer innerhalb des indoeuropäischen Stammes // KZ. 1858. 7.
37. *Lotzner C.* Celtisch-italisch // Kuhn-und-Schleicher-Beiträge. 1861. 2.
38. *Schleicher A.* Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. I. Weimar, 1861.
39. *Schmidt J.* Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.
40. *Leskien A.* Die Declination in Slawisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876.
41. *Leumann M.* Baltisch und Slawisch // Corolla Linguistica. Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955.
42. *Schlerath B.* Sprachvergleich und Rekonstruktion: Methoden und Möglichkeiten // IL. 1982—1983 (1984). 8.
43. *Meillet A.* Les dialectes indo-européens. P., 1908. P. 24.
44. *Neu E.* Konstruieren und Rekonstruieren // IL. 1984. 9.
45. *Strunk K.* Probleme der Sprachrekonstruktion und des Fehlen zweier Modi im Hethitischen // IL. 1984. 9.
46. *Oettinger N.* «Indo-Hittite»-Hypothese und Wortbildung // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften. 1986. 37.
47. *Porzig W.* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954.
48. *Meid W.* Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft/Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
49. *Schlerath B.* Ist ein Raum / Zeit-Modell für eine rekonstruierte Sprache möglich? // KZ. 1981. 95.
50. *Schmidt K. H.* Historische Sprachvergleichung und ihre typologische Ergänzung // ZDMG. 1966. 116. Hf. 1.
51. *Schmidt K. H.* Historische Sprachvergleichung und typologische Kriterium // Linguistica Generalia. I. Studies in Linguistic Typology. Prague, 1977.
52. *Schmidt K. H.* Zur Vorgeschichte des indogermanischen Genusystems // Studies in diachronic, synchronic, and typological linguistics. Festschrift for O. Szemerényi on the Occasion of his 65-th Birthday. Pt. 11 / Ed. by Brogyanyi B. Amsterdam, 1979.
53. *Starke F.* Die Kasusendungen der luwischen Sprachen // Serta Indogermanica. Festschrift G. Neumann / Hrgs. von Tischler J. Innsbruck, 1982.
54. *Cowgill W.* Anatolian *hi*-conjugation and Indo-European perfect. Instalment II // Hethitisch und Indogermanisch / Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.

55. Schmidt K. H. Die vorgeschichtlichen Grundlagen der Kategorie «Perfect» im Indogermanischen und Südkaukasischen // A. С. Чикобава. Сборник, посвященный 80-летию со дня рождения / Под. ред. Дзидзигури Ш. В. Тбилиси, 1979.
56. Böhlingk O. Über die Sprache der Jakuten // Dr. A. Th. v. Middendorff's Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. Bd. III. St. Petersburg, 1851.
57. Hirt H. Über den Ursprung der Verbalflexion im Indogermanischen // IF. 1904—1905. 17.
58. Schmidt K. H. Kaukasische Typologie als Hilfsmittel für die Rekonstruktion des Vorindogermanischen // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften. 1983. 31.
59. Comrie B. Language universals and linguistic typology. Oxford, 1981.
60. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages / Ed. by Dixon R. M. W. Canberra, 1976.
61. McLendon S. Ergativity, case and transitivity in Eastern Pomo // IJAL. 1978. 44.
62. Mallinson G., Blake B. J. Language typology. Cross-linguistic studies in syntax. Amsterdam — New York — Oxford, 1981.
63. Bossong G. Syntax and Semantik der Fundamentalrelation. Das Guaraní als Sprache des aktiven Typs // Lingua. 1980. 50.
64. Watkins C. Historical comparative linguistics and its contribution to typological studies // Proceedings of the XIII International Congress of Linguistics. August 29 — September 4, 1982 / Ed. by Hattori Sh., Inoue I. Tokyo, 1983.
65. Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft. 1921. 61.
66. Sturtevant E. H. The Indo-Hittite hypothesis // Language. 1962. 38.
67. Sturtevant E. H. A comparative grammar of the Hittite language. New Haven — London, 1964.
68. Cowgill W. More evidence for Indo-Hittite: The tense-aspect-systems // Proceedings of the XI International Congress of linguistics. II. Bologna, 1974.
69. Schmid W. P. Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell // Hethitisch und Indogermanisch / Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.
70. Schmid W. P. Das lateinische und die Alteuropa-Theorie // IF. 1985. 90.
71. Meid W. Der Archaismus des Hethitischen // Hethitisch und Indogermanisch / Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.
72. Strunk K. Flexionskategorien mit akrostatischem Akzent und die sigmatischen Aoriste // Grammatische Kategorien, Funktion und Geschichte: Akten der VII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. von Schlerath B. Wiesbaden, 1985.
73. Starke F. Die Funktionen der dimensionalen Kasus und Adverbien im Althethitischen. Wiesbaden, 1977.
74. Neu E. Studien zum endungslosen Lokativ des Hethitischen // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften. 1980, 23.
75. Sommer F. Hethiter und Hethitisch. Stuttgart, 1947.
76. Szemerényi O. Strukturelle Probleme der indogermanischen Flexion. Prinzipien und Modellfälle // Grammatische Kategorien, Funktion und Geschichte: Akten der VII. Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. von Schlerath B. Wiesbaden, 1985.
77. Risch E. Zur Entstehung des hethitischen Verbalparadigmas // Flexion und Wortbildung: Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
78. Oettinger N. Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, 1979.
79. Schwyzler E. Griechische Grammatik. I. München, 1953.
80. Schmidt K. H. Armenian and Indo-European // First International Conference on Armenian Linguistics: Proceedings / Ed. by Greppin J. A. C. Delmar — New York, 1980.
81. Neu E. Einige Überlegen zu den hethitischen Kasusendungen // Hethitisch und indogermanisch / Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.
82. Thomas W. Die Erforschung des Tocharischen (1960—1984). Stuttgart, 1985.
83. Mayrhofer M. Die Arier im Vorderen Orient — ein Mythos? Wien, 1974.
84. Scherer A. Handbuch der griechischen Dialekte von Thumb A. Zweiter Teil. Heidelberg, 1959.
85. Schmitt R. Einführung in die griechischen Dialekte. Darmstadt, 1977.
86. Hiller S., Panagl O. Die frühgriechischen Texte aus mykenischer Zeit. Darmstadt, 1986.
87. Untermann J. Die venetische Sprache // Glotta. 1980. 58.
88. Tovar A. Las inscripciones ibéricas y la lengua de los celtiberos // Boletín de la Real Academia Española. 1946. 25.
89. Gómez-Moreno M. El bronce de Ascoli // Homenaje a R. Menéndez-Pidal. 3. Madrid, 1925.

30. Schmidt K. H. Der Beitrag der keltiberischen Inschriften von Botorrita zur Rekonstruktion der protokeltischen Syntax // Word. 1972 (1977). 28.
31. Ködderitzsch R. Die grosse Felsinschrift von Peñalba de Villastar // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für J. Knobloch / Hrsg. von Ölberg M., Schmidt G., unter Mitarbeit von Bothien H. Innsbruck, 1985.
32. Schmidt K. H. Zur Rekonstruktion des Keltischen // Zeitschrift für celtische Philologie. 1986. 41.
33. Thurneysen R. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
34. Lewis H., Pedersen H. A concise comparative Celtic grammar. Göttingen, 1937.
35. Meid W. Gallisch oder Lateinisch? // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Vorträge und kleinere Schriften, 1983, 31.
36. IF. 1983. 88.
37. Schmidt K. H. Probleme keltischer Etymologie und Wortbildung // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für J. Knobloch / Hrsg. von Ölberg M., Schmidt G. Unter Mitarbeit von Bothien H. Innsbruck, 1985.
38. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
39. Schmidt K. H. Konjunktiv und Futurum im Altirischen // SCelt. 1966. 1.
40. Schulze W. Lit. *kláusie* und das indogermanische Futurum // Schulze W. Kleine Schriften. Göttingen, 1966.
41. Hollifield P. Homeric *xeiw* and the Greek desideratives of the type *ἔραξεϊν* // IF. 1981. 86.
42. Watkins C. The origin of *f*-future // Ériu. 1966. 20.
43. Quin E. G. The origin of the *f*-future: an alternative explanation // Ériu. 1978. 28.
44. Oettinger N. Zur Diskussion um den lateinischen *ā*-Konjunktiv // Glotta. 1984. 62.
45. Haas O. Messapische Studien. Heidelberg, 1962.
46. Schmidt K. H. Spuren tiefstufiger set-Wurzeln im tocharischen Verbalsystem // Serta Indogermanica. Festschrift G. Neumann / Hrsg. von Tischler J. Innsbruck, 1982.
47. Rix H. Das keltische Verbalsystem auf dem Hintergrund des indoiranisch-griechischen Rekonstruktionsmodells // Indogermanisch und Keltisch: Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft am 16. und 17. Februar 1976 in Bonn / Hrsg. von Schmidt K. H. Unter Mitwirkung von Ködderitzsch R. Wiesbaden, 1977.
48. McCone K. R. From Indo-European to Old Irish: Conservation and innovation in the verbal system // Proceedings of the Seventh International Congress of Celtic Studies Held at Oxford from 10-th to 15-th July, 1983 / Ed. by Evans D. E., Griffith J. G. Jope E. M. Oxford, 1986.
49. Lefeune M., Marichal R. Quelques graffites inédits de la Graufesenque (Aveyron) // CRAI, 1971.
50. Bammesberger A. The origin of the *ā*-Subjunctive in Irish // Ériu. 1982. 33.
51. Thurneysen R. Der italokeltische conjunctive mit *ā* // BB. 1884. 8.
52. Untermann J. Die Endung des Genetivs singularis der *o*-Stämme im Keltiberischen // Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie. J. Pokorny zum 80. Geburtstag / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1967.
53. Schmoll U. Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische. Wiesbaden, 1959.
54. Watkins C. The interrelationships within Italic // Ancient Indo-European Dialects // Ed. by Birnbaum H., Puhvel J. Berkeley — Los Angeles, 1966.
55. Wackernagel J. Genetiv und Adjektiv / Wackernagel J. Kleine Schriften. 2. Göttingen, 1952.
56. Mackay Devine A. The Latin thematic genetive singular. Oxford. 1970.
57. Lefeune M., Fleriot L., Lambert P.-J., Marichal R., Vernhet A. Le plomb magique du Larzac et les sorcières gauloises // EC. 1985. 22.
58. O'Brien M., Der-, Dar-, Derb- in female names // Celtica. 1956. 3.
59. Hamp E. P. **dhugHtēr* in Irish // MSS. 1975. 33.
60. Wackernagel J. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // IF. 1892. 1.
61. Josephson F. The function of the sentence particles in Old and Middle Hittite. Uppsala, 1972.
62. Friedrich J. Hethitisches Elementarbuch. 1. Tl.: Kurzgefasste Grammatik. Heidelberg, 1960.
63. Deeters G. Das khartwelische Verbum. Leipzig, 1930.
64. Попова Г. В., Керашева Э. И. Грамматика адыгейского языка. Краснодар — Майкоп, 1966.
65. Schmidt K. H. Probleme der Typologie (Indogermanisch-Kaukasisch) // Home-naje a Antonio Tovar. Madrid, 1972.

АЛЕКСЕЕВ А. А.

ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ СЛАВЯНСКИХ
И РУССКИХ ИСТОЧНИКОВ XI—XVI ВВ.

Изучение истории языка и литературы немислимо без издания текстов, являющихся объектом этого изучения. И хотя изданием текста не заканчивается его изучение, неизданный текст — сколь полно ни было бы его научное описание — нельзя считать вполне изученным. Издание текста является наиболее наглядной формой подачи результатов его изучения.

В рукописную эпоху существования литературных, юридических и другого рода общественно значимых произведений, когда между отдельными копиями существовали расхождения, возникавшие из-за несовершенной техники копирования, только совокупность всех списков (рукописей, рукописных копий) одного произведения могла дать полное представление о тексте в единстве его содержания и лингвистической формы. Во многих случаях, как известно, копирование могло сопровождаться редактированием, охватывающим либо ряд определенных лингвистических явлений, либо содержание значительных пассажей вплоть до общего целого. Тем самым перед современным исследователем при обращении к средневековым рукописям встает вопрос о тождественности текста самому себе, о той мере вариантности, которая допустима и не ведет к потере этой тождественности. Выступая в виде совокупности списков разного времени и разного происхождения, текст оказывается подвержен действию историко-литературного (идеологического), стилистико-эстетического, лингвогеографического (диалектного) факторов, он теряет присущую ему статичность и приобретает динамические характеристики. В результате текст должен быть описан как некоторое единство, динамически изменяющееся с течением времени, а статический его облик в форме архетипа чаще всего может лишь быть реконструирован, поскольку автографы славянских средневековых авторов до нас, как правило, не дошли.

Такие особенности текстов рукописной эпохи предполагают два основных типа издания: 1) издание отдельного списка и 2) критическое издание по совокупности списков. Выбор того или иного типа издания, когда выбор возможен, связан с рядом причин и должен быть сделан с учетом многих обстоятельств как истории самого текста, так и конкретных издательских возможностей. Каждый тип издания имеет свои достоинства и недостатки.

Издание первого типа не имеет альтернативы, если текст сохранился в единственном списке. Для тех текстов, которые представлены несколькими или множеством списков, издание отдельного списка также бывает причинно обусловлено. Прежде всего — особой древностью списка, хронологической близостью его к эпохе архетипа или началу славянской письменности, — таковы издания древнейших славянских рукописей

XI—XII вв., произведенные, как правило, без определения их текстологического положения в истории соответствующих произведений. Более того, издания отдельных списков памятника с богатой рукописной традицией свидетельствуют об отсутствии текстологической теории данного памятника (ср. [1, с. 492]), они могут рассматриваться как подготовительные меры, облегчающие последующее изучение и публикацию памятника по совокупности списков. Нельзя определять текстологическое значение списка его древностью, однако это происходит постоянно, например, с изучением истории славянского Евангелия, поскольку текстологи, вполне естественно, используют прежде всего легкодоступный изданный рукописный материал, т. е. древнейшие списки.

Издание отдельного списка как никакое другое может ставить перед собою задачу точного воспроизведения орфографических навыков писцов, потому этот эдиционный тип обладает особой ценностью для исследования исторической фонетики. Факсимильные издания способны воспроизводить рукопись со всеми ее индивидуальными особенностями вплоть до графики и художественного оформления (см. [2]).

Изданию отдельных списков памятника с богатой рукописной традицией может предшествовать его текстологическое изучение, тогда выбор этих списков будет определяться не их древностью, но местом в текстологической истории. Надо при этом иметь в виду, что текстовые и языковые формы средневековых рукописей могут быть различного происхождения: одни восходят к архетипу, другие вошли в текст в ходе его копирования. Провести стратификацию элементов текста по их происхождению можно лишь путем текстологического исследования и реконструкции истории текста. Глубоким заблуждением поэтому является уверенность в среде лингвистов, что критические издания отвечают только целям литературоведения.

Критическое издание представляет собою более или менее точное воспроизведение одного из списков текста с подведением разночтений по другим спискам. Если целью издания является установление исходного текста (архетипа), основным списком должна быть наиболее близкая к архетипу по своим текстовым особенностям рукопись. Если ставится цель представить текст в его исторической изменчивости, основным списком будет рукопись наиболее типичная, средняя по особенностям своего текста. В зависимости от целей издания выбираются рукописи и разночтения из них для критического аппарата. Для реконструкции архетипа количество разночтений может быть невелико и включать только те, которые способствуют реконструкции. Показать историю текста с богатой рукописной традицией можно лишь в том случае, если из обилия рукописных источников удастся выбрать такие, которые имеют принципиальное значение в качестве основных свидетелей. Издаваем, опирающимся более чем на 10—15 рукописей, пользоваться исключительно трудно из-за громоздкости и плохой обзорности критического аппарата. Это обстоятельство выдвигает особо строгие требования к текстологическому исследованию, поскольку в ходе последнего должна быть обоснована необходимость привлечения конкретных списков для критического аппарата.

Основной список критического издания может быть воспроизведен с дипломатической точностью, позволяющей судить даже об орфографии писца. Критический аппарат, однако, как правило, не может включать в себя орфографических разночтений из-за обилия более важного текстологического материала, и это в известной мере ограничивает возможности

его лингвистического использования. Тем не менее и с этим ограничением он будет полезен для решения широкого круга историко-филологических задач. Важно, чтобы принцип отбора разночтений выдерживался во всех случаях с полной и строгой последовательностью.

Издание должно быть итогом текстологического исследования, только тогда в выборе источников не будет произвола и выявится объективная картина бытования текста во всю ту эпоху, от которой сохранились списки.

Издание делает текст достоянием широкого круга читателей и открывает новую страницу в его научном использовании. Широкие обобщения по истории языка, литературы, культуры возможны лишь на большом материале, прошедшем все стадии первичной обработки. Обилие славянских письменных источников, разбросанность их по различным хранилищам ставит серьезные препятствия на пути овладения письменным богатством во всей его полноте. Правильная и плодотворная филологическая интерпретация рукописного материала возможна лишь тогда, когда исследователю доступны все списки данного текста и известна взаимосвязь между ними, идет ли речь об истории литературы или об истории языка, поэтому прогресс в теоретическом осмыслении истории литературы, письменности, языка зависит от обилия изученных, обработанных и изданных источников.

Если для литературной истории нового времени особое значение отводится изучению черновых вариантов в их отношении к окончательному авторскому тексту, то для эпохи рукописного бытования текстов такое же место должно быть отведено совокупности рукописей одного текста. Вносимые в них переписчиками перемены отражают в конечном счете черты языковой нормы той или иной эпохи, своеобразие восприятия и понимания текста, требования к принципам письма и культурные запросы читателей. Представить этот материал можно только в форме критического издания.

Неизданный средневековый текст существует для современной культуры лишь потенциально, реальное существование обретает текст изданный. Вместе с этим издание текста есть лучший способ его сохранения. Немало рукописей, исчезнувших или погибших, известно нам по своевременно сделанным изданиям (Слуцкая псалтырь XII в., уникальные Никольское евангелие и «Новый завет святителя Алексея» XIV в. и др.). Но и находящиеся в наших хранилищах рукописи уже далеко не все по своему физическому состоянию могут быть непосредственно использованы всеми желающими ознакомиться с ними. С течением времени число таких ветхих единиц хранения увеличивается (см. [3]).

Публикация средневековых славянских и русских письменных источников приобрела у нас в стране массовый и даже в большой степени планомерный характер со времени учреждения в 1835 г. Археографической комиссии. Приблизительно за столетие своего существования Комиссия издала 24 тома полного собрания летописей, около 45 томов актовых материалов, 39 томов Русской исторической библиотеки, 6 томов новгородских писцовых книг, 16 выпусков Великих четых мшней, не говоря об издании отдельных памятников и иностранных источников по истории России (библиографию изданий Комиссии см. [4]).

Значительных размеров достигла издательская деятельность Общества истории и древностей российских при Московском университете особенно с того времени, как по инициативе О. Г. Бодянского стали с 1858 г. регулярно выходить ежегодные четыре книги «Чтений» Общества. Коли-

чество опубликованных здесь средневековых текстов исчисляется, вероятно, сотнями или тысячами.

В 1877 г. началось систематическая публикация памятников письменности в изданиях петербургского Общества любителей древней письменности. До 1917 г. вышло 137 выпусков ОЛДП и 191 выпуск издававшейся Обществом серии Памятников древней письменности (и искусства).

Немало славянских и русских текстов было опубликовано в «Древностях» — периодическом издании Славянской комиссии Московского археологического общества.

Несколько источниковедческих серий издавало Отделение русского языка и словесности. Например, только в серии «Памятники старославянского языка» с 1900 по 1922 г. вышли такие первостепенного значения тексты, как Саввина книга, Супрасльская рукопись, Чудовская и Синайская псалтыри, Листки Ундольского, Хиландарские, Пражские глаголические, Македонские и Охридские листки.

Перечислить вышедшие в эти же десятилетия внесерийные издания отдельных памятников письменности едва ли возможно. Публикацией текстов занимались многие крупнейшие представители русской науки — А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, И. В. Ягич, А. А. Шахматов, В. М. Истрин, М. Н. Сперанский и др.

Несмотря на этот исключительный размах издательской деятельности, выработанный в 1898 г. акад. М. И. Сухомлиновым и А. А. Шахматовым Проект издания собрания сочинений русских писателей XI—XVII вв. споткнулся в своем осуществлении прежде всего о источниковедческие трудности, т. е. отсутствие достаточно полной разработки рукописных источников и достаточного количества опубликованных текстов. Поэтому образованная для исполнения этого проекта Комиссия по изданию памятников древнерусской литературы поставила своей первоочередной задачей обеспечение будущих работ библиографической и источниковедческой базой [5].

Однако в послереволюционные годы издательская деятельность в этой области источниковедения почти прекратилась и лишь тридцать лет назад получила новое продолжение в работах Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома (ИРЛИ АН СССР). Наибольшее количество публикаций, главным образом древнерусских исторических и литературных источников, появилось в «Трудах Отдела древнерусской литературы», в серии монографических исследований-изданий этого Отдела, в академической серии «Литературных памятников», в серии «Памятников литературы Древней Руси», публикуемой Отделом в издательстве «Художественная литература» (см. обзор этих изданий [6, 7]).

Сокращение объемов изданий, количества публикуемых текстов не говорит о исчерпанности материала. Единственную компенсацию количественной потери можно видеть в значительном повышении уровня текстологических исследований, достигнутого в последние десятилетия историками русской литературы. Положительный опыт был осмыслен и получил теоретическое закрепление в обобщающей книге акад. Д. С. Лихачева «Текстология» [4]. Но лингвисты в основном все еще далеки от серьезных занятий текстологией, довольствуясь изучением отдельных списков вне их связи с историей представляемого ими текста. Так возникает равнодушие к содержанию исследуемого текста, тогда как правильная интерпретация формальной стороны высказывания невозможна в отрыве от его содержания, и вопрос «Разумеешь, а же чтеши?» обращен

к каждому, кто разворачивает рукопись или книгу. Усилия, затраченные на текстологическое исследование и издание текста, сколь бы ни были они велики, окупаются очень быстро, и прежде всего филологической компетенцией самих издателей. Не исключено, что с нехваткой новых источников, доступных в обработанном, т. е. опубликованном виде, связано, с одной стороны, наблюдаемое в последние годы снижение интереса к вопросам исторической грамматики церковнославянского и русского языков, а с другой стороны, создание многочисленных, пестрых и взаимоисключающих концепций относительно природы литературно-письменного языка у восточных славян в эпоху средневековья.

Громадное большинство славянских и русских рукописей находится в хранилищах СССР, поэтому, естественно, должны разрабатываться усилиями отечественной филологии. В русских списках XI—XVII вв. содержатся не только русские оригинальные и переводные тексты, но почти все наследие старинной южнославянской и западнославянской письменности. Эти же рукописи содержат множество византийских сочинений, частью утраченных в их исконном греческом облике. По всему этому изучение и издание славянских рукописных богатств является интернациональным долгом нашей науки.

Возобновление планомерной и широко поставленной публикации источников требует, однако, известных предварительных условий. Прежде всего — это остро стоящая необходимость применения новой издательской техники. Рассчитывать на медленный и дорогой ручной набор теперь почти не приходится, нужно использовать те технические возможности, которые позволяют самому исследователю подготовить текст к изданию, оставив типографии лишь размножение тиража. Исключительное значение в связи с этим приобретает создание методики и программ подготовки критических изданий с помощью ЭВМ. Использование компьютера в свою очередь должно способствовать существенному повышению качества изданий в отношении точности передачи основного текста и систематической тождественности в подаче разночтений (см. в связи с этим материалы симпозиума по машинной текстологии и изданию текстов [8]).

Другим условием является приведение в известность во всей полноте наличных текстов, сохраняющихся в рукописных хранилищах. Работа по описанию рукописных собраний у нас в стране, можно сказать, началась с выполненного в 1842 г. А. Х. Востоковым описания Румянцевского музея. Спустя полтора столетия она еще далека от завершения. Большим событием в этой области стало издание «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI—XIII вв.)» (М., 1984), однако здесь описано всего 494 рукописи. Наибольшие трудности в источниковедческом отношении представляют собою многочисленные сборники XIV—XVII вв., содержащие в общей сложности сотни и тысячи отдельных произведений. Выявлению заключенных в них источников посвящена деятельность отдельных лиц (см., например [9]), хотя по важности задачи и трудности ее исполнения она может быть решена лишь коллективными усилиями по единому плану. Библиографический проект Н. К. Никольского, поставившего перед собой задачу полного охвата всех источников XI—XVII вв., до конца доведен не был, и призывы к его возобновлению [10] не услышаны. В известной степени, однако, с замыслом Н. К. Никольского связан «Словарь книжников и книжности Древней Руси (вып. I: XI — первая половина XIV в.)» (Л., 1987), издаваемый Отделом древнерусской литературы.

О приведении в известность всего актового материала XV—XVII вв. сейчас, к сожалению, не приходится еще мечтать.

Успешное возобновление издания источников в немалой степени может зависеть от обоснованной четкости выдвигаемых проектов. Едва ли в настоящее время целесообразно возвращаться к старому проекту, положенному в свое время в основу работы Комиссии по изданию памятников древнерусской литературы [5]. Проект, для исполнения которого требуется участие десятков и сотен исследователей, немало десятилетий целенаправленного труда и исчерпывающий охват всего без исключения рукописного наследия XI—XVII вв., едва ли может долго служить вдохновляющим стимулом и выполняться на началах добровольного сотрудничества. К тому же деятельность Отдела древнерусской литературы ИРЛИ, Сектора по изучению древнерусской литературы ИМЛИ и связанных с ними сотрудников других научных учреждений исподволь служит исполнению этого проекта, хотя и на несколько иных основаниях, чем это было задумано первоначально.

Естественно, что историки литературы уделяют внимание в основном оригинальным произведениям, громадное переводное наследие южных и восточных славян изучается теперь лишь эпизодически.

При начале деятельности Сектора лингвистического источниковедения Института русского языка АН СССР был назван довольно внушительный список источников по истории русского и церковнославянского языков, ожидающих своей публикации [11], некоторые из них в последующие десятилетия были изданы (Изборники 1073 и 1076 гг., Успенский сборник, Мстиславово евангелие, частная переписка начала XVIII в. и др.), но систематичности и общего плана деятельности Сектора не доставало, так что ни один сколько-нибудь малый круг источников исчерпан не был.

Из старых проектов отечественной науки наибольшей четкостью и безусловной полнотой отличался план издания славянской Библии, выработанный в свое время чл.-корр. Академии наук И. Е. Евсеевым. Созданная по его инициативе комиссия включила в свой состав весь цвет тогдашней русистики — Н. Н. Дурново, В. М. Истрина, Н. М. Каринского, А. В. Михайлова, А. С. Орлова, В. Н. Перетца, А. И. Соболевского, М. Н. Сперанского, А. А. Шахматова. Председателями комиссии в разное время являлись И. Е. Евсеев, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, В. М. Истрин, на ее деятельность были отпущены внушительные средства. Однако созданная в момент крутого исторического поворота, комиссия так и не смогла по-настоящему развернуть работу и фактически закончила свое существование со смертью ее энергичного организатора в 1921 г. Имеется немало причин, почему исполнение именно этого проекта представляется в настоящее время возможным и целесообразным.

Прежде всего это ясность самого проекта, безусловно связанная с достаточной определенностью материала, с которым в данном случае приходится иметь дело. В качестве библейских книг рассматриваются те произведения, которые включены в состав латинской Вульгаты или греческой Септуагинты, равно как в синодалные издания церковнославянской Библии, зависящей в своем составе от Геннадиевской библии 1499 г. Тем самым за рамками проекта оказываются неканонические тексты вроде Никодимова евангелия, ветхозаветные апокрифы типа Исторической пален, Исхода Моисея, Судов Соломона, гномические сочинения типа Менандра, нередко соседствовавшие в рукописных сбор-

никах XV—XVII вв. с каноническими текстами. Игнорирование этого материала, возможно, вступает в противоречие с требованиями историзма в подходе к определению предмета, но в данном случае следование избранному принципу находится в русле той литературной традиции, которая получила преобладающее распространение во всем христианском мире благодаря существовавшим средствам надзора за каноничностью текстов и состава св. Писания и которая была полностью усвоена историко-филологической наукой. Включение неканонических текстов в состав «народной Библии» славянского средневековья возможно было бы лишь в результате тщательного исследования вопроса, а это до сих пор не осуществлено.

Определенности материала способствует также его достаточно очевидное функциональное деление на три типа — тексты литургические, четвы и толковые.

И. Е. Евсеевым же была заложена источниковедческая основа работы: составленный им каталог славянских библейских рукописей Ветхого завета XI—XVII вв. включил в себя 4 145 номеров (ЛО Архива АН СССР, фонд 109, опись 1, № 2). Большая часть текстов, образующих библейский корпус, сохранилась в 30—50 списках, лишь для Псалтыри, Евангелия и Апостола цифры существенно больше и действительно создают немалые трудности для овладения материалом.

Прошедшие со времени выработки евсеевского проекта десятилетия не прошли даром. Во-первых, описано немало новых рукописей¹, ряд древнейших списков издан. Во-вторых, создана типологическая классификация списков Евангелия XI—XV вв. [13], которая позволяет разбираться в источниковедческой проблематике этого наиболее сложного в структурном отношении памятника и может быть применена к тождественной классификации списков Псалтыри, Апостола, Паримийника. В-третьих, развитие текстологических методов исследования позволяет по-новому подойти ко всей работе по этому проекту², можно надеяться даже на создание текстологической теории Евангелия и Псалтыри путем охвата основной массы списков и обработки материала на ЭВМ [19, 20]. Наконец, в настоящее время существует гораздо больше ясности относительно первых столетий бытования библейских текстов у славян, количества переводов отдельных книг, вклада разных славянских народов в дело перевода, переработки и переписки отдельных текстов, чем это было во времена И. Е. Евсеева (см., в частности [21, 22]), почему последний и вынужден был начать свои «Очерки» [23] с эпохи Геннадиевской Библии 1499 г.

Все издание славянской Библии должно быть разделено на две серии. Первая — основная — отводится для критического издания отдельных книг по совокупности списков с обоснованным выбором основного и дополнительного списков. Вторая серия — вспомогательная — включает в себя издания отдельных списков, имеющих особое значение в истории библейского текста (например, Геннадиевской Библии 1499 г. или бол-

¹ Небольшой по охвату материала, но удачно построенный каталог Р. Мэтьисена [12] может быть также полезен в работе.

² Даже И. Е. Евсеев плохо владел методами текстологии. В его издании книги Даниила [14] в разночтения 3-й редакции попал хронологически более ранний и вполне самостоятельный перевод толкований Ипполита Римского на эту книгу. Издатель Евангелия от Марка и части Апостола Г. А. Воскресенский [15, 16] не справился с текстологией первой и второй редакций этих текстов (см. критику М. Н. Сперанского [17] и И. Е. Евсеева [18]). Такого рода примеры легко умножить.

гарского списка первоизданных книг XIV в., ГИБ, F I 461), сопутствующих книг (например, выпензанных апокрифов) и исследований по общим и частным вопросам славянской библейской филологии.

Обращение в настоящее время к этому проекту назрело не только потому, что у него есть четкие теоретические, источниковедческие и эдические принципы, его исполнение важно во многих научных отношениях. Во-первых, при исчерпанности исторических свидетельств о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия новые данные могут быть получены лишь в ходе изучения сохранившихся рукописей, которые содержат их литературные труды, т. е. прежде всего библейские переводы. Во-вторых, библейские тексты в наибольшей полноте воплощают собою тип общеславянского письменного памятника: функционирование этого рода текстов, переход их из одного региона славянской письменности в другой, взаимодействие с другими текстами и местными литературными традициями дают незаменимый и единственный в своем роде материал для уяснения главных черт и особенностей письменной культуры славянского средневековья, научного описания общеславянского литературно-письменного языка за долгие столетия его существования. В-третьих, история переводческого дела у славян, история книжной образованности, приемы и принципы средневековой филологической науки не могут изучаться столь же успешно ни на каком ином материале, как по библейским текстам. В-четвертых, знание истории библейских текстов есть неперемнное методологическое условие изучения средневековых литератур, поскольку цитаты из библейских книг являлись обязательным компонентом других текстов, формируя основу «этикетного стиля» и даже в известной мере принципы сюжетостроения; по библейским цитатам можно датировать и локализовать другие тексты, коль скоро известна текстологическая история тех библейских книг, откуда заимствованы цитаты. В-пятых, библейские тексты являлись воплощением языковой нормы своей эпохи и служили стабилизации нормы литературно-письменного языка в течение нескольких столетий от начала письменности до развития книгопечатания; ясно поэтому, что плодотворное изучение проблем славянских письменных языков средневековья должно опираться прежде всего на этот материал. Наконец, сами по себе библейские тексты дают ценный материал для исторической фонетики, грамматики, лексикологии старославянского, церковнославянского и всех славянских языков, для всех вопросов реконструкции доисторического языкового состояния, потому что среди рукописного наследия средневековья библейские рукописи самые древние и для некоторых периодов самые многочисленные лингвистические источники.

Короче говоря, выполнение этого проекта разрешит ряд важных вопросов славянской и русской исторической филологии и создаст предпосылки для правильной постановки и решения многих других вопросов. Выполнение этого проекта по его общеславянской значимости может стать общим делом международного сотрудничества ученых.

Необходимо также назвать еще две давно и настоятельно стоящие перед нашей наукой задачи.

Созданные в течение XVI в. три рукописных экземпляра Великих четых миней митрополита Макария представляют собою исключительное и уникальное явление славянской письменности. По своему замыслу и масштабу они стоят рядом с предпринятым позже грандиозным изданием болландистов «Acta Sanctorum», по своему духу они являются ярким выразителем «эпохи второго монументализма» (выражение акад.

Д. С. Лихачева), запечатленной также в Геннадиевской библии, Степенной книге и Лицевом летописном своде. Великие четьи минеи включают в себя весь корпус переводной и оригинальной славянской письменности за исключением летописи, практических юридических текстов и немногочисленной в ту эпоху светской беллетристики. Часть текстов вошла в них без каких-либо перемен в своем древнем языковом облике, большинство оригинальных русских житий подверглось языковой и стилистической обработке в стиле «плетения словес», почему этот корпус должен быть особенно тщательно изучен лингвистами как свидетельство последнего взлета церковнославянского языка накануне серьезных исторических перемен в России конца XVI — начала XVII в., приведших к изменению социолингвистической ситуации. Поскольку создатели Великих четьих минеи в ряде случаев пользовались весьма древними рукописями, не дошедшими до нас, а в других случаях создавали особые редакции текстов, обращение к этому источнику необходимо для исследователей подавляющего большинства славянских переводных и оригинальных произведений, даже если речь идет об относительно небольших по объему статьях. Это обстоятельство безусловно ставит под угрозу сохранность уникального памятника, так что издание его становится, с одной стороны, крайне необходимым для успешной работы в области источниковедения славянской и русской письменности, а с другой стороны, оказывается средством его физического спасения. В данном случае самой приемлемой во всех отношениях формой издания будет факсимильное воспроизведение наиболее полного по составу и сохранности Успенского комплекта Великих четьих минеи. Полезным приложением к нему явится фототипическое переиздание составленной в свое время росписи содержания [24], а также списка важнейших отличий Софийского и Царского комплектов.

Наконец, в изучении восточнославянской письменной культуры белым пятном остаются переводные тексты древней Киевской эпохи, и это несмотря на то, что краткий библиографический список их был впервые составлен А. И. Соболевским почти сто лет назад в 1893 г. [25] (ср. также [26]). Из почти сорока названных тогда А. И. Соболевским текстов было изучено и критически издано совсем немного: Александрия, История иудейской войны Иосифа Флавия, Есфирь, Песнь песней с толкованиями, Девгениево деяние, Повесть об Акире. До сих пор не подверглись изучению на основе всей рукописной традиции и не получили критических изданий такие значительные по объему, разнообразные по языку и стилистическим ресурсам произведения, как Житие Андрея Юродивого, Пандекты Никона Черногорца, Христианская топография Козьмы Индикоплова, Толкования Никиты Ираклийского на слова Григория Богослова, Хроника Георгия Синкелла, Студийский устав, Пролог, а также два с лишним десятка меньших по объему памятников. Не вызывает сомнений, что исследование текстов, отнесенных А. И. Соболевским к русским переводам, внесет большие перемены в наши знания о письменной культуре Древней Руси. Пока не выполнена эта работа, справедливыми останутся слова акад. Н. К. Никольского, что история древнерусской письменности строится нами с крыши, «т. е. с обобщений, основанных на недостаточном количестве отдельных наблюдений, и с применения к ним предвзятых идей и заимствованных схем» [5, с. 3].

Отсутствие планомерной деятельности по изданию исторических источников славянской и русской письменности и языка, вероятно, может быть объяснено целым рядом причин. Безусловно господствующий сейчас

живой интерес к объяснению исторических феноменов, к истолкованию основных культурных ценностей прошлого, к созданию теоретических концепций всего хода исторического развития языка, литературы, культуры возник как попытка преодолеть болезненно ощущаемый разрыв исторической непрерывности. Однако долго идти по этому пути нельзя, ибо он неизбежно приводит к искажению прошлого, либо модернизируя его, либо приписывая ему свойства, полярно противоположные современной действительности. Сохранение уравновешенного исторического подхода в немалой степени связано с непосредственным изучением всего разнообразия источников, а сама возможность реконструкции системы ценностей известной исторической эпохи обусловлена, с одной стороны, изучением каждого ее элемента в его динамике, процессе становления, а с другой, предельной полнотой источников, освещенных с позиции историзма. Сложность овладения историческим материалом передко приводит исследователя к сознанию того, что для истолкования тех или иных явлений нужны дополнительные разыскания в источниках. Осознание пробелов в знаниях становится не менее мощным рычагом научного прогресса, чем индуктивные концепции.

В заключение необходимо сказать несколько слов по организационному вопросу.

Диссертации, т. е. исследования, создаваемые в качестве квалификационных сочинений, все еще являются основным путем научного развития в сфере историко-филологических дисциплин. Положение дел в изучении и издании текстов может измениться лишь в том случае, если лингвистические и филологические исследования источников в качестве кандидатских и даже докторских диссертаций получают более широкое распространение, чем это принято теперь. Вместе с тем желательно изменить существующие планы источниковедческой работы гуманитарных академических учреждений, отведя в них большее место изданию источников. Для координации работ по планомерной публикации источников (скажем, в виде очерченных здесь кратко проектов) необходимо, по всей вероятности, создание особого совета при Отделении литературы и языка или при Комитете славистов. На этот совет должны быть возложены обязанности по окончательной выработке и утверждению издательских планов, по изысканию средств на издания (в ряде случаев путем обращения к различным общественным организациям), надзор за научным уровнем публикаций. Труд по изданию текстов крайне сложен, требует большой механической однообразной работы, здесь для успеха необходима личная заинтересованность публикаторов (в виде гонорара, диссертации и т. п.). Это создаст условия и для более строгих требований к уровню публикаций.

Научные силы нескольких гуманитарных институтов Академии наук, университетов, других научных учреждений и обществ в настоящее время достаточно многочисленны и вполне подготовлены к тому, чтобы справиться с задачами, выдвигаемыми ходом развития славяноведения и рустистики на первый план.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Лихачев Д. С.* Текстология: на материале русской литературы XI—XVII веков. 2-е изд. перераб. и испр. Л., 1983.
2. *Жуковская Л. П.* Научное факсимильное издание древних рукописей // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: Материалы Всесоюзной конференции. Л., 1981.
3. *Эрастов Д. П.* Факсимильное издание — косвенный путь повышения физической сохранности рукописных памятников // Проблемы научного описания рукописей

- и факсимильного издания памятников письменности: Материалы Всесоюзной конференции. Л., 1981.
4. Библиографический указатель изданий Археографической комиссии. 1836—1936. / Сост. Смирнова А. П., Тутова А. Ф., Цеханович А. А. Л., 1985.
 5. *Никольский Н. К.* Задачи и краткий очерк деятельности Комиссии по изданию памятников древнерусской литературы (со времени ее возникновения до 1 января 1929 г.). Л., 1929.
 6. *Дмитриев Л. А.* Обзор изданий памятников древнерусской литературы (1917—1978) // Русская литература. 1979. № 1.
 7. *Творозов О. В.* «Трудам Отдела древнерусской литературы» — пятьдесят лет // ТОДРЛ. 1985. Т. 40.
 8. La pratique des ordinateurs dans la critique des textes. Paris, 29—31 mars, 1978. P., 1979.
 9. *Творозов О. В.* Древнерусская книжность XI—XIII веков (о каталоге памятников) // Духовная культура славянских народов: литература, фольклор, история. Л., 1983.
 10. *Адрианова-Перетц В. П.* Картотека Н. К. Никольского // ВЯ. 1961. № 1.
 11. *Котков С. И., Жуковская Л. П.* О публикации памятников русского языка и письменности // ВЯ. 1960. № 4.
 12. *Mathiesen R.* Handlist of manuscripts containing Church Slavonic translations from the Old Testament // Polata knjigopisnaja. 1983. N 7.
 13. *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
 14. *Есеев И. Е.* Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. М., 1905.
 15. *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия XI—XVI вв. М., 1896.
 16. *Воскресенский Г. А.* Послания св. апостола Павла. Сергиев Посад, 1892—1908.
 17. *Сперанский М. Н.* // Записки Академии наук. 1899. Т. 3. № 5. Рец. на кн.: *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия XI—XVI вв. М., 1896.
 18. *Есеев И. Е.* // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Академией наук. Пг., 1915. Рец. на кн.: *Воскресенский Г. А.* Послания св. апостола Павла.
 19. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1985. № 1.
 20. *Алексеев А. А.* Опыт текстологического анализа славянского Евангелия (по спискам из библиотек Болгарии) // Старобългаристика. 1986. № 3.
 21. *Мещерский Н. А.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978.
 22. *Алексеев А. А.* Кирилло-мефодиевское переводческое наследие и его исторические судьбы (переводы св. Писания в славянской письменности) // Славяноведение. Археология. Фольклор. X Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988 г.): Докл. советской делегации. М., 1988.
 23. *Есеев И. Е.* Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916.
 24. *Иосиф*, архим. Подробное оглавление Великих четних миней всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриархии (ныне Синодальной библиотеке). М., 1892.
 25. *Соболевский А. И.* Особенности русских переводов домонгольского периода // *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980.
 26. *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. М., 1969.

ЖУРАВЛЕВ А. Ф.

ЛЕКСИКОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
БЛИЗОСТИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Лексикостатистический подход к оценке генетической близости языков, заявленный в названии настоящей работы, не должен отождествляться с получившим в свое время большую известность методом глоттохронологии М. Сводеша [1—3]. Цели данной работы и, главным образом, объем и характер лингвистического (лексического) материала, используемого для достижения этих целей, равно как и способ его обработки, отличны от задач глоттохронологических исследований и материала, на котором они базируются, вследствие чего точек соприкосновения нашего анализа с методом Сводеша оказывается немного. Воспользуемся, однако, возможностью сравнения с глоттохронологией для того, чтобы отчетливее выявить особенности нашего подхода.

Цель настоящей работы сравнительно узка: испытание метода, основанного на лексикостатистических данных, с помощью которого «измеряется» родство языков (точнее, идиомов — лингвистических объектов в принципе любого уровня классификации, от говоров одного языка до родственных языковых семей, например, внутри ностратической гиперсемьи; в данной статье метод будет опробован применительно к нескольким группам языков, составляющих славянскую ветвь). Это означает, что, в отличие от глоттохронологических исследований в духе Сводеша, здесь не ставится задача абсолютного датирования этапов «распада» праязыка. Если у Сводеша и сторонников его метода установление картины языкового родства является хотя и необходимо важной, но лишь частью искомого результата (конечная цель все-таки хронологизация «распада»), то задачи нашего исследования этой «частью» и ограничиваются.

Отказ от датировки этапов дивергентного развития славянских языков вызван прежде всего сохраняющимися сомнениями в доказуемости постулата о постоянстве скорости, с которой меняется так называемый «базовый словарь». Однако это не единственная причина уклонения от абсолютной хронологизации процессов «распада». Метод Сводеша был подвергнут серьезной критике. Не повторяя многих замечаний в адрес глоттохронологии и не стремясь умножить ряды ее недоброжелателей (это было бы и несвоевременно и несправедливо по отношению к работам, которые породили целое лингвистическое направление, отчасти стимулировавшее и данное исследование), отметим здесь все же, что ее существенным недостатком является молчаливое допущение диалектной монолитности праязыка, т. е. фактическая опора на одностороннюю концепцию родословного древа при принятии во внимание только процессов дивергенции. Между тем представления о диалектной расчлененности в принципе любого языка, в том числе и реконструируемых праязыков, становятся уже почти банальностью, и никто не может поручиться за то, что и «базовый словарь», как его определил Сводеш, непременно с самого начала един для всех ком-

понентов (диалектов) праязыка, выделяющихся затем в самостоятельные лингвистические образования. Но даже если признать унитаристскую концепцию безальтернативной, уязвимость попыток датирования дивергенции этим не устраняется, поскольку в этом случае в упрек глоттохронологическим работам может быть поставлен неучет того обстоятельства, что «распад» праязыкового единства начинается, как это логично предположить, с низкочастотной и неустойчивой периферийной лексики и лишь какое-то время спустя затрагивает «базовый словарь». Следовательно, полученные оценки времени «распада» праязыка (или, что то же, возраста языков-потомков) неизбежно окажутся заниженными, причем неясно насколько.

К этому можно добавить, что, оперируя понятиями «праязык», «распад», «автономное развитие языков» и под., сторонники глоттохронологии мало интересуются реальным содержанием процессов дивергенции, отказываясь обсуждать сами критерии языковой самостоятельности. Отделяющиеся от языка-основы идиомы выступают в глоттохронологических работах некими бесплотными сущностями, языками «без свойств», если прибегнуть к парафразе известной формулы Р. Музиля. Это впечатление усиливается несколько гротескной формой представления результатов подсчета, принятой в глоттохронологии: начало дивергенции между чешским (!) и венгерским (!) языками (!) приходится на 6 677 год до н. э. (плюс-минус 998 лет), а между русским (!) и финским (!) — на 6 274 год до н. э. (плюс-минус 944 года) [4]. Применительно к подобным выкладкам можно сказать, заостря ситуацию, что специалисты по глоттохронологии не знают, что случилось, но достаточно уверенно судят о том, когда это произошло.

Мало ясности вносят и такого рода теоретические поправки: «Ни один язык не существует без диалектных различий внутри его. Но суть не в материальных различиях между диалектами. Совокупность диалектов остается единым языком при всех различиях между диалектами до тех пор, пока они эволюционируют согласованно. Наоборот, самостоятельные языки характеризует независимость изменения» [5, с. 17]. Этот привлекательный на первый взгляд структурно-эволюционный критерий разграничения языка и диалекта в действительности требует разрешения множества вопросов: в чем должна быть выражена эта согласованность? можно ли выявить «порог» несогласованности? одинаков ли будет он для разных в генетическом отношении «распадающихся» идиомов?... Думается, что и в пределах славянского лингвистического пространства существует немало феноменов, не вписывающихся в эту жесткую и умозрительную схему, особенно если учесть, что проблема «диалект — язык» относится не только и даже не столько к сфере структурно-эволюционных контроверз, сколько, быть может, к компетенции социолингвистики и даже этнопсихологии (впрочем, по вполне понятным причинам интересы социолингвистики до праязыка не простираются¹). Характерно, что авторы приведенного выше высказывания о согласованности эволюции диалектов и независимости изменения языков десятью страницами спустя, не усматривая в том никакого противоречия, допускают возможность «параллельного развития языков после распада праславянского единства» [5, с. 27].

¹ Ср.: «...мы исходим из признания исторического характера таких безусловно соотносительных по своей природе понятий, как „язык“ и „диалект“, а также из принципиальной невозможности использования по отношению к праязыковым состояниям социолингвистических критериев, единственно релевантных для языковой идентификации диалектов» [6].

Ввиду отказа от датировок дивергенции и ограничения лишь задачей воссоздания картины родства наша работа оказывается по характеру гораздо ближе к попыткам количественной таксономии языков, предпринимаемых, например, А. Я. Шайкевичем [7].

Другое отличие нашей работы от исследований в рамках глоттохронологического направления состоит в критическом взгляде на возможность адекватного воссоздания картины генетической близости языков путем обращения к диагностическому списку в 100—200 слов (или, точнее, «смыслов»). Увеличение числа языковых единиц («признаков»), привлекаемых к статистическим подсчетам, у А. Я. Шайкевича («627 понятий из первых 14 разделов» известного словаря избранных синонимов основных индоевропейских языков К. Бака [8]) также не кажется нам достаточным, хотя полученная им схема [7, с. 335] отличается определенной убедительностью и дает автору возможность сделать некоторые интересные нетривиальные заключения (например, «о необходимости повысить ранг таксона „кельтские языки“» и о том, что «следует считать их надгруппой внутри индоевропейских языков», включающей в себя гаэльскую и британскую группы» [7, с. 334])².

Вряд ли кто будет спорить с тем, что для точности «измерения» языкового родства большие массивы лексики и особенно полный праязыковой словарь в его отражении современными языками лучше, чем любые выборочные диагностические перечни слов. Однако большинство исследуемых лингвистами родственных групп и семей языков такими массивами и словарями не обеспечено, так что глоттохронологический метод в предложенном М. Сводешем виде является вынужденным и в общем нескрываемым компромиссом.

С предельной строгостью картина языкового родства лексикостатистическими методами может быть воссоздана на основе квантитативного анализа в с е й праязыковой лексики, сохраняющейся в языках-потомках. Применительно к славянским языкам это означает, что подсчеты следует вести на базе приблизительно 20 тыс. лексем, входящих в реконструированный словарный состав праславянского языка, включая в него и праславянские диалектизмы (Ф. П. Филин [9] указывает ориентировочную цифру 22 000 лексем; оценки Т. Лер-Славинского, Ф. Копечного и др. в 1 700, 2 000, 9 000 единиц, ср. [10—13], могут считаться безнадежно устаревшими). Таким образом, объем материала, привлекаемого для статистического анализа, должен возрасти по сравнению со списком Сводеша на два порядка, что несравненно повысит надежность результатов. Для современных средств вычисления этот объем, разумеется, отнюдь не является чрезмерным. Вопрос состоит лишь в том, чтобы исследователь располагал подобным материалом.

² Нужно заметить, что в схеме на с. 335 по недосмотру автора (или редактора) оказались не отраженными связи древнегреческого с латинским, литовского с древнеисландским, старославянского с древнеанглийским, древневерхнегерманским и нидерландским, по своей силе входящие в тот же интервал показателей генетической близости, что и отмеченные в схеме связи латинского с готским и древневерхнегерманским, а также между языками британской группы с языками гаэльской группы и языков балтийской группы с языками славянской группы. Любопытно, что в парных связях этой мощности фигурируют прежде всего мертвые индоевропейские языки, включенные А. Я. Шайкевичем в схему, — древнегреческий, латинский, древнеирландский, готский, древневерхнегерманский, древнеанглийский, старославянский; группы современных индоевропейских языков связываются между собою относительно большей близостью друг к другу предшествующих языковых состояний: изначное проникновение диахронии в ахроническую схему родства.

Начавшаяся в середине 70-х годов публикация словарей, которые ставят своей задачей реконструкцию славянского праязыкового лексического фонда в его полном объеме («Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» под ред. О. Н. Трубачева в Москве и «Słownik prasłowiański» под ред. Ф. Славского в Кракове) позволяет оценить родство славянских языков попарно не на крайне ограниченном материале «универсального» диагностического базового списка в 165 (см. [14]) — 215 — 200 — 100 понятий, а с опорой на реконструированный словарь праязыка *in corpore* в его проекции на унифицированно представленные континуанты — лексиконы современных славянских языков.

Использование этимологических словарей, ориентированных на предельно полный охват и статейное перечисление праязыковой лексики, сохраненной в современных языках, принципиально важно для работы подобного рода: оно позволит если не избежать полностью, то свести к минимуму опасность, от которой не гарантированы (более того — на которую почти обречены) подсчеты по методу Сводеша. Имеется в виду бессилие глоттохронологии в ее классическом варианте перед явлениями лексического взаимопроникновения в языках-потомках. Разумеется, и современный этимологический анализ не обеспечивает стопроцентной уверенности в том, что перед нами именно только унаследованная праязыковая лексика, а не следствие взаимовлияний эпохи «после распада». Однако, во-первых, нынешнее состояние славянской этимологии следует оценивать очень высоко, и в большинстве своем послепраязыковые лексические перемещения из языка в язык выявляются достаточно надежно. Во-вторых, при оперировании лексическими массивами в несколько тысяч единиц возможна (и статистически вполне корректна) элиминация сомнительных случаев, к каковой мы и будем прибегать при необходимости.

Как выявить численную меру языкового родства? Самый простой, на первый взгляд, способ определить относительную генетическую близость языков друг к другу на основании лексикостатистических данных — сопоставить число общих для данных двух языков лексем, восходящих к восстановленному праязыковому словарному фонду, с аналогичными цифрами, характеризующими другие пары родственных языков: можно предпологать, что идиомы А и В, имеющие в своих словарях 1 000 общих для них праязыковых лексем, генетически менее близки, чем идиомы А и С, у которых число общих лексем, восходящих к праязыковой эпохе, допустим, 2 000.

Однако этот наиболее простой способ прямого сличения цифр одновременно наименее надежен и не пригоден для каких бы то ни было количественных сравнений лингвогенетической направленности. Он может работать только в том случае, когда все сравниваемые идиомы, находящиеся между собою в родстве, сохраняют по совершенно одинаковому числу единиц праязыкового лексического фонда. Такая ситуация крайне маловероятна для любых лингвистических общностей и существует как возможная лишь теоретически. Реально представленность праязыковой лексики в разных языках-потомках, естественно, различна: в верхнелужицком языке праславянских слов, по-видимому, всего около 5 000, тогда как в чешском или сербохорватском их не меньше 10 000, а в русском эта цифра, возможно, значительно превышает 12 000 лексических единиц. Понятно, что количество общих праславянских слов, сохраненных, скажем, польским и полабским языками, заведомо должно быть меньшим, чем количество общих праславянских слов для польского и русского языков, поскольку объем доступного реконструкции праславянского пласта в по-

лабской лексике примерно в десять раз меньше праславянского словника русского языка, чем бы это ни вызывалось — деградацией полабского языка или просто скудостью наших сведений о нем. Однако столь же понятно и то, что польский и полабский характеризуются более тесными генетическими связями, чем польский и русский.

Следовательно, прямое сопоставление абсолютных цифр, описывающих лексические связи праязыкового характера в языках-потомках попарно, дает искаженную картину генетической близости языков, причем это искажение тем значительнее, чем заметнее расхождения в цифрах, отражающих объемы унаследованной или сохраненной поздними языками праязыковой лексики.

Устранение упомянутых искажений не представляет большой сложности. Очевидно, что показательны в данном случае числа лексических совпадений праязыкового характера для разных пар языков не в абсолютном выражении, а в отношении к количеству праязыковых лексем, сохраненных каждым из сравниваемых языков вообще, т. е. к объемам праязыковых словников обоих языков: для славянских языков А и В количество общих праславянских слов должно быть отнесено к произведению числа всех праславянских слов, обнаруженных в языке А, и числа всех праславянских слов, выявленных в языке В (в знаменателе вместо абсолютного числа всех праславянских лексем в данном языке можно брать и его долевого выражение — отношение объема праславянского лексического пласта в данном языке к объему всего реконструируемого этимологическим анализом праязыкового словаря в целом; выбор того или другого регулируется только удобством масштаба численного выражения конечного результата).

Но и при таком подсчете полученная картина соотношений будет весьма далека от ожидаемой на основании интуитивных представлений. Причиной этому — неравноценность разных конкретных лексических корреспонденций между языками, во-первых, и различия в пропорциях между разнородными связями для разных пар языков, во-вторых.

Ценность лексических изоглосс в установлении степени генетической близости языков путем статистических подсчетов находится в очевидной обратной зависимости от числа охватываемых ими языков: наиболее весомы в этом отношении сепаратные лексические связи между двумя языками, наименее — лексические изоглоссы, охватывающие все исследуемые родственные языки. В соответствии последовательности изоглоссных классов, выделяемых в зависимости от числа связываемых идиомов, должна быть поставлена шкала коэффициентов, позволяющих устранить неравнозначимость показателей близости. Пробные подсчеты показали, что при сравнительно небольшом числе сопоставляемых языков удовлетворительно работает шкала коэффициентов, представляющая собою последовательность десятичных логарифмов чисел, определяющих класс изоглосс (т. е. количество охватываемых ими идиомов), но расположенных по отношению к числам, выражающим лексические связи, в обратном порядке: число эксклюзивных лексических связей между двумя данными идиомами умножается на коэффициент $\lg n$; число изоглосс, охватывающих три идиома, — на $\lg (n - 1)$; четыре — на $\lg (n - 2)$ и т. д., до коэффициента $\lg 2$, на который умножается число связей, охватывающих все n идиомов.

Взвешенные с помощью указанной шкалы коэффициентов величины суммируются, полученная сумма делится на произведение чисел, выражающих объемы унаследованного праязыкового словаря отдельно в языках А и В. Результат и служит показателем генетической близости этих языков. Таким образом, индекс генетической близости для пары языков

(идиомов) определяется по формуле:

$$G(A, B) = \frac{\sum_1^n \lg(n + 2 - i) \cdot V(A, B)_i}{H(A) \cdot H(B)},$$

где G (лат. *gentilitas* «родство») — показатель генетической близости, «степени родства»; A и B — два данных идиома из всей совокупности исследуемых идиомов; n — общее число сравниваемых идиомов; V (лат. *verbum* «слово») — число общих для двух данных идиомов слов, входящих в изоглосный тип данного класса; H (лат. *hereditas* «наследство») — число всех восстанавливаемых (или привлекаемых к анализу) единиц праязыкового лексического фонда, отмеченных в данном идиоме; i — класс изоглосы (число охватываемых ею идиомов).

Вычисление уровня родства каждой пары идиомов по предложенной формуле несложно, однако нуждается в весьма трудоемком «нулевом цикле» работ.

Если подсчеты ведутся вручную, то для их облегчения разумно использовать рабочее понятие типовой изоглосной конфигурации. Под нею здесь понимается обобщенная характеристика изоглоссы, освобожденная от сведений о конкретном очертании ареала и представляющая собою лишь перечисление идиомов, в которых отмечены континуанты заголовочной праформы (составляющей элемент словника привлекаемого к анализу праязыкового лексикона). Необходимость этого рабочего понятия вызывается тем, что в зависимости от мощности типа, т. е. числа охватываемых им идиомов, в формуле, которую мы предлагаем, разным изоглосным объединениям приписываются разные коэффициенты. Предварительная разметка используемого словаря — отнесение списков межъязыковых («междиомных») соответствий справа от каждой заголовочной праформы к той или иной типовой изоглосной конфигурации — и требует наибольших затрат труда.

Количество типовых изоглосных конфигураций, которые обобщают конкретные изоглоссы с идентичным распределением по изучаемым идиомам, зависит от количества (n) привлекаемых к сравнению идиомов и выражается числом 2^n (вернее, $2^n - 1$, так как одна из типовых изоглосных конфигураций представлена прочерками против всех включаемых в анализ идиомов и является «пустой»). Таким образом, если сравниваются четырнадцать славянских языков (болгарский, македонский, сербохорватский, словенский, чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий, полабский, польский, кашубско-словинский, русский, белорусский и украинский), то число возможных типовых изоглосных конфигураций будет равным $2^{14} - 1 = 16\ 383$. Разумеется, далеко не все из теоретически возможных типовых изоглосных конфигураций окажутся реально воплотимыми в имеющихся реконструкциях; более того, реальных воплощений не будет иметь, вероятно, подавляющая часть исчисленных изоглосных типов. Тем не менее их количество слишком велико, чтобы с вычислениями на уровне отдельных славянских языков, при сравнении их друг с другом, можно было справиться вручную. Подобную работу можно поручить только ЭВМ. Поэтому в исследовании предварительного характера, каковым является настоящая статья, целесообразно в качестве пробного варианта остановиться на выяснении генетической близости меньшего числа идиомов — не отдельных славянских языков, а их группировок. Снижение числа идиомов (за счет не сокращения, а «обобще-

ния», «укрупнения» их) до 6 или 7, что вполне приемлемо для экспериментальной проверки формулы, дает $2^6 - 1 = 63$ или $2^7 - 1 = 127$ изоглоссных типов.

Разметив словарь, т. е. проставив против каждой словарной статьи номер типовой конфигурации, которой соответствует список континуантов праформы в заголовке статьи, нетрудно подсчитать, каким количеством праязыковых реконструкций («изолекс») представлен каждый из исчисленных изоглоссных типов. Имея таблицу изоглоссных типов с данными о количестве конкретных изолекс, которым отражена каждая типовая конфигурация, далее путем суммирования несложно получить все необходимые для подстановки в предложенную выше формулу цифры.

В настоящей работе славянские языки были разбиты на шесть групп, отношения особо тесного родства внутри которых бесспорны и которые соответствуют наиболее вероятному, по теперешним представлениям, диалектному членению позднепраславянского языка: восточная южнославянская (болгарско-македонская), западная южнославянская (сербохорватско-словенская), чешско-словацкая, лужицкая, лехитская и восточнославянская (русская) языковые группы (ср. [15—18]). Учитывая несколько особое положение полабского языка в составе лехитских языков, к которым его обычно относят (ср. хотя бы выделение четырех западнославянских языковых групп, с обособлением полабских наречий, у А. М. Селищева [19]), было сочтено допустимым выделить его в индивидуальную «группу». Это даст возможность уже в данной работе проверить тесноту его генетических связей с другими западнославянскими группами.

Упомянутая выше таблица типовых изоглоссных конфигураций при «семичленном» наборе идиомов выглядит следующим образом [латинскими буквами обозначены исследуемые группы славянских языков: (a) — болгарско-македонская, (b) — сербохорватско-словенская, (c) — чешско-словацкая, (d) — лужицкая, (e) — полабская, (f) — лехитская (польско-кашубско-словинская), (g) — восточнославянская (русско-белорусско-украинская)]:

Таблица I

№	Типовая изоглоссная конфигурация							Число охватываемых групп (класс конфигурации)	Число ее лексических репрезентаций
	a	b	c	d	e	f	g		
1	+	+	+	+	+	+	+	7	243
2	+	+	+	+	+	+	—	6	1
3	+	+	+	+	+	—	+	6	4
4	+	+	+	+	+	—	—	5	0
5	+	+	+	+	—	+	+	6	601
6	+	+	+	+	—	+	—	5	24
.....									
47	+	—	+	—	—	—	+	3	31
48	+	—	+	—	—	—	—	2	19
49	+	—	—	+	+	+	+	5	0
50	+	—	—	+	+	+	—	4	0
.....									
125	—	—	—	—	—	+	+	2	83
126	—	—	—	—	—	+	—	1	66
127	—	—	—	—	—	—	+	1	483
(128)	—	—	—	—	—	—	—	(0)	(—)

Издание обоих упомянутых праславянских словарей — и московского, и краковского — находится в разгаре, и до полного их завершения должно пройти еще довольно много времени. На более продвинутом этапе находится работа московского коллектива авторов, доведшего публикацию своего словаря уже до 14-го выпуска (начата буква *L*). Материал «Этимологического словаря славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева (далее сокращенно: ЭССЯ) и был предпочтен нами для предварительного лексикостатистического обследования.

В первых двенадцати выпусках ЭССЯ содержится 5 966 позиций, что почти в тридцать и шестьдесят раз соответственно превосходит объемы вариантов «базового словаря» Сводеша и почти в десять раз — объем списка понятий для таксономии европейских языков у Шайкевича. Можно надеяться, что пробные подсчеты по нашей формуле, сделанные на этом материале, будут обладать достаточной убедительностью, т. е. полученная картина родства будет близка к той, какая может быть выявлена на всем материале праславянских лексиконов, когда они завершатся. Надежду на это внушает то обстоятельство, что, как показывают статистические прикидки, уже с 7—8 выпусков ЭССЯ (около 4 000 праславянских лексем) примерные пропорции в силе родственных связей между отдельными упомянутыми семью группами славянских языков стабилизируются и в последующем, с возрастанием объема лексического материала, меняются в целом сравнительно незначительно.

Основной объект «нулевого цикла» работы — изоглосса в обобщенном представлении, т. е. фактически позиция в ЭССЯ — список рефлексов праславянской праформы, содержащийся в каждой словарной статье. В указанном словаре основанием межславянского сравнения и комплектования материала в пределах статьи является не корень, как это большей частью практикуется в этимологических лексиконах, а словообразовательная структура [20, с. 9; 25—27], и предметом рассмотрения становится не этимологическое гнездо, а праславянская лексема, т. е. межславянские лексические корреспонденции с полным формальным тождеством на уровне праформы (ср.: **glupiti*: словен. *glupíti*, чеш. редк. *hloupiti*, польск. диал. *glupić*, русск. *глупить*; **košanica*: серб.-хорв. *кошаница*, русск. диал. *кошаница*, укр. *кошаниця*, блр. диал. *кошаньця*; и под.). Однако принцип оперирования в границах одной словарной статьи только цельнолексемными соответствиями вряд ли может быть проведен с неукоснительной последовательностью, и составители ЭССЯ весьма далеки от лексикографического ригоризма, допуская иногда в наборе соответствий отступления от требования формального тождества корреспондирующих единиц и «максимально расчлененной подачи словника» [20, с. 9]. Наиболее обычный случай — включение в число корреспонденций заголовочной лексемы форм, находящихся на следующих ступенях деривации при незавидительствованности в данном языке прямого рефлекса праформы: укр. *дарбелний* в списке контигуантов праслав. **darьba*, серб.-хорв. *дѣвуша*, *дѣвуша*, русск. *дѣвушка* как продолжения праслав. **děvuxa*, словен. *gibežljiv* в статье **gybežь* и т. п.; такие дополнения к спискам корреспонденций, свидетельствующие о былом существовании первообразных структур в идиомах, предшествующих современным языкам, вводятся в статью оборотом «Ср. сюда же...». Изредка встречаются и обратные случаи — когда статья посвящена анализу суффиксального образования, а «сюда же» подключается единичная нераспространенная форма, в самостоятельную словарную статью составителями не выделяемая (русск. диал. *гуть* в статье **gōtьnъjь*, н.-луж. *gjarś* в статье **gьrtanъjь*/**gьrtanь*). Морфологи-

ческие варианты могут в одних случаях объединяться в одну статью (как в *čemerъ/*čemera, *xodъ/*xoda, *gala/*galo, *koryna/*koryno/*koryнъ и т. д.), в других же — составлять разные словарные позиции, и если пары лексем *dara — *darъ, *doba — *dobo демонстрируют различия, восходящие еще к индоевропейскому состоянию, что отмечается в этимологической разработке, то разнесение лексических пар *ablъko — *ablъкъ, *brězga I — *brězгъ I, *brězga II — *brězгъ II, *buka — *bukъ II и др. в разные статьи подобным образом эксплицитно в тексте словаря не мотивируется. То же можно сказать и о морфологическом варьировании глаголов типа *čepati — *čepiti, *xlestati — *xlestiti, *děti — *děvati (члены пар составляют разные статьи), с одной стороны, и *gorniti I (с включением серб.-хорв. *gránati* в ту же статью), *xarati (с включением укр. *xárimu*), *dobyti/*dobyvati и под., с другой. Могу объединяться в одну статью и словообразовательные омонимы, отмеченные в разных языках, ср., например, *agodъnica, объединяющее, по-видимому, производные от *agoda со словообразовательно вторичными случаями, непосредственно связанными с *agodica; *gospodъnъ(jъ), в котором слились дериваты от *gospodъ и *gospoda).

Все это показывает, что «набор» лексических изоглосс, если последние исчислять, исходя из словника ЭССЯ, является до некоторой степени условностью. Другие чисто лексикографические решения из соображений удобства расположения материала в приведенных и аналогичных им случаях привели бы к констатации отличных изоглосс, часто иной мощности, что небезразлично для результатов нашей работы, поскольку разным по классу изоглоссным конфигурациям приписываются в нашей формуле разные «весовые» коэффициенты.

Состав подсчитываемых единиц, а вместе с ним (правда, едва ли сколько-нибудь значительно при таком объеме материала) и конечная картина родства зависят не только от способа подачи этого материала в словаре, но и от выбираемых этимологических решений. В статье *baxorъ объединены примеры, часть которых может трактоваться как «своего рода экспрессивное имя деятеля *ba-x-orъ от основы *ba-», в то время как другие суть образования *bax-orъ от глагола *baxati с семантикой «внутренности, кишки», «колбаса», «что-либо толстое, круглое». Разграничить *baxorъ I и *baxorъ II до конца мешает серб.-хорв. *bāor*, совмещающее обе семантические линии. В случае признания этимологической связи глагола *kaniti (при преобладании в южнославянских рефлексах значений «приглашать», «предлагать», «намереваться») с гнездом *konъ, *konati «становится ясным отнесение сюда... русск. диал. *káнитъ* „пятнать (при игре в пятнашки)“». Иные этимологические версии изменили бы состав рефлексов и изоглоссных конфигураций.

Наконец, нельзя быть до конца уверенным в полной исчерпанности списков рефлексов по языкам, в них могут оказаться лакуны, также влияющие на отнесение данного перечня соответствий к той или другой типовой изоглоссной конфигурации. Так, на наш взгляд, могут быть дополнены списки рефлексов в статьях *babъskъjъ (нет русск. *бáбский*, хотя тут же приведено укр. *бáбський* с русским переводом «бабий, б а б с к и й»), *bolъ(jъ) (не учтен русский топоним *Бологбе*), *bъčelъ(jъ) (польск. *pszeli*), *ěskravъjъ (укр. *яскрáвий*, если это не заимствование из польского), *gordъьс (топоним *Gardiss* в Полабье), *govъnъnъ(jъ) (русск. *говняный*), *govъно (блр. *гаўно*), *gušcerъ (русск. фолькл. *ящер-гущер*), *xagobiga (русск. диал. *xарáборы* с фонетическими вариантами, фамилии вроде *Харабаров*, возможно, *Харабурда* и проч., относительно которых,

правда, могут возникать и тюркские ассоциации), *kolo (полаб. *t'ülü*), *kolv (полаб. *t'ün*).

Однако к указанным лексикографическим и этимологическим решениям, принятым в ЭСЯ, мы отнесли «некритично», как если бы они были единственно возможными. Об этих реальных или мнимых непоследовательностях, которые отнюдь не следует считать недостатками словаря, мы нашли необходимым упомянуть лишь затем, чтобы, во-первых, лишний раз подчеркнуть сложность всякой словарной работы, а во-вторых, показать важность привлечения массового материала для количественных оценок лингвистического родства. Потребность выбора между несколькими возможностями — ситуация более чем обычная в лексикографии, и только при значительном объеме материала спорные случаи могут стать статистически незначимыми, погашаясь мощно обнаруживающимися в словарном массиве тенденциями.

Тем не менее мы стремились к тому, чтобы лексический материал, используемый нами, был предельно чист в генетическом отношении. Для этого была осуществлена процедура сегрегационного анализа. Цель его — освобождение материала для статистических построений от результатов возможных послепраславянских взаимовлияний, от книжной лексики, потенциально поздних образований, сомнительных параллелей и т. п., словом, снятие всего, что может исказить синхронную картину генетической близости. Единственным и достаточным поводом для констатации небезупречности примера или реконструкции служили явно выраженные сомнения самих составителей словаря.

Прежде всего, из списков соответствий «вычеркивались» старославянские и церковнославянские лексические примеры. Старославянский, будучи в целом «болгарско-македонским» по происхождению, во-первых, не является продолжением живой народной языковой традиции; во-вторых, он не является генетически однородным, включая в свой лексический состав моравизмы и паннонизмы, не всегда, как можно судить, однозначно диагностируемые. Церковнославянская лексика любого извода большей частью ориентирована на восточный южнославянский ареал и, отличаясь преимущественно книжными путями распространения, также вносит aberrации в общую генетическую характеристику поздних языков. Разумеется, элиминация этих примеров при оперировании не отдельными языками, а их группами релевантна только тогда, когда болгарско-македонская или, скажем, восточнославянская группа, помимо старославянской или, соответственно, русскоцерковнославянской лексики, другими примерами — из живых народных языков — в данном изоглосном списке не отражена.

Далее, не включались в подсчет целиком те словарные статьи, в которых были найдены текстуально выраженные авторские сомнения в праславянской древности заголовочной лексики (конкретные их формулировки очень многообразны и передают, надо полагать, разную степень сомнительности: «праславянская древность сомнительна», «древность проблематична», «момент хронологии неясен», «относительно позднее образование», «возможно, позднее», «м. б. местным новообразованием», «признаки вторичного образования» и т. п.). Изымались из списков соответствий слова живых языков, относительно которых у авторов ЭСЯ возникают подозрения в позднем, послепраславянском параллельном образовании или их книжной природе (например, зап.-укр. *багрій*, русск. *бесчадный*, чеш. , слвц. *hrachor*, русск. *клеветá* и анал.). Некоторые слова западнославянских языков с префиксом *z-* двусмысленны в плане реконструкции:

с равным вероятием префикс может быть возведен и к *jъz-, и к *sъ- (см., например, *jъzbiti, *jъzboosti, *jъzdati и т. д.). При недостаточности семантических аргументов такие примеры «вычеркивались» из перечней соответствий, хотя, может быть, лучшим решением было бы опущение всей вокабулы целиком. Нерешительность составителей по отношению к формам из категории «сюда же» (о них см. выше), выражавшаяся в парентезе «возможно», «по-видимому» (ср., например, русск. диал. баларѣжина — из *baro-lužina?, укр. барїло и др. в статье *bara; чеш. редк. bluiĕkati в статье *bl'ixati/*bl'ukati и под.), толковалась скорее в пользу сегрегации примеров.

В результате сегрегационных процедур из 5 966 праславянских реконструкций, составляющих словник первых двенадцати выпусков ЭССЯ (от *a до *kroma/*kromъ), для дальнейшего статистического анализа было оставлено 5 697 лексем, или 95,5% словника³. Это — больше четверти всего гипотетического объема праславянского лексикона, включая и его локальные, диалектные элементы.

Подсчет реконструированных лексем, приходящихся на каждую из семи постулированных групп славянских языков, в историческом отношении предположительно отождествляемых с позднепраславянскими диалектными областями, дает (по первым двенадцати выпускам ЭССЯ) следующие цифры:

	<i>N</i>	<i>N</i> (%)
(a) болгарско-македонская	2686	47,15
(b) сербохорватско-словенская	4073	71,49
(c) чешско-словацкая	3685	64,68
(d) лужицкая	1659	29,12
(e) полабская	384	6,74
(f) лехитская (без полабского)	2709	47,55
(g) восточнославянская	4321	75,85

При включении полабского в лехитскую группу последняя характеризуется числом 2 753 лексем (или 48,32% от общего количества отобранных к анализу позиций ЭССЯ). Если предположить, что проценты достаточно правдоподобно отражают реальную наследуемость праязыковой лексики разными группами, и экстраполировать их на гипотетический объем праславянского словаря в 20—22 тысячи лексем, то нетрудно выяснить, что всего отдельные группы сохраняют: (a) — 9,5—10 тыс., (b) — 14—15,5 тыс., (c) — 13—14 тыс., (d) — 6—6,5 тыс., (e) — 1,5 тыс., (f) — 9,5—10,5 тыс., (g) — 15—16,5 тыс. единиц праславянского лексического фонда. В свете этих оценок пассажи вроде «Слова, унаследованные из общеславянского (= праславянского. — Ж. А.) языка, не составляют и одного процента лексики современных языков» [21, с. 243] воспринимаются, пожалуй, как слишком решительная литота, если, конечно, исключить из поля зрения циклопические арсеналы узкотерминологической лексики вроде химической и фармакологической номенклатуры (ср. еще [22]).

³ Любопытно отметить, что в первом выпуске словаря было «вычеркнуто» 14,4% позиций, во втором — уже 7,5%, в третьем — 3,8%, в последующих выпусках — в среднем 3,4%. Эта уменьшающаяся последовательность доли сегрегированных вокабул в определенной мере отражает стабилизацию с ходом издания критериев отбора лексики для помещения ее в «Праславянский лексический фонд» самими составителями: напомним, что при сегрегации вокабул мы руководствовались текстуально выраженными сомнениями авторов относительно праславянской древности предлагаемых ими реконструкций.

Итоги статистических наблюдений над генетической близостью отдельных групп славянских языков (попарно) по данным лексики сведены в табл. 2. Последняя ее колонка содержит цифры, являющиеся конечной целью данного предварительного исследования, т. е. словный индекс родства.

Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a ~ b	166	358	469	560	643	243	2439	1463,77	0,1338
a ~ c	19	143	406	552	642	243	2005	1122,91	0,1134
a ~ d	1	10	47	140	609	243	1050	489,98	0,1098
a ~ e	—	3	3	4	43	243	296	100,94	0,0979
a ~ f	9	38	153	488	640	243	1571	816,43	0,1122
a ~ g	50	276	461	548	643	243	2221	1289,12	0,1111
b ~ c	132	411	685	745	662	243	2878	1747,71	0,1164
b ~ d	14	64	134	321	629	243	1405	721,82	0,1068
b ~ e	2	10	11	20	63	243	349	132,41	0,0847
b ~ f	36	151	398	680	660	243	2168	1223,56	0,1109
b ~ g	286	538	730	742	663	243	3202	2006,80	0,1140
c ~ d	23	63	179	322	628	243	1458	750,22	0,1244
c ~ e	3	8	7	23	62	243	346	130,23	0,0920
c ~ f	62	210	408	678	659	243	2260	1296,76	0,1299
c ~ g	178	405	715	740	662	243	2943	1739,87	0,1130
d ~ e	2	2	7	10	29	243	293	101,15	0,1588
d ~ f	11	26	127	254	626	243	1287	643,05	0,1431
d ~ g	18	63	169	317	629	243	1439	746,47	0,1041
e ~ f	3	4	5	25	60	243	340	125,97	0,1211
e ~ g	4	5	9	26	63	243	350	132,42	0,0798
f ~ g	83	221	439	675	660	243	2321	1343,40	0,1148

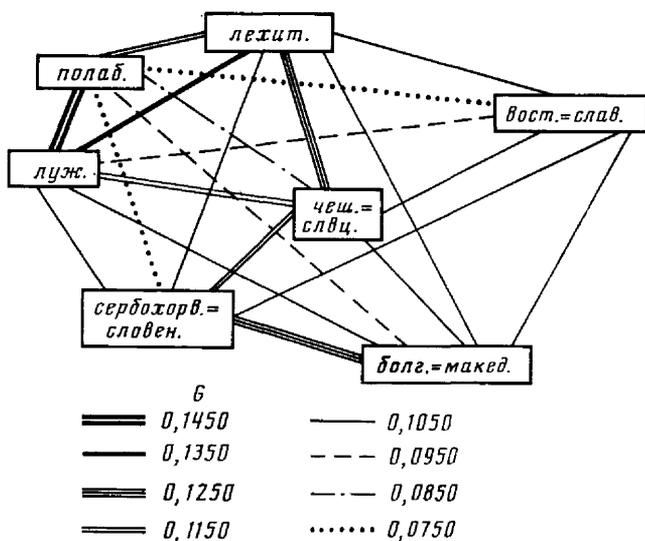
Пояснения к табл.: 1 — сравниваемые пары идиомов; 2—7 — число связей для них праславянских лексем, входящих в изоглосные конфигурации, охватывающие от двух (экс-клюдивные лексические связи) до семи (общеславянские слова) языковых групп; 8 — общее количество лексических корреспонденций между двумя данными группами; 9 — сумма связей, введенных с помощью шкалы поправочных коэффициентов (числитель формулы генетической близости); 10 — индекс генетической близости по данным лексикостатистики (6).

Следует подчеркнуть, что конкретное численное выражение индекса родства носит относительный характер, он показателен только в рамках предпринятого исследования и не сопоставим с цифрами, которые аналогичным способом могут быть получены для иных наборов идиомов и на ином по объему материале: существует сильная зависимость индекса генетической близости от объема праязыкового лексикона и длины шкалы поправочных коэффициентов, которая в свою очередь зависит от числа выделяемых языков или языковых групп.

Выявленные нашим исследованием соотношения в генетической близости между разными группами славянских языков можно наглядно передать схемой в виде графа, узлы которого символизируют изучаемые идиомы, а мощностью ребер изображается сила лексикостатистических связей праязыкового характера.

Подведем предварительные итоги работы.

Если исходить из абсолютных количественных данных о лексических связях между семью группами славянских языков (они содержатся в колонках 2—7 и 8 табл. 2), то выясняется, что наибольшее число лексических (цельнолексемных по подавляющему преимуществу) соответствий связывает сербохорватско-словенскую и восточнославянскую группы: 3 202



лексемы (или 56,21% от всего числа просчитанных позиций первых 12 выпусков ЭССЯ), из них 286 лексем (5,02%) представляют эксклюзивные связи этих групп — из сепаратных связей также максимум. Очень представительны по числу изолекс связи чешско-словацкой группы с сербохорватско-словенской и восточнославянской. Они характеризуются цифрами соответственно 50,52% и 51,66% от общего объема праславянского словаря, т. е. каждая из этих пар идиомов фигурирует более чем в половине всех позиций обечитанного лексикона.

Наименьшие абсолютные цифры характеризуют лексические связи полабского языка с другими идиомами: число полабско-«иноидиомных» параллелей ни в одном случае не превышает 6,14% от объема праславянского словаря.

Однако эти данные никоим образом не отражают уровня генетической близости между отдельными языковыми группами. Абсолютное число лексических связей праязыкового характера между родственными идиомами связано с объемом праязыковой лексики, сохранившейся в каждом идиоме: чем пространнее праславянский словник какой-либо группы современных славянских языков, тем выше абсолютные показатели ее лексических корреспондентов с другими группами. Обращение к цифрам, полученным с помощью формулы генетической близости, рисует совершенно иную картину.

Из всех парных связей, которые устанавливаются между семью группами славянских языков с помощью предложенного нами метода, наиболее мощной оказывается статистическая связь между лужицкой и полабской группами (индекс генетической близости 0,1588). Следующая по силе связь — между лужицкой и «собственно» лехитской группами (0,1431). К сильным связям следует отнести родственные узы между двумя южнославянскими (болгарско-македонской и сербохорватско-словенской) и между чешско-словацкой и лехитской группами.

Самые низкие индексы родства отмечаются в парных связях полабского с восточнославянской (0,0798) и сербохорватско-словенской (0,0847) группами, чуть сильнее его родственные отношения с чешско-словацкой и болгарско-македонской группами. Статистические показатели родства

всех остальных пар идиомов составляют ряд средних по значению индексов в промежутке от 0,1041 до 0,1244.

Заслуживают внимания некоторые обстоятельства.

Выделение полабского языка в данном исследовании в самостоятельную группу дало возможность оценить его исконные лексические связи с другими группами славянских языков специально. Выясняется, что по индексу генетической близости, вычисляемому на базе лексикостатистики, более тесные узы связывают полабский не с лехитской (польско-кашубско-словинской) группой, как можно было априорно ожидать, а с лужицкой. Связи полабского с «собственно» лехитской группой по своей силе относятся к средним и являются даже несколько более низкими, чем статистические связи чешско-словацкой группы с лужицкой. Однако поскольку сохранность праславянской лексики в полабском языке чрезвычайно низка по сравнению с другими послепраславянскими идиомами, статистические суждения о генетических отношениях полабского не столь надежны, как в случаях с иными славянскими языками. Уточнить их может увеличение материала с дальнейшим изданием ЭСЯ.

Низкий индекс родства полабской и чешско-словацкой групп (0,0920) подтверждает сомнения в генетическом единстве западнославянских языков. Намного существеннее оказываются лексические связи чешско-словацкой группы с сербохорватско-словенской, которые подкрепляются и рядом общих фонетических явлений (южнославянско-чешско-словацкое изменение сочетания *tort*, южнославянско-(средне)словацкое изменение сочетания *ort*-, словенско-словацкая изоглосса утраты результатов второй палатализации в именном словоизменении...).

Опираясь на тезис О. Н. Трубачева о вторичной окцидентализации серболужицких языков [23—25], можно было ожидать сравнительно высоких показателей генетической близости лужицкой группы с южнославянскими, тем более что мнение О. Н. Трубачева основывается именно на лексических данных. Индексы родства лужицкой группы с болгарско-македонской и сербохорватско-словенской несколько выше, чем показатель близости с восточнославянской группой, однако этого, на наш взгляд, недостаточно, чтобы тезис О. Н. Трубачева получил весомое подтверждение. Нельзя, впрочем, считать, что он нашими данными опровергается. Упрочить или ослабить его могут лексикостатистические наблюдения, аналогичные настоящему, но осуществленные с более дробным членением привлеченных к исследованию идиомов — не групп, а отдельных славянских языков. От таких исследований можно ждать и уточнения суждений, например, о большей приближенности нижнелужицкого к польскому в противовес «чешской» ориентации верхнелужицкого ([26]; ср. [27—29]). Нужно лишь иметь в виду, что подобные штудии опираются на недифференцированное представление ранне- и позднепраславянских лексических и словообразовательных явлений. На значительное улучшение дел в изучении предполагаемых взаимных «переориентаций» диалектов праславянского языка в ходе его развития можно надеяться только тогда, когда мы будем увереннее разграничивать раннее и позднее в самой праславянской лексике.

Но и при существующем положении вещей обращение к полным праславянским словарям отдельных языков-потомков может конкретизировать наши понятия об отношениях взаимного родства внутри славянской языковой семьи. Немаловажную роль здесь должен сыграть строгий количественный анализ имеющегося лексического материала с помощью современных технических средств.

1. *Сводеш М.* Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
2. *Сводеш М.* К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом датировании // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
3. *Gudshinsky S.* The ABC's of lexicostatistics (glottochronology) // Word. 1956. V. 12.
4. *Sejka M., Lamprecht A.* K otázce vzniku a diferenciaci slovanských jazyků // Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university. 1963. A 11. S. 17 (отд. отт.).
5. *Арапов М. В., Херу М. М.* Математические методы в исторической лингвистике. М., 1974.
6. *Климов Г. А.* Об ареальной конфигурации протоиндоевропейского в свете данных картвельских языков // ВДИ. 1986. № 3. С. 151.
7. *Шайкевич А. Я.* Гипотезы о естественных классах и возможность количественной таксономии в лингвистике // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
8. *Buck C. D.* Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.
9. *Филин Ф. П.* Историческая лексикология русского языка: Проспект. М., 1984. С. 25.
10. *Lehr-Splawiński T., Kuraskiewicz W., Stawski F.* Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich. Warszawa, 1954. S. 24.
11. *Лер-Сплавинский Т.* Польский язык. М., 1954. С. 64.
12. *Ondruš S.* Praslovanský základ slovenčiny v slovnej zásobe. // Stud. Acad. Slov., 1976. 5. S. 299—300.
13. Историческая типология славянских языков. Фонетика, словообразование, лексика и фразеология. Киев, 1986. С. 200.
14. *Лернер К. Б.* Статистические методы в историческом языкознании: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1973. С. 12.
15. *Furda A.* Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.
16. *Birnbaum H.* The dialects of Common Slavic // Ancient Indo-European dialects. Berkeley — Los Angeles, 1966.
17. [Иванов В. В.] Диалектные членения славянской языковой общности и единство древнего славянского языкового мира (в связи с проблемой этнического самосознания) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
18. *Толстой Н. И.* Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д. П. Джуровича. 1913 г. // Сборник Матпце српске за филологију и лингвистику. 1984—1985. XXVII—XXVIII.
19. *Селищев А. М.* Славянское языкознание. Т. I. Западнославянские языки. М., 1941.
20. [Трубачев О. Н.] Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963.
21. *Булахов М. Г., Жовтобрюх М. А., Кодузов В. И.* Восточнославянские языки. М., 1987.
22. *Сунрун А. Е.* Лексическая типология славянских языков. Минск, 1983.
23. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 391—392.
24. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря (проблемы и результаты) // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.): Докл. советской делегации. М., 1968. С. 373.
25. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 5. С. 6.
26. *Mucke E.* Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891. S. 3.
27. *Шустер-Шевц Х.* Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков // ВЯ. 1976. № 6.
28. *Taszycki W.* Stanowisko języka łużyckiego // Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski. II. Kraków, 1928.
29. *Stieber Z.* Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich. Kraków, 1934.

ЗОЛотова Г. А.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ

Коммуникативная лингвистика, ставя в центр внимания говорящую личность, ориентируется на изучение речевого акта в совокупности его языковых, прагматических, психологических, социальных параметров. Это область взаимодействия смежных наук, обогащающих друг друга точками зрения, методами, результатами.

Развитие названного направления исследований приобретает все более экстенсивный характер. При этом, отходя от речевого акта, часто уходят от него, не извлекая ту собственно лингвистическую информацию, которая в нем заключена. Возникает вопрос, подготовлена ли лингвистика к обсуждению общих, смежных задач. На этот вопрос пока трудно ответить позитивно, поскольку лингвистическая наука, особенно в синтаксическом ее разделе, ведающем речевым актом, не всегда учитывает заложенную в каждом типе предложения его предназначенность к определенным видам коммуникативного действия. В этом смысле синтаксис как область лингвистического знания представляет пока ситуацию неиспользованных возможностей.

Плодотворное развитие коммуникативной лингвистики предполагает разработанность ее синтаксических оснований. Можно думать, что синтаксическая наука, накопив на витках разных научных увлечений и направлений множество сведений о структурных, семантических, прагматических, функциональных свойствах своих объектов, вступает в период, когда необходимы синтез, интеграция этих сведений. Устремленность в план коммуникативно-речевых интересов, стимулируя эту потребность, должна способствовать систематизации синтаксических знаний, критической оценке накопленных сведений, преодолению инерционности мышления.

В статье предлагается способ представления типов русских предложений в единстве их структурно-семантических и функционально-коммуникативных характеристик. Изложение этого способа предваряется некоторым обоснованием подхода к проблеме.

Возможности упорядочения реального многообразия синтаксических моделей зависят от того, что мы видим в составе предложения, какую информацию вызволяем из языковых данных. Концептуальная ценность этой информации определяется тем, насколько она соответствует сути языкового построения, его коммуникативно-смысловому назначению.

Можно предположить, что изначально грамматические описания создавались на основе здравого смысла и следовали именно этим принципам. Этот здравый смысл получил выражение в части грамматических классификаций и в методике школьных вопросов. *Ученик пишет* — «Что он делает?»; *Старик скуп* — «Каков он?». Подобные вопросы легко переформулируются на языке современной лингвистики в типовое, или структур-

но-семантическое, значение предложений как сообщений соответственно о действии лица или свойстве предмета (лица).

Однако следующий шаг грамматического абстрагирования допустил механическое распространение полученного знания на иные модели по их внешнему подобию. Когда грамматики призывают искать ответ на вопрос «Что делает предмет?» в предложениях *Лес шумит*, *Закат розовеет* или находить адъективное сказуемое с дополнением в предложении *Старик скуп на похвалы*, происходит отрыв грамматической интерпретации от здравого смысла: лес и закат по природе своей не способны что-либо дел а т ь, и в предложениях сообщается не о действиях предметов, а о состоянии или изменении качества; предикативная же характеристика старика заключается теперь уже не в качестве *быть скупым*, но в расположенности/нерасположенности к действию *хвалить* (ср.: *Старик не любит хвалить*, *редко хвалит*, *не склонен хвалить*), а прилагательное *скуп* выступает здесь как неполнозначное, модальное слово. Привычное почтение к лучше изученным морфологическим показателям мешало увидеть то взаимодействие морфологии и семантики, которое и порождает собственно синтаксические явления.

Именно от этого пункта движения лингвистической мысли грамматисты оказывались перед выбором дальнейшего пути. Значительная часть их принимала сложившиеся каноны как должное. Для оправдания натяжек была найдена теоретическая база в концепции автономности синтаксического и семантического «уровней».

Другая часть грамматистов в разрыве между грамматической интерпретацией и здравым смыслом услышала тревожный сигнал несоответствия устоявшихся грамматических представлений реальному устройству языка.

Теоретически положение усугублялось тем, что сторонники традиционного синтаксического канона искали опору в идее С. Карцевского об асимметрическом дуализме языкового знака. Расхожее толкование этого плодотворного тезиса становилось как бы равнозначным утверждению принципа несовпадения формы и содержания в предложении. Между тем мысль С. Карцевского, как представляется, имеет в виду прежде всего зону симметрии, совпадения основного значения и средства его выражения, оставляя при этом обозначенные в схеме стрелками возможности вариативного выражения того же значения другими средствами или использования тех же средств в других целях. С. Карцевский разграничивает «адекватную» (обычную) и случайную, транспонированную ценность знака, говорит об одновременной неизменности и подвижности лингвистического знака.

Асимметрия формы и содержания означает возможность выбора средств выражения из ряда существующих в данном языке, но феномен языка в том и заключается, что результатом выбора является (или должно быть) максимальное соответствие содержания и предназначенной для него формы, иначе говорящим не удалось бы достичь своих коммуникативных целей. В зонах совпадения, симметрии — опорные пункты системы и гарантия ее коммуникативной реализации, на периферии системы — асимметричные проявления, создающие дополнительные выразительные возможности системы и условия ее эволюции.

Приведенные выше примеры показывают, что несовершенство привычных объяснений, разрыв между «формой», понимаемой только морфологически, и содержанием вытекает из того, что не принимается в расчет реальная природа вещей, получающая отображение в категориальной дифференциации грамматико-семантических подклассов частей речи. Сдело-

вательно, интеграция аспектов наблюдения должна сопровождаться еще и необходимой дифференциацией. По пути преодоления этих несовершенств и направляются дальнейшие поиски.

Так складываются предпосылки анализа предложения, обобщающим результатам которого предстоит вылиться в систематическую классификацию синтаксических моделей.

Предпосылки эти следующие:

1) Должен быть установлен уровень абстракции, на котором языковые элементы становятся синтаксически релевантными.

Знаменитая экспериментальная фраза Л. В. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка», многократно толковавшаяся лингвистами, ценна и тем, что дает четкое представление о границе между лексикой и синтаксисом. Грамматичность этого предложения позволяет понять, что речь идет о действиях одного живого существа по отношению к другому и его детенышу. Оставшееся неизвестным относится к лексике, к индивидуальным лексическим значениям. Известное содержит достаточную информацию о категориально-семантическом значении компонентов, организующих синтаксическую конструкцию. Это и есть у р о в е н ь синтаксической релевантности.

2) На этом уровне и выделяются компоненты предложения как части целого, являющиеся одновременно носителями структурных и семантических значений.

Согласно набору своих докоммуникативных потенций каждая элементарная единица русского синтаксиса — синтаксема — реализует одну из своих возможностей в данной модели, выступая в качестве либо одного из двух организаторов предложения — преддицируемого или преддицирующего компонентов, либо в качестве распространителя. Синтаксемы, не имеющие других возможностей, кроме присловной позиции, участвуют в предложении в качестве внутрикомпонентных распространителей.

3) Реализуя речемыслительный акт сопряжения имени предмета и имени признака, предложение принципиально двусоставно.

В традиционную рубрику односоставных неправомерно зачислялись предложения:

а) с преддицируемым компонентом в неоминативной форме, обозначающим лицо-носителя состояния (*Ему нездоровится, Всем весело, Больного знобит, У него кашель*);

б) с преддицируемым компонентом, обозначающим неоминативной формой место-среду, характеризуемую состоянием (*В доме пусто, За окном светает, На дворе мороз*);

в) неполные речевые реализации моделей а) и б) с опущенным в силу избыточности или названным в контексте преддицируемым (*Грустно. Светает. Мороз*);

г) регулярные структурно-семантические модификации ряда моделей, о которых речь будет ниже.

В сопоставительном плане в связи с этим можно отметить не противопоставленность русских односоставных моделей двусоставным моделям других языков, как это обычно констатировалось, а две особенности русского синтаксиса:

(1) Больше, по сравнению с прежними представлениями, многообразие семантико-грамматических типов субъектно-предикатных отношений, выраженных в неоминативных моделях предложений;

(2) Меньшую конструктивную жесткость языковых моделей в речевых реализациях.

Если предложение рассматривается как основная коммуникативная единица речи, т. е. основной выразитель социально обращенной передачи смысла, то грамматике предстоит наблюдать служение смыслу на всех ступенях синтаксической организации — от синтаксемы до текста. Вытекающая из такого понимания задача научного анализа — создать типологию смыслов, выражаемых синтаксическими единицами, либо типологию единиц, средств, выражающих эти смыслы. В том и другом случае это двусторонняя задача, односторонней она быть не может, иначе любая теория утрачивает соотносительность с изучаемым объектом. Точка же отсчета — «от формы к значению» или «от значения к форме» — вопрос не методологии, а методики.

В научном представлении о предложении как об основном объекте синтаксического исследования должны быть систематизированы фокусирующиеся в этом объекте проекции:

а) характера отношений внеязыковой действительности, составляющих типовое содержание предложения; б) характера речемыслительного процесса, разных ступеней сложности; в) типа коммуникативного действия, реализуемого в речевом акте.

Сущностные характеристики предложения, отвечающие на вопросы: что выражает предложение, чем, какими средствами и для чего, для какой коммуникативной цели определяют место того или иного типа предложения в системе синтаксических моделей.

Системность знания — то же, что результативность. Если наши сведения о языке организованы в систему, отражающую действительные принципы языкового устройства, эта система создает пересечения координат, узлы, порождающие новые знания, объясняющие не наблюдаемые непосредственно связи и следствия.

Главный источник информации о типах предложения — в характеристике организующих модель предикативно сопряженных компонентов. Предикативный компонент обнаруживает соответствие между выражаемыми им типами категориальных отношений действительности (действие, состояние, качество, количество) и категориально-грамматическим значением основных частей речи, выражающих эти отношения (глагол, предикативное наречие, прилагательное, числительное).

Субъектный, предикативный компонент, вступая с предикатом во взаимобусловленную по содержанию и по форме связь, избирательно предстает в одной из релевантных разновидностей: предметный субъект/непредметный (отвлеченный, пропозициональный), личный/нелично-предметный. Предложения с личным субъектом (номинативным и ненюминативными) располагают, кроме модальной и временной, также и личной парадигмой, которой нет у предложений с неличным субъектом.

Предложения с пропозициональным субъектом представляют осложненную, полипредикативную конструкцию, со своим набором квалификативных, каузативно-модальных, оценочных предикатов.

Различаются два способа соотносительности внеязыкового категориального значения с языковыми средствами: прямой, или изосемический способ, при котором отображаемое категориальное значение соответствует основному категориальному значению данной части речи, и косвенный, не изосемический способ, оперирующий периферийными значениями части речи при посредстве вспомогательных слов (ср.: *Испытывают новый прибор. Прибор точный и надежный.* — *Проводятся испытания нового прибора. Он отличается точностью и надежностью.*). Соответственно изосемические модели пред-

ложений занимают центральное место в синтаксической системе, неизосемические размещаются на периферии синтаксического поля.

Как по линии предикатного, так и по линии субъектного компонента исходные модели дают ряд структурно-семантических модификаций, связанных с приращением некоторого смысла на определенную величину, но без нарушения тождества модели.

Предикатный компонент способен включать в свой состав вспомогательные слова с фазисным и модальным значением. Способность к фазисным и модальным модификациям не универсальна, она регулируется такими свойствами модели, как динамичность/статичность предикативного признака и личность/неличность субъекта.

Модификации по линии субъекта свойственны преимущественно глагольным моделям с личным субъектом. Опускание, неназванность субъектного компонента приобретает здесь одно из трех семантико-синтаксических значений: определенно-личного, неопределенно-личного и обобщенно-личного субъекта. Те же значения могут быть и выраженными с помощью местоимений (ср.: *Мы копаем — Копаем; Кто-то стучится — Стучатся*). К значимости различий между двумя способами выражения вернемся позже.

Некоторые глагольные предложения с неличным субъектом также склонны к опусканию субъектного компонента, создающему неопределенно-предметное значение, в случаях, когда субъект действия неизвестен или устранен за ненадобностью (ср.: *Во дворе грохнуло — Во дворе что-то грохнуло*) либо когда именование субъекта избыточно (*Погромыливает — о громе, грозе; По крыше дробно застучало — о дожде*).

С точки зрения соотносительности с речемыслительными процессом различаются предложения, сообщающие о явлениях действительности, наблюдаемых, воспринимаемых сенсорно, и предложения, информирующие о результатах анализирующей, обобщающей, оценивающей мыслительной деятельности. Называем первые предложениями апперцептивного ранга, вторые — предложениями информативно-логического ранга. Одни типы предложений способны служить обоим рангам (ср.: *Облокается, Татьяна пишет и Он славно пишет, переводит*), другие закреплены за одним из них (например, модели типа *Пред ним царские палаты, Мороз и солнце — за апперцептивным; модели типа Обычай деспот меж людей, В камни стрелять — стрелы терять, Утро вечера мудренее — за информативно-логическим*).

Изучая предложение как единицу, замкнутую в самой себе, лингвистика лишает себя возможности проверить достоверность и действенность теоретических рубрикаций речевой жизнью предложения. По ходу развития интереса к межпредложенческим связям, к тексту возникает барьер, прерывающий естественное движение научной мысли. Вера в неизбежность традиционной грамматики делает этот барьер неодолимым, разводя проблематику предложения и текста по разным направлениям, как бы не признавая между ними отношений части и целого и их общего коммуникативно-смыслового назначения.

Между тем к совокупностям предложений, к тексту применим тот же исследовательский инструментарий: вопросы *что? как? для чего?*

Выявление типов рематической доминанты — акциональной, статусальной, предметной, качественной и др. — показало, что смысловая общность фрагментов текста получает выражение в сочетаниях предложений однородной структурно-семантической организации и однородного актуаль-

ного членения. Текст как произведение речевой деятельности отбирает соответствующие синтаксические модели для реализации содержания определенного типа.

Заложенная в каждом предложении способность к осуществлению того или иного коммуникативного действия предопределяет участие предложений в разных типах текста, или в типах коммуникативно-речевых регистров. Различаются по коммуникативной функции (для чего?) четыре регистра: 1) репродуктивный, 2) информативный, 3) волюнтивный, 4) реактивный. Единицами текста, реализующими тот или иной регистр, являются фрагменты, или блоки, текста, объемом от одной до группы предикативных единиц.

Повествовательная монологическая речь двумя основными разновидностями представлена в репродуктивном и информативном регистрах. Языковыми средствами разграничения их служат, кроме избирательности синтаксических моделей, признаки референтности/не-референтности имен и видо-временных категорий глагола. Коммуникативное назначение репродуктивной речи — воспроизведение языковыми средствами наблюдаемой говорящим (перцептором) картины его хронотопа; назначение информативной речи — сообщение фактов и мыслей вне отнесенности к перцептору-наблюдателю, вне конкретной длительности, вне определенного хронотопа. Ср. закрепленность за информативным регистром неизосемических конструкций: *Вода отличается прозрачностью, Вода — условие жизни; Текут невинные беседы С прикрасой легкой клеветы* (Пушкин) и двоякую возможность использовать изосемические модели *Вода прозрачна, Друзья беседуют* как в актуально-наблюдаемом смысле, так и в узואально-обобщающем. Так же из приведенных выше пар лично-субъектных моделей для модификаций с опущенным субъектом [*Копает, Стучатся; Гляжу как безумный на черную шаль* (Пушкин)] фиксирована репродуктивная функция, модели же с названным субъектом способны употребляться в том и другом регистре. Аналогична значимость различий и в паре предложений с неопределенно-предметным субъектом (*Загрохотало — Что-то загрохотало*).

Волюнтивные и реактивные речевые действия — разновидности диалогической речи, в тексте связаны с репродуктивным регистром. Закономерности взаимодействия встречаемости регистров проявляются в композиции текстов разных видов общественно-речевой практики. Одни из них формируются средствами единственного регистра, чаще информативного (например, информативная газетная заметка, научная статья, докладная записка), другие — устойчивыми или свободными комбинациями комплексов средств разных регистров (например, в газетном очерке, в радио- и телерепортаже, в эпистолярных жанрах, в языке художественной литературы).

С точки зрения коммуникативно-регистра-вых функций, воплощающихся в тексты различного общественно-речевого назначения, обратимся снова к предложенным принципам классификации синтаксических моделей и устройства синтаксического поля: релевантны ли они, работают ли на более высокой ступени речевой организации?

Наблюдения показали следующее:

- 1) Опозиции репродуктивные/информативные типы речевых действий в основном соответствуют опозиции изосемичных/неизосемичных языковых средств, исходной модели/ее модальных и субъектных модификаций,

апперцептивных моделей/информативно-логических, при этом маркированными следует считать вторые члены пар.

2) Средствами неповествовательных регистров, волюнтивного и реактивного, служат чаще модификации основных моделей, грамматико-семантические, коммуникативно-экспрессивные.

Требуют дальнейшей разработки и детализации вопросы разновидностей основных коммуникативных регистров, вопросы речевых функций разных видов модификаций исходных моделей, но в целом можно полагать, что выдвинутая гипотеза о взаимной обусловленности, о внутрисистемных связях между существенными характеристиками предложения — его семантико-синтаксического устройства и коммуникативной функции — может служить критерием ценности синтаксических квалификаций. Понятие языковой системы, упорядочивающее многосторонние связи синтаксических единиц, в таком смысле не противопоставляется функционально-коммуникативным аспектам лингвистики, а включает как неперемное условие адекватности объекту причинно-следственные зависимости между соответствующими его характеристиками.

Изложенное позволяет думать, что сопоставление русского синтаксиса с синтаксической организацией других языков плодотворнее вести не по рубрикам традиционной грамматики, а по координатам существенных признаков, возможно, пересекающимся в разных языках в разных точках системы и порождающих иные следственные связи между явлениями. По предварительным данным, названная оппозиция частично реализуется и в ряде других славянских языков, соотношение регистров может служить одним из оснований различий в употреблении лично-подлежащной модели и ее бесподлежащей модификации (типа чеш. *Mu čteme — Čteme*, польск. *Ja piszę — Piszę*, болг. *Аз се радвам — Как се радвам*, укр. *Ми читаємо — Читаємо* и под.). Известна, однако, значительно большая, по сравнению с русским, распространенность бесподлежащих членов пары в чешском, польском и других языках, в связи с иной их дистрибуцией. В порядке постановки вопроса можно предположить, что функционально-коммуникативные наблюдения окажутся перспективными для дальнейшей систематизации синтаксических явлений и в отдельно взятых языках и в сопоставительном плане.

ПАНФИЛОВ В. С.

О ВЬЕТНАМСКИХ КЛАССИФИКАТОРАХ

I. История вопроса¹

Многие вьетнамские существительные сочетаются с числительными не непосредственно, но с помощью некоторого промежуточного слова, традиционно именуемого классификатором: *ba¹ cai⁵ ban²* «три стола» (букв.: три-вещь-стол), *hai¹ con¹ meo²* «две кошки» (букв.: два-животное-кошка). В специальной литературе были высказаны следующие точки зрения относительно синтаксических связей между составляющими рассматриваемых конструкций:

1) Господствующим элементом конструкции является существительное (*ban²* «стол», *meo²* «кошка»), занимающее ядерную позицию, тогда как числительное и классификатор — это две подчиненные, приядерные позиции в составе группы существительного [1, с. 103—104]. Данная точка зрения специально не обосновывалась, будучи, видимо, воспринимаема как интуитивно убедительная.

2) Господствующим элементом является классификатор. Это единственная точка зрения, которая обосновывалась грамматически: к классификатору не может быть поставлен вопрос, тогда как существительное, будучи элементом подчиненным, легко заменяется вопросительным словом: *cai⁵ gi²?* «какая вещь?», *con¹ gi²?* «какое животное?» [2, с. 166—168]. Безоговорочное принятие этой точки зрения имело бы, однако, катастрофические последствия для трактовки группы существительного: пришлось бы считать, что в примере *tât⁵ ca⁴ nhu'ng³ cai⁵ con¹ ngu'o'i² bac⁶ ac⁵ ây⁵* «все эти жестокие люди» [1, с. 103] ядерную позицию занимает слово *con¹* «животное», а слово *ngu'o'i²* «человек» если и может образовывать какую-то свою группу, то, по крайней мере, без участия классификатора.

3) Господствующим является сочетание классификатора с существительным, занимающее единую синтаксическую позицию. Эта точка зрения либо выдвигалась чисто гипотетически [3], либо обосновывалась ссылкой на аппозитивную связь [4, с. 47—50]. Последнее положение не представляется возможным принять безоговорочно по следующим причинам. Во-первых, такая трактовка, если только ее сторонники не рассматривают аппозитивную связь как сочинительную, не согласуется с предлагаемым ими определением единой позиции [4, с. 43]. Во-вторых, даже в отношении сочетаний типа *con¹ meo²* «кошка» (животное — кошка), *con¹ trâu¹* «буйвол», *con¹ voi¹* «слон» безусловному признанию аппозитивной семантики препятствует значение единичности, придаваемое существительному классификатором, который на этом основании считается

¹ В статье принята следующая нумерация вьетнамских тонов: 1 — верхний ровный; 2 — верхний нисходящий (∖); 3 — нисходяще-восходящий прерывистый (∩); 4 — вопросительный (?); 5 — восходящий напряженный (∕); 6 — тяжелый (·).

семантически зависимым от существительного [2, с. 167—168]. В-третьих, аппозитивная семантика оказывается непригодной для истолкования случаев типа *con¹ dao¹* «нож (животное — нож?)», *con¹ tau²* «корабль», *con¹ sông¹* «река» и т. д.

Объединение классификатора с существительным в рамках единой ядерной позиции можно считать вариантом, вытекающим из признания господствующей роли классификатора, своего рода «сдвигом вправо», подключением к классификатору существительного. Ничто, однако, не мешает сделать аналогичный «сдвиг влево», подключив к классификатору числительное и объявив это сочетание (счетный комплекс) господствующим. В обоснование зависимого характера существительного можно было бы сослаться на возможность его опущения в ясном контексте: *May⁵ bay¹ lén¹ thǎng⁴. Môt⁶ chiêc⁵. Hai¹ chiêc⁵ (Pham⁶ Trung¹)* «Вертолеты. Один. Два». Как будто и жаль, что на вьетнамском матерпале это никем не было сформулировано: по крайней мере, перебор логически возможных кандидатов на господствующее положение, взятых порознь и в различных комбинациях, был бы более симметричным.

Наконец, для полноты картины, чтобы не обижать последнего из логически возможных кандидатов, можно было бы приписать числительному господствующую роль хотя бы в рамках счетного комплекса, сославшись при этом на возможность опущения классификатора в ясном контексте: *Dam⁴ lâu⁵ đoi¹ thung², đũ¹ a¹ cho¹ Vu¹ o¹ ng⁶ môt⁶ chiêc⁵: — A o¹ can⁶, phai⁴ xuong⁵ sâu¹, anh¹ xach⁵ môt⁶, em¹ xach⁵ môt⁶ (Nguyễn³ Kiên¹)* «Дам взяла пару корзин, протянула Вьонгу одну штуку:— Пруд обмелел, придется спуститься пониже, возьми одну, я тоже возьму одну».

Не менее обескураживающий разноречивой представлен и в оценках категориальной природы классификаторов: служебные слова [1, с. 106], десемантизированные существительные [5, с. 293], аффиксы единичности [6].

Не подлежит сомнению, что круг вопросов, связанных с анализом конструкций типа *hai¹ con¹ meo²* «две кошки», до тех пор будет оставаться лингвистической загадкой, пока не будут должным образом эксплицированы понятия грамматической связи, синтаксической функции и синтаксической позиции. Поскольку исследование вьетнамских классификаторов никогда не снисходило до такой лингвистической прозы, воспользуемся соответствующими положениями, разработанными в нашей статье «Исходные понятия вьетнамского синтаксиса» [7]. Те из них, которые наиболее существенны для настоящего исследования, ниже конкретизируются применительно к его задачам.

II. Постановка вопроса

Очевидно, что перед тем как исследовать характер связи между элементами какой-либо конструкции, следует однозначно установить сам факт наличия этой связи. В соответствии с положениями упомянутой статьи само по себе наличие грамматической связи между двумя (в минимальном варианте) словами доказывается возможностью самостоятельного употребления данного сочетания, в частности — возможностью использовать его в качестве эллиптического варианта более сложной конструкции [7, с. 66]. Пользуясь этим операциональным определением, легко показать, что в конструкции *hai¹ con¹ meo²* «две кошки» имеется грамматическая связь между числительным и классификатором (*hai¹ con¹*), а также между классификатором и существительным (*con¹ meo²*),

тогда как между числительным *hai*¹ «два» и существительным *teo*² «кошка» грамматической связи нет. Из этого следуют два вывода. Во-первых, общепринятое с некоторых пор во вьетнамистике включение числительного более или менее наравне с классификатором в состав группы существительного некорректно по той же самой причине, по которой некорректным было бы включение в группу существительного наречия *rât*⁵ «очень» в примере типа *ao*⁵ *rât*⁵ *dep*⁶ «очень красивое платье»². Во-вторых, конструкции *hai*¹ *con*¹ «два животных» и *con*¹ *teo*² «кошка» должны быть рассмотрены по-отдельности, и именно это составляет одну из предпосылок для выхода из тупика, в который зашло исследование вьетнамских классификаторов.

Когда само по себе наличие грамматической связи между двумя словами надежно установлено, дальнейшее исследование не может обойтись без понятия функции, которую в самом общем виде можно определить как обусловленную грамматической связью зависимость одного слова от другого. Следовательно, некоторая функция может быть приписана данному слову лишь относительно какого-то другого слова, выступающего в качестве подчиняющего или господствующего. Вопрос, таким образом, сводится к критериям разграничения господствующих и подчиненных элементов в составе синтаксических конструкций.

Конструкция из двух слов, между которыми наличествует грамматическая связь, может оцениваться по следующим признакам: а) по внутренней организации сочетания, безотносительно к более сложному целому (внутренняя оценка); б) по отношению к более сложному целому (оценка по признаку репрезентации, или внешняя оценка). Внутренняя оценка позволяет разграничить связи собственно синтаксические, реализующиеся в сочетаниях знаменательных слов друг с другом, и связи квазисинтаксические, возникающие при сочетании знаменательного слова со служебным. Дальнейшая классификация, предусматривающая подразделение внутри каждой из этих связей, достигается путем сопоставления результатов внутренней и внешней оценок.

При внутренней оценке следует прежде всего определить направление формальной зависимости: зависимым формально является элемент, допускающий замену вопросительным словом³. Далее следует выяснить, сопровождается ли формальная зависимость зависимостью семантической, т. е. допускает ли формально зависимый компонент ту или иную интерпретацию в терминах синтаксической семантики; при отрицательном результате необходимо проверить, допускает ли такую интерпретацию элемент сочетания, не заменяемый вопросительным словом.

Рассмотрим под углом зрения внутренней оценки следующие примеры:

- (1) *Sach*⁵ *anh*¹ «твоя книга»
- (2) *Nhu*³ *ng*³ *ngu*³ *o*³ *i*² «люди» (*nhu*³ *ng*³ — показатель мн. ч.)
- (3) *Vo*³ *i*⁵ *anh*¹ «с тобой»

В примере (1) слово *anh*¹ «ты» является формально зависимым (*sach*⁵ *ai*¹? «чья книга?») и, кроме того, приобретает дополнительно к своему лексическому значению еще и другое, обусловленное зависимостью от главного компонента, синтаксическое значение владельца. Таким образом, зависимость слова *anh*¹ «ты» от слова *sach*⁵ «книга» оказывается формально-семантической. Условимся называть такую зависимость синтак-

² Сказанное не относится к случаям, когда существительное сочетается с числительным непосредственно, без помощи классификатора: *hai*¹ *sinh*¹ *viên*¹ «два студента».

³ Случай, когда в рамках сочетания ни один элемент не может быть заменен вопросительным словом, в настоящей работе не рассматриваются.

сической. Тогда в соответствии с приведенным выше определением функции можно сказать, что в примере *sach⁵ anh¹* «твоя книга» слово *anh¹* «ты» выступает в некоторой синтаксической функции относительно слова *sach⁵* «книга».

В примере (2) подчиненным формально также оказывается второй компонент (*nhu'ng³ ai¹?* «кто?»), однако направление семантической зависимости противоположное, ибо первый компонент обозначает некоторый признак (число) второго. В примере (3) имеет место чисто формальная зависимость второго компонента от первого (*vo'i⁵ ai¹?* «с кем?»), однако ни один из компонентов не приобретает какого-либо синтаксического значения относительно другого. В примерах (2) и (3) специфика формально господствующего слова не позволяет ему дополнить формальное подчинение семантическим. Связи, в которых формальная зависимость не подтверждается семантической, поскольку последняя либо имеет противоположную направленность, либо отсутствует вовсе, условимся называть квазисинтаксическими. Будем говорить, что в примерах *nhu'ng³ ngu'o'i²* «люди» и *vo'i⁵ anh¹* «с тобой» слова *ngu'o'i²* «человек» и *anh¹* «ты» выступают в некоторых квазисинтаксических функциях относительно формально господствующих слов.

Оценка по критерию репрезентации предполагает включение конструкции в состав более сложного синтаксического целого, каковым для квазисинтаксической связи является словосочетание, а для связи синтаксической — предложение⁴. Затем следует установить, может ли один из компонентов конструкции быть опущен, и если да, то допускает ли этот компонент интерпретацию в терминах синтаксической семантики.

Если поместить рассмотренную выше конструкцию *sach⁵ anh¹* «твоя книга» в состав предложения, например, *tôi đoc⁶ sach⁵ (anh¹)* «Я читаю (твою) книгу», то окажется, что формально-семантические связи, установленные при внутренней оценке сочетания, подтверждаются и при оценке по признаку репрезентации. Однако возможны и другие типы синтаксических связей, с иным соотношением внутренней и внешней оценок: один из самых ярких примеров — конструкции с классификаторами.

Оценка внутренней организации сочетания *con¹ meo²* «кошка» приводит к признанию формально господствующим первого компонента. Как уже говорилось выше, в рассматриваемых конструкциях только второй элемент допускает замену вопросительным словом. К этому можно добавить еще следующее соображение. Вьетнамские существительные, употребляясь с показателем мн. числа *nhu'ng³*, как правило, должны иметь при себе определение: *nhu'ng³ sinh¹ viêⁿ mo'i⁵* «новые студенты», *nhu'ng³ sinh¹ viêⁿ tich⁵ cu'⁶* «активные студенты» и т. п. Конструкции типа *con¹ meo²* «кошка» могут непосредственно сочетаться с *nhu'ng³*, т. е. второй их элемент грамматически трактуется как определение к первому: *Nhu'ng³ ngô¹ sao¹* «Звезды» (назв. рассказа); *Nhu'ng³ đư¹ a⁵ con¹ va²* *nhu'ng³ ngu'o'i² cha¹* «Дети и отцы» (назв. рассказа). Поставив вопрос, допускает ли формально зависимый элемент интерпретацию в терминах синтаксической семантики, следует ответить на него положительно, имея в виду аппозитивную семантику (точка зрения, приводившаяся выше), с той, однако, существенной оговоркой, что настоящая аппозитивная связь (город-герой, врач-хирург), выявленная в рамках словосочетания, получит подтверждение и по критерию репрезентации, тогда как в рассматриваемых конструкциях дело будет обстоять иначе.

⁴ Определение словосочетания и предложения см. в [7, с. 68—72].

При внешней оценке конструкции *con¹ meo²* «кошка» господствующим оказывается второй элемент, ибо в составе более сложного синтаксического целого первый элемент может быть опущен. Эта формальная зависимость также допускает семантическую интерпретацию: первый элемент придает второму некоторое значение, обычно характеризующееся как единичность (в данной работе мы ограничимся этой характеристикой, не обсуждая вопроса о ее семантической адекватности). Таким образом, признание господствующим первого или второго элемента в конструкциях типа *con¹ meo²* «кошка» — это две точки зрения, не противоречащие друг другу, но отражающие разные стороны одного и того же явления. Перераспределение связей в этих конструкциях при переходе от их внутренней оценки к оценке внешней можно сравнить с такой жизненной ситуацией. Допустим, Иванов является преподавателем факультета, который возглавляется деканом Петровым. Если Иванов является одновременно еще и ректором соответствующего института, то в рамках факультета Иванов подчиняется Петрову, тогда как в рамках «более сложного целого» — института — подчинение прямо противоположное. В такого рода ситуациях ответ на вопрос, кто чей начальник, возможен лишь после предварительного выяснения, в рамках какой единицы производится оценка.

Чтобы сочетания с классификаторами не воспринимались как какая-то синтаксическая экстравагантность, привлечем к рассмотрению еще один тип конструкций, которые понадобятся для дальнейшего анализа: *hai¹ lit⁵* «два литра». В этих конструкциях употребляются существительные, обозначающие единицы измерения (*cân¹* «килограмм», *cây¹ sô⁵* «километр» и т. д.) и, строго говоря, не существующие вне сочетаний с числительными: отсутствие числительного при единице измерения означает, что подразумевается числительное *môt⁶* «один», которое, естественно, всегда может быть восстановлено [2, с. 164]. При внутренней оценке сочетания числительное интерпретируется как формально-семантически зависимый элемент, из чего отнюдь не следует, что в терминах членов предложения оно будет охарактеризовано как определение: рассматриваемые сочетания обладают признаковой (предикатной) семантикой и в составе предложения функционируют только как единое целое, ни один из компонентов которого не может быть опущен, так что формально-семантические связи, выявленные при внутренней оценке, как бы аннулируются с позиций синтаксиса предложения.

Сопоставляя результаты внутренней и внешней оценок, синтаксические связи можно подразделить на подтверждаемые (*sach⁵ anh¹* «твоя книга»), опровергаемые (*con¹ meo²* «кошка») и аннулируемые (*hai¹ lit⁵* «два литра»). Если условиться, что стрелка над строкой фиксирует направление формальной зависимости, стрелка под строкой — семантической зависимости, а отсутствием стрелки обозначается отрицательный признак связи по соответствующему критерию, то разновидности синтаксической связи будут иметь схематическое выражение, представленное на рис. 1.

Для лучшего уяснения природы классификаторов необходимо хотя бы кратко рассмотреть, как ведут себя в составе более сложного целого квазисинтаксические сочетания. Конструкция *nhu'ng³ ngu'o'i²* «люди» в составе словосочетания репрезентируется вторым компонентом: *găp⁶ (nhu'ng³) ngu'o'i² ây⁵* «встретить этих людей». В подобных конструкциях направление формальной зависимости, определяемое при внутренней оценке, не совпадает с направлением формальной зависимости по критерию репрезентации.

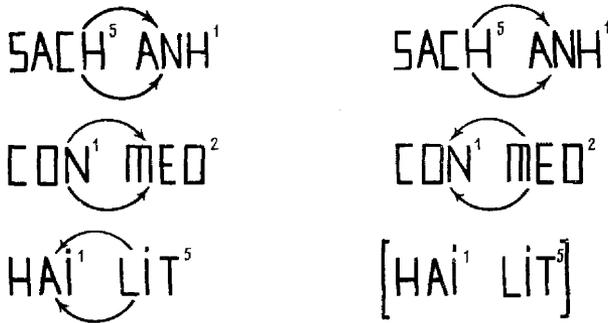


Рис. 1

Сочетания типа *vo'i⁵ anh¹* «с тобой» входят в состав более сложных образований как единое целое, ни один из компонентов которого не может быть опущен: *đi¹ vo'i⁵ anh¹* «идти с тобой». Здесь оценка по критерию репрезентации дает отрицательный результат. Возможны, однако, квазисинтаксические сочетания, например, *ca⁴ tôi¹* «даже я», в которых при внутренней оценке обнаруживается чисто формальное подчинение второго компонента первому (*ca⁴ ai¹?* «даже кто?»), а при внешней оценке направление зависимости меняется на противоположное, продолжая оставаться чисто формальным: (*ca⁴ tôi¹ cung³ không¹ hiêu⁴* «(даже) я не понимаю»).

Сопоставление результатов двух оценок позволяет подразделить квазисинтаксические связи на корректируемые (*nhu'ng³ ngu'o'i²* «люди»), опровергаемые (*ca⁴ tôi¹* «даже я») и аннулируемые (*vo'i⁵ anh¹* «с тобой»), что схематически представлено на рис. 2.

Внутренняя оценка

Внешняя оценка

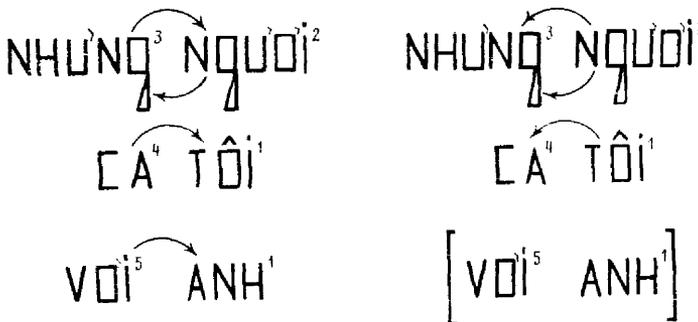


Рис. 2

III. *Con¹ meo²* «Кошка»

Теперь можно перейти к собственно интерпретации материала, начав с вопросов, касающихся конструкций типа *con¹ meo²* «кошка».

Первый вопрос: что такое классификатор? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего договориться о четком терминопотреблении, ибо когда утверждают, что классификатор есть, к примеру, служебное сло-

во [1, с. 106], то термином «классификатор» обозначается некоторая грамматическая группировка слов — часть речи, когда же пишут, что выявить классификатор можно, только зная употребление слова [8, с. 51], то термин «классификатор» совершенно явно сбивается на обозначение какой-то синтаксической функции. Поскольку в исследованиях по языкам Юго-Восточной Азии тенденция понимать классификатор как грамматическую группировку слов является все же преобладающей, целесообразно, сохраняя установившееся понимание термина, принять вместе с тем специальное наименование, например, «счетное слово», для синтаксической функции первого элемента в конструкциях типа *con¹ meo²* «кошка» (подобная терминология представлена, в частности, в [9]). В сочетании из двух существительных первое выступает в функции счетного слова тогда, когда направления формальной и семантической зависимости, установленные при внутренней оценке сочетания, меняются на обратные при оценке по признаку репрезентации.

Подобно любой другой синтаксической функции, функция счетного слова может реализовываться и в эллиптической конструкции, как в уже приводившемся примере *May⁵ bay¹ lén¹ thăng¹. Môt⁶ chiêc⁵. Hai¹ chiêc⁵* (Pham⁶ Trung¹) «Вертолеты. Один. Два».

Функция счетного слова возможна для многих полнозначных существительных, обладающих полным набором именных синтаксических признаков (*cây¹* «дерево», *qua⁴* «фрукт», *ông¹* «господин», *chi⁶* «девушка»). Вместе с тем она является единственно возможной для некоторых существительных (*cái⁵* «вещь», *con¹* «животное», *chiêc⁵* «штука», *quyên⁴* «сверток»), которые в силу этого обстоятельства выступают как семантически и синтаксически ущербные. Подобные существительные, выделяемые в особый грамматический подкласс по признаку их однофункциональности, мы и условимся называть классификаторами. В ином терминологическом оформлении такое же понимание вопроса представлено в [5, с. 123].

Любопытно отметить, что интуитивный переход от понимания классификатора как функции к его пониманию как группировки (однофункциональных) слов внешне проявляется в неуклонном сокращении списка классификаторов: более ста слов в списке Эмено [10], вдвое меньше у Нгуен Ким Тхана [11, с. 198—199], семь слов в списке В. А. Строганова [12], четыре (*cái⁵* «вещь», *con¹* «животное», *đu¹ a⁵* «человек», *thăng²* «тип») у Нгуен Тай Кана [5, с. 123]. Однако для слов *đu¹ a⁵* «человек» и *thăng²* «тип» функция счетного слова не является единственно возможной: ср. два примера, в первом из которых речь идет от лица героя и единственным распространителем сочетания *hai¹ đu¹ a⁵* «два человека» могло бы быть только местоимение 1-го лица мн. числа (которое и добавлено в русском переводе), а во втором контекст вообще не содержит данных для распространения сочетания *hai¹ thăng²* «два типа»: *Lai⁶ cò⁵ môt⁶ đê^m trắng¹, tru¹ o' c⁵ ngay² tô¹ đê¹ bô⁶ đô⁶, hai¹ đu¹ a⁵ đâ³ ngô² vơ¹ i⁵ nhau¹ môt⁶ lai⁵ trêⁿ đê¹* (Văn¹ Phan¹) «И еще была лунная ночь перед самым моим уходом в армию, и мы вдвоем сидели на дамбе»; *Nhu¹ vậ⁶ cò⁵ thê⁴ cò⁵ hai¹ thăng², môt⁶ thăng² ô^m qua⁴ đân⁶, môt⁶ thăng² mang¹ theo¹ hon² đâ⁵ vơ¹ i⁵ cai⁵ gi² đơ⁵ đê⁴ đao²* (Bui² Binh² Thi¹). «Наверное, орудовали два типа, один нес мину, другой — камень и что-то вроде лопаты».

Второй вопрос: являются ли классификаторы служебными словами? В общем, конечно, нет. Служебные слова, по крайней мере применительно к задачам настоящего исследования, определяются очень просто: это формально господствующие элементы при внутренней оценке квазисинтаксических сочетаний. Между тем классификаторы при всей их семантической и формальной ущербности, выступая как компоненты сочетаний син-

таксических, остаются тем самым доступны для полноценных синтаксических связей. Возможно, конечно, и дальнейшая грамматикализация, но она уже будет связана с утратой соответствующим элементом статуса классификатора. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Прежде всего, можно констатировать некоторое ослабление исходного лексического значения у полнозначного существительного, выступающего в функции счетного слова. Именно это обстоятельство лежит в основе предлагаемого Нгуен Тай Каном приема для разграничения атрибутивных сочетаний и сочетаний «счетное слово + существительное»⁵: атрибутивные сочетания могут быть употреблены после конструкций типа *môt⁶ loai⁶* «один вид», *môt⁶ hang⁶* «один сорт», *môt⁶ thu⁵* «одна разновидность», сочетания «счетное слово + существительное» — нет, поскольку первый их компонент не обозначает конкретного предмета. Ср.: *môt⁶ loai⁶ la⁵ chuôit⁵* «один вид банановых листьев», *môt⁶ loai⁶ hôt⁶ du¹ a¹* «один вид зерен арбуза», *môt⁶ loai⁶ hoa¹ sen¹* «один вид цветов лотоса» при невозможности подобной подстановки в сочетаниях *la⁵ thu¹* «письмо», *hôt⁶ cat⁵* «песчинка», *qua⁴ du¹ a¹* «арбуз», *cây¹ cam¹* «апельсин» [8, с. 50—51].

Ослабление лексического значения при употреблении существительного в одной из возможных для него синтаксических функций, в частности, в функции счетного слова (*la⁵ thu¹* «письмо», *cây¹ cam¹* «апельсин») — первый шаг на пути грамматикализации, сам по себе еще не имеющий никаких последствий для грамматического статуса существительного. Второй шаг — сопутствующее ослаблению лексического значения ограничение синтаксических функций, в крайнем варианте — вплоть до одной (*cai⁵ ban²* «стол», *con¹ meo²* «кошка»), что уже дает основания для включения соответствующих существительных в особую грамматическую группировку. Третий, последний шаг — сопутствующее однофункциональности полное семантическое рассогласование (имея в виду исходную знаменательную семантику) грамматически связанных элементов, как в примерах типа *cai⁵ kiên⁵* «муравей» (вещь — муравей), *cai⁵ bo⁶* «насекомое», *con¹ dao¹* «нож» (животное — нож), *con¹ tau²* «корабль». Подобные конструкции семантически не могут быть истолкованы как аппозитивные, а в плане формальном не допускают ни эллиптического сокращения до первого элемента [11, с. 192], ни замены второго элемента вопросительным словом. Сам словесный статус первого элемента вызывает сомнения. Во всяком случае, если на вьетнамском материале ставить вопрос об аффиксальном характере элементов, обычно именуемых классификаторами [6], то только в узком диапазоне примеров последнего типа.

Третий вопрос: занимает ли сочетание существительного со счетным словом, в том числе и выраженным классификатором, некую единую позицию? Определения позиции в данной работе не приводилось, однако его нетрудно вывести из теоретических посылок, изложенных в предыдущем разделе. Оставляя в стороне ориентированное на синтагматический аспект словоупотребление, когда этим термином обозначается место элемента в речевой цепи (например, препозиция или постпозиция дополнения относительно сказуемого), позицию в парадигматическом плане можно определить как узел иерархически организованного целого, связанный с другим узлом отношением подчинения. Следовательно, синтаксическая позиция — это узел синтаксической связи. Так, в примере *đi¹ xe¹* «ехать машиной» заполнены две синтаксические позиции, в примере *se³ đĩ¹ bãng² xe¹* «поеду на машине» — то же самое.

⁵ Точка зрения Нгуен Тай Кана излагается в нашей терминологии.

В интересующем нас материале единая синтаксическая позиция представлена только примерами с максимальной грамматикализацией первого элемента (*cai⁵ kiên⁵* «муравей», *con¹ tau²* «корабль»), тогда как существительное и счетное слово (в том числе и выраженное классификатором), будучи узлами синтаксической связи, занимают самостоятельные синтаксические позиции. Такой же должна быть их интерпретация и в рамках группы существительного, коль скоро последняя понимается как некоторый блок связей, рассматриваемых безотносительно к предложению [1, с. 100—101]. Только в плане синтаксиса предложения, когда понятие позиции фактически совпадает с понятием члена предложения⁶, счетное слово и существительное, действительно, занимают общую позицию, разделяя ее при этом со всеми остальными членами группы существительного.

Мы оставляем вне рассмотрения семантику счетных слов, поскольку этот вопрос может быть должным образом поставлен только в широком контексте категории числа и установки, что увело бы исследование слишком далеко за рамки намеченной темы. Сейчас гораздо важнее еще раз подчеркнуть другое. Возможны случаи, когда несовместимость различных точек зрения по какому-либо вопросу оказывается мнимой, обусловленной исключительно несовершенством использованного при их разработке понятийного аппарата. Мы имели возможность убедиться в том, что благодаря уточнению некоторых синтаксических понятий едва ли не все суждения, высказанные о вьетнамских классификаторах, оказались совместимыми в рамках более широкого подхода, очерчивающего сферу приложимости каждого из них,— ситуация, которая до известных пределов может рассматриваться как лингвистический аналог поучительной истории о Ходже Насреддине, когда одновременно правы оказались истец и ответчик, а также жена ходжи, усомнившаяся в их правоте.

IV. *Hai¹ con¹* «Два животных»

Конструкция *hai¹ con¹* «два животных» из сочетания *hai¹ con¹ meo²* «две кошки» представляет собой соединение числительного с существительным, и здесь мы также сталкиваемся с очень сложным типом связи, для лучшего уяснения которого целесообразно сопоставить примеры: *hai¹ lit⁵* «два литра», *hai¹ nguoi¹ i²* «два человека», *hai¹ ngay²* «два дня», *hai¹ côc⁵* «два стакана». Все эти примеры единообразны во внутренней оценке, ибо в каждом из них числительное обнаруживает формально-семантическую зависимость от существительного. С учетом же данных внешней оценки следует выделить особо конструкции типа *hai¹ lit⁵* «два литра», реализующие только аннулируемые синтаксические связи.

Обозначая количественный признак, конструкции типа *hai¹ lit⁵* «два литра» имеют почти всегда предикатное прочтение. Возможность их предметного прочтения есть результат своего рода семантического эллипсиса: *Ma² phai¹ luôn¹ nho¹'⁵ cho¹ ky³ năm¹ hec⁵ ta¹ ây⁵ goi⁶ la² canh⁵ đông² cua¹ dân¹* (Bui² Binh² Thi¹) «И надо все время крепко помнить, что эти пять гектаров называются крестьянским полем» (речь идет, конечно, не о гектарах как таковых, а о каком-то конкретном пространстве, поле, равном указанной площади).

Выступая как единый, синтаксически неделимый член предложения, конструкции типа *hai¹ lit⁵* «два литра» обычно употребляются в сочетании с каким-либо словом, количественную характеристику которого они пере-

⁶ Определение члена предложения см. в [7, с. 72].

дают, в связи с чем их приходится рассматривать не изолированно, но в некотором распространении. Для целей нашего исследования наибольший интерес представляют сочетания типа *hai¹ lit⁵ ru'o'u⁶* «два литра вина», внешне напоминающие конструкции *hai¹ con¹ meo²* «две кошки».

В конструкциях типа *hai¹ lit⁵ ru'o'u⁶* «два литра вина» замену вопросительным словом допускает как сочетание *hai¹ lit⁵* «два литра» (*ba⁰1 nhi^u1 ru'o'u⁶?* «сколько вина?»), так и слово *ru'o'u⁶* «вино» (*hai¹ lit⁵ gi²?* «два литра чего?»). Оставаясь в рамках конструкции как таковой, господствующую роль можно приписать любой из составляющих или, что то же самое, господствующий элемент при внутренней оценке конструкции вообще не может быть установлен. Что же касается репрезентации в составе предложения, то по этому признаку господствующей может оказаться любая из двух составляющих конструкции: *Chai¹ nay² chu'a⁵ du'o'u⁶ hai¹ lit⁵ (ru'o'u⁶)* «Эта бутылка вмещает два литра (вина)»; *Chung⁵ toi¹ uong⁵ (hai¹ lit⁵) ru'o'u⁶* «Мы выпили (два литра) вина». Выказывание *chai¹ nay² chu'a⁵ du'o'u⁶ hai¹ lit⁵* «Эта бутылка может вместить вино» едва ли в полной мере содержательно, а высказывание *chung⁵ toi¹ uong⁵ hai¹ lit⁵* «Мы выпили два литра» — несомненный эллипсис. Ср. также два следующих примера: *ong¹ phai¹ mat⁵ hai¹ dong² ru'o'u⁶ roi², con² lai⁶ ba¹ dong², ong¹ mua¹ cai⁵ gi²?* (Hu'u³ Mai¹) «Вы должны истратить два донга на вино, а на оставшиеся три что намерены купить?»; *toi¹ se³ mua¹ dong² ru'o'u⁶ ru'o'u⁶* (Hu'u³ Mai¹) «Я куплю на полтора донга вина».

Конструкции *hai¹ ngu'o'i²* «два человека», *hai¹ ngay²* «два дня», *hai¹ coc⁵* «два стакана» в целом характеризуются тем, что могут реализовываться как подтверждаемые, так и аннулируемые синтаксические связи. Первые в семантическом плане соответствуют предметному прочтению сочетания; только в этом случае числительное является определением к существительному и, как всякое определение, может быть опущено: *trong¹ phong² co⁵ hai¹ ngu'o'i²* «В комнате находятся два человека» → *trong¹ phong² co⁵ ngu'o'i²* «В комнате находятся люди». Аннулируемые синтаксические связи соответствуют предикатной семантике сочетания, которое в этом случае выступает как единый член предложения (одна позиция в синтаксической иерархии предложения, совершенно как в случае *hai¹ lit⁵* «два литра»).

В сочетаниях типа *hai¹ ngu'o'i²* «два человека» употребляются существительные, обозначающие живые существа и предметы (*ngu'o'i²* «человек», *chi⁶* «девushка», *cay¹* «дерево», *qua⁴* «фрукт» *con¹* «животное» и т. д.). Если существительное выступает в функции счетного слова, то числительное является при нем факультативным количественным определением, а счетный комплекс в целом имеет предметное прочтение: *toi¹ nuoi¹ con¹ meo²* «Я держу кошку» → *toi¹ nuoi¹ hai¹ con¹ meo²* «Я держу двух кошек». Один из характерных случаев предикатного прочтения рассматриваемых сочетаний — их употребление в функции определения к существительному: *dan² trau¹ hai¹ m'i¹ con¹* «стадо буйволов в двадцать голов»; *doi⁶ du¹ kich⁵ mot⁶ tram¹ ngu'o'i²* «партизанский отряд в сто человек»; *lo'p hoc⁶ mu'o'i² sinh¹ vien¹* «учебная группа из десяти студентов». Применительно к трем последним примерам нет никаких оснований утверждать, что *con¹* «животное», *ngu'o'i²* «человек», *sinh¹ vien¹* «студент» являются в их составе счетным словом.

В конструкциях типа *hai¹ ngay²* «два дня» употребляются существительные, обозначающие отрезки времени (*gio²* «час», *ngay²* «день», *thang⁵* «месяц», *nam¹* «год» и т. д.). Сочетания данного типа одинаково легко допускают как предметное, так и предикатное прочтение: *toi¹ da³ nghi⁴ hai¹ ngay², va² hai¹ ngay² ay⁵ la² nhu'ng³ ngay² su'o'ng⁵ nhai⁵ trong¹ do'i² toi¹* «Я отдыхал два дня, и эти два дня были самыми счастливыми в моей жизни». Возмож-

ность двойного прочтения в ряде случаев не снимается даже грамматическим окружением: *trai⁴ qua¹ bôn⁵ nâm¹ chiên⁵ trank¹* «1) пройти через четыре года (войны); 2) пройти через (четырёхлетнюю) войну».

Существительные, входящие в состав конструкций типа *hai¹ côc⁵* «два стакана», обозначают предметы, которые могут использоваться как вместе: *côc⁵* «стакан», *bat⁵* «чашка», *chum¹* «кувшин», *chai¹* «бутылка» и др. Для этих конструкций также одинаково характерно как предметное, так и предикатное прочтение, с той лишь оговоркой, что предметное прочтение может быть подтверждено возможностью употребления соответствующего счетного слова. Ср.: 1) *tôt¹ uông⁵ (hai¹ côc⁵) nu' o' c⁵* «Я выпил (два стакана) воды»; 2) *Trên¹ bàn² có⁵ đât⁶ hai¹ côc⁵ (nu' o' c⁵)* «На столе стоят два стакана (воды)», при возможности распространения — *Trên¹ bàn² có⁵ đât⁶ hai¹ chiêc⁵ côc⁵ đâu² nu' o' c⁵* «На столе стоят два стакана (букв: два — предмет — стакан), наполненные водой».

Из изложенного следует, что когда числительно-именное сочетание вступает в связь с каким-либо другим словом, в частности, существительным, вопрос о господствующем элементе получившейся конструкции принципиально не может быть решен без выхода за ее пределы. В этом смысле показательны колебания Нгуен Тай Кана, пытающегося решить данный вопрос в рамках группы существительного и рассматривающего конструкцию *môt⁶ thung⁵ thit⁶ lo' n⁶* «одна корзина свинины» как группу существительного *thung⁵* «корзина» [5, с. 118], а конструкцию *hai¹ chum¹ vang²* «два кувшина золота» как группу существительного *vang²* «золото» [5, с. 185]. Последнее замечание, как и другие содержащиеся в данной работе замечания по адресу группы существительного, отнюдь не имеют целью ее дискредитацию. Группа существительного — ценная идея, которая должна быть сохранена, но с учетом диктуемых временем коррективов, касающихся ее трактовки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нгуен Тай Кан. Группа существительного во вьетнамском языке. Вестник ЛГУ. 1960. № 14. Вып. 3.
2. Нгуен Тай Кан. О конструкциях типа «существительное со значением единицы измерения + существительное» // Вьетнамский лингвистический сборник. М., 1976.
3. Ревзин И. И., Строганов В. А. Гипотеза о двучленности ядра группы существительного во вьетнамском языке // Вопросы структуры языка. Синтаксис. Типология. М., 1974.
4. Быстров И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В. Грамматика вьетнамского языка. Л., 1975.
5. Nguyễn³ Tai² Càn⁴. Tu² loai⁶ danh¹ tu² trong¹ tiếng⁵ Viê⁶ hiên⁶ đai⁶. Hà Nội⁶, 1975.
6. Солянцева И. В. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985. С. 235.
7. Панфилов В. С. Исходные понятия вьетнамского синтаксиса. // ВЯ, 1984. № 1.
8. Нгуен Тай Кан. К вопросу о классификаторах во вьетнамском языке // Филология стран Востока. Л., 1963.
9. Мазо В. Д. Семантические и структурные характеристики счетных слов в современном бирманском языке // Разыскания по общему и китайскому языкознанию. М., 1980. С. 144.
10. Emeneau M. B. Studies in Vietnamese (Annamese) grammar. Berkeley — Los Angeles, 1951. P. 110—113.
11. Nguyễn³ Kim¹ Than⁴. Nghiê¹ cu' u⁵ vê² ngu' ³ phap⁵ tiếng⁵ Viê⁶. Tập⁶. I. Hà Nội⁶, 1963.
12. Строганов В. А. К идентификации классификаторов вьетнамского языка // Вопросы структуры языка. Синтаксис. Типология. М., 1974. С. 173.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Публикуемая статья Г. О. Винокура (подготовленная к печати Т. Г. Винокур) была написана в феврале-марте 1927 г. В архиве Г. О. Винокура (ЦГАЛИ, ф. 1624, оп. 1, ед. хр. 89, л. 32) сохранились и тезисы к его докладу, прочитанному 8 марта 1927 г. в ГАХН на ту же тему: «О возможности всеобщей грамматики resp. поэтики», представляющие интерес и для понимания структуры настоящей статьи:

I. 1. Всеобщую грамматику, если она возможна, следует отличать от философии языка. 2. Всеобщая грамматика, если она возможна, не есть грамматика априорная. 3. О всеобщей грамматике можно говорить только как о грамматике универсальной, т. е. как о лингвистической дисциплине, имеющей предметом реальное многообразие языков. II. 1. Проблема всеобщего учения о применении к иным лингвистическим дисциплинам — например, фонетике или словарю — по содержанию не совпадает с проблемой всеобщей грамматики. 2. Возможность всеобщей грамматики предполагает свободную связь между внешним и внутренним членами грамматической структуры. 3. Если возможна всеобщая грамматика, то возможен и всеобщий (универсальный) язык. III. 1. Положительный ответ на вопрос о возможности всеобщей грамматики ведет: а) к смешению „содержания" и „значения", б) к отождествлению логического и грамматического значения слова, в) к истолкованию тропа как „украшения" речи или средства „экономии мысли". 2. Научный язык есть такой же троп, как и всякий иной язык. 3. Всеобщая грамматика возможна только в применении к языку без синтаксиса. IV. 1. Так как синтаксис есть фундамент поэтической композиции, то все верное в применении к всеобщей грамматике, верно так же и по отношению к „всеобщей поэтике", когда речь идет о возможности последней как науки. 2. От всеобщей грамматики (resp. поэтики) следует отличать типологические обобщения в сфере истории лингвистических (поэтических) стилей. 3. От всеобщей грамматики (поэтики) следует отличать теорию языка (поэзии), которая в свою очередь не совпадает с философией языка (поэзии).

Уже из этих тезисов видно, что Г. О. Винокур был заинтересован в таком широком понимании всеобщей грамматики, которое (как позднее у Р. О. Якобсона) было устремлено и на объединение проблем общей лингвистики и поэтики. Во многих отношениях Г. О. Винокур откликнулся и на те общефилософские подходы к изучению языка, которые шли от популярного тогда Э. Гуссерля (чьи мысли развивались и Г. Г. Шпетом) и А. Марти. Следует отметить, что годом спустя после доклада Винокура в 1928 г. специальную книгу о всеобщей грамматике печатает молодой Л. Ельмслев, отмечающий в ней воздействие на свои теории таких отечественных исследователей, как М. Н. Петерсон. Развернувшееся с 30-х годов у нас в стране широкое типологическое исследование языков и все увеличивающийся в последние десятилетия интерес мировой науки к проблеме выявления универсалий показывает, что предложенная Винокуром программа эмпирического становления всеобщей грамматики соответствует общему направлению развития лингвистики. Наиболее существенные поправки дальнейшие работы внесли в понимание возможностей исследования общей проблематики лингвистической семантики. Если Г. О. Винокуру казалось, что в отличие от фонетики и грамматики (в широком смысле, объединяющем и морфологию и синтаксис) словарь не представляет возможностей такого сопоставительного изучения разных языков, которое позволило бы сделать выводы общего характера, то в последние годы в работах по лексической семантике открылись перспективы такого изучения. Но эти и другие отдельные уточнения, которые развитие лингвистики за последние полвека позволяет внести в общетеоретическое построение Г. О. Винокура, лишь оттеняют в целом замечательное проникновение в суть обсуждаемых проблем и ясность их постановки, характерные для этого выдающегося лингвиста.

Иванов Вяч. Вс.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ¹

Защищать или опровергать идею всеобщей грамматики можно естественно лишь в том случае, когда устранены все терминологические неясности, связывающиеся с этой проблемой. При том состоянии вопроса, с каким мы встречаемся в научной традиции, необходимость подобной терминологической расчистки особенно ощутительна. Термин «всеобщая грамматика» покрывает явления порою столь разнородные или столь далекие от всякой грамматики вообще, что, не разъяснив каждое из понятий, предполагаемых за этим словесным обозначением, мы все время рискуем отрицать то, в чем на деле никогда не сомневались, или утверждать то, что всегда считали заведомо мнимым. Моя задача логически распадается, таким образом, на две части. Сначала я должен ответить на вопрос, какой смысл мы влагаем или можем вложить в словосочетание «всеобщая грамматика». Это, следовательно, предполагает критику словоупотребления. И уже затем потребует ответа основной вопрос, которому посвящена эта работа: какое положительное содержание должны мы приписать всеобщей грамматике для того, чтобы о ней можно было говорить как о логически сообразной дисциплине, с особым и специфическим предметом. Так расчленилась моя задача, впрочем, только логически. В реальном же изложении, как легко видеть, обе эти темы неотделимы друг от друга и первая служит как бы контекстом для второй.

Переходя теперь к выяснению того, что же собственно может означать термин «всеобщая грамматика», я должен еще предупредить, что конкретной и с т о р и и этого термина я здесь не касался. Проследить употребление и различное понимание этого термина на протяжении истории языкознания и философии — задача не только важная исторически, но и методологически плодотворная: живой пример всегда толкает на поучительные размышления и подсказывает содержательную аргументацию. Задача эта, однако, предполагает работу столь обширную по объему, что уже в силу одних внешних условий я принужден отложить ее выполнение до более удобного времени. Это, конечно, нимало не облегчает мою нынешнюю задачу. Наоборот, она становится еще более трудной от того, что я сознательно отказываюсь от многообразной помощи, которой мог бы ждать от некоторых особенно выразительных исторических фактов и указаний, от иных метких и красноречивых определений, как и вообще от всего того, что можно было бы извлечь из внутренней диалектики движения научной мысли. Затрудняя я этим, однако, только себя самого, а в принципиальном содержании проблемы ничего не меняется от того, что истолкователь его пользуется теми, а не иными методическими средствами. Не решаясь, таким образом, поставить свою тему в контекст исторической жизни соответствующих научных идей, я в нижеследующем буду поэтому отправляться только от анализа самих понятий, как они выражены в некоторых общепринятых, но критически еще не уясненных, на мой взгляд, терминах.

¹ От публикатора. Статья печатается полностью по машинописному экземпляру, правленному автором и датированному 8 марта 1927 г. (ЦГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 89, л. 1—31). Библиографический аппарат приведен в соответствие с современными требованиями и, по необходимости, дополнен; постраничные сноски оригинала переведены на сплошную пагинацию; под звездочкой даются примечания о заготовках для предполагаемых автором добавочных ссылок на источники; в нужных случаях произведена орфографическая, пунктуационная и минимальная редакторская правка.

Мы начинаем, следовательно, с терминологических различий. Оставляя пока в стороне вопрос о том, какое содержание может быть приписано слову *г р а м м а т и к а*, спросим себя сначала, что может означать в данном применении термин «в с е о б щ и й». Какое-либо учение может претендовать на то, что оно всеобщее, прежде всего тогда, когда самим его содержанием предполагается, что оно имеет силу по отношению к каждому отдельному случаю в пределах данного рода или вида. Здесь предполагается, иными словами, что все отдельные экземпляры некоторой изучаемой категории вещей и предметов обнаруживают в своем строении такие *о д и н а к о в ы е* особенности, которые делают соответствующее всеобщее суждение истинным в применении к каждому из этих экземпляров в отдельности. Этот одинаковый, или *о б щ и й* момент в структуре каждого экземпляра и составляет тогда научный объект соответствующей *в с е о б щ е й* дисциплины. «Все люди смертны» — есть суждение всеобщее в силу того, что истинность его вытекает из некоторых особенностей, одинаково присущих и, следовательно, общих для каждого отдельного экземпляра человеческого рода. Этот *д и с т р и б у т и в н ы й* характер всеобщего суждения я считаю чрезвычайно существенным и необходимым его моментом, и мне придется еще в дальнейшем надлежащим образом воспользоваться этой характеристикой.

Однако уже и сейчас видно, что игнорирование дистрибутивного качества всеобщих суждений в его подлинном значении порождает сложные эквивокации. От одной, способной извратить смысл всего последующего, если она останется не устраненной, нам необходимо избавиться теперь же. Можно, например, утверждать, что для какого-либо экземплярного ряда, положим A_1, A_2, A_3 и т. д. общим в первую голову является не то, что всем этим экземплярам можно приписать общую и одинаковую характеристику *В*, а только то, что каждый из них есть именно *А*, и что, следовательно, суждение типа «всякое *А* (A_1, A_2, A_3 и т. д.) есть *А*» — есть суждение всеобщее*. В применении к грамматике в этом случае можно было бы сказать: у русской, венгерской, китайской, санскритской и т. д. грамматик устанавливается то общее между ними, что каждая из них есть прежде всего то, что она есть, т. е. — грамматика. Разумеется, что и такое суждение можно условиться называть всеобщим, однако необходимо понимать, что смысл его совершенно отличен от суждений типа «все люди смертны». В последнем случае мы действительно имеем в виду некоторое экземплярное многообразие, в котором можно выделить как общие для всех отдельных экземпляров, так и не-общие в каждом из них признаки. Здесь экземпляру нечто приписывается непременно как таковому. В случае же суждения типа «всякое *А* есть *А*» — мы утверждаем уже не общее, а только *д е н т и ч н о е*. Экземплярный характер предмета, о котором идет речь, в силу этого неизбежно пропадает, и само это реальное многообразие только *о б щ и х* между собой вещей или отношений превращается просто напросто в *о д и н* предмет. Русская, венгерская, китайская и т. д. грамматики тог-

* Судя по маргиналиям в тексте статьи и в экземпляре книги А. Марти, хранящейся в библиотеке Г. О. Винокура, здесь предполагалась ссылка на *Marty A. Spezielles über den Ausdruck der Urteile und die bezüglichen inneren Sprachformen: [«Wer meint „alle Dreiecke“, „alle Menschen“ (falls der Ausdruck distributiv zu verstehen ist)... sei e i n Begriff, dem möchten wir die Frage. . . vorlegen, welches denn nach seiner Ansicht in dem Syllogismus: Alle Menschen sind sterblich...] // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 1. Abt. Halle, 1918. S. 260—261.*

да уже не грамматики, а только вообще одна грамматика. Легко видеть, что подобная операция в первом нашем примере невозможна. В суждении «все люди смертны» — смертность приписывается не абстракции «человек вообще», а каждому живому человеку в отдельности. Если все это верно, то у суждений типа «всякое А есть А» — не остается ничего такого, что позволило бы усматривать в них специфическое качество в с е о б щ н о с т и. Можно ли утверждать, будто дисциплина, отвечающая на вопрос, что такое грамматика, является всеобщей только на том основании, что предлагаемое ею определение грамматики приложимо всюду, где речь идет о грамматике? Ведь в противном случае оно не было бы определением! Нет поэтому никакой необходимости настаивать на специфической «всеобщности» подобной н а у к и о г р а м м а т и к е для того, чтобы защищать ее право на существование перед сомнениями эмпиризма. Эта наука о грамматике, точнее — ф и л о с о ф и я грамматики — составляет естественную часть ф и л о с о ф и и я з ы к а и вместе с последней входит в соответствующее более широкое деление основной философской науки, например, о н т о л о г и ю знака и т. п. Во всяком случае совершенно праздным занятием было бы возвращаться к полемике с теми представителями лингвистики, которые в силу тех или иных оснований возражали против законности общего философского учения о языке, как Н. Paul и др. Если есть язык, то есть и философия языка. Аксиоматичность этого положения не дает еще, однако, нам права утверждать тождество философии языка и . . . всеобщей грамматики. Можно считать несомненным, что Гуссерль, а с известными модификациями и Марти, только повредили популярности защищаемой ими идеи философской грамматики тем, что связали свою аргументацию с традицией *Grammaire générale et raisonnée* Пор-Рояля. Этот первый вывод из попытки определить специфические особенности в значении термина в с е о б щ и й можно подтвердить и более точными указаниями.

В том, что известное IV исследование II тома «Логических исследований» Гуссерля имеет в виду именно философское учение — преимущественно притом в сфере идеальных законов значения² — сомневаться невозможно просто уже потому, что он сам все время говорит об этом. Словно для того, чтобы рассеять всякие на этот счет сомнения, он в пояснительном примечании к заключительному параграфу IV исследования пишет: «Естественно, что о всеобщей (*allgemeine*), точнее — о чистой логической грамматике здесь речь идет аналогично тому, как обычно говорят об „общем языкознании“ (*wie sonst von allgemeiner Sprachwissenschaft*)³», т. е. — добавим от себя — о философии языка. Г. Г. Шпет — человек в вопросах истолкования Гуссерля достаточно авторитетный — также без сомнения совершенно прав, когда говорит, что гуссерлевская идея чистой грамматики как чисто априорное философское учение «разумеется, ничего общего не имеет с фантастической „универсальной“ для всех языков грамматикой, как это иногда себе представляют»⁴. Дело, однако, в том, что это

² Как увидим несколько ниже, вполне законными являются также сомнения, действительно ли о грамматике говорит Гуссерль в этом исследовании.

³ Одно и то же слово *allgemeine* я перевожу здесь различно — «всеобщая» и «общее» — в соответствии с русской терминологической традицией, которая, по счастью, близко отражает наше основное противопоставление. Если, однако, предположить, что и в применении к грамматике *allgemeine* Гуссерля нужно переводить через «общая грамматика», то тем лучше для нашей аргументации. См.: *Husserl E. Der Unterschied der selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die Idee der reinen Grammatik // Husserl E. Logische Untersuchungen. II. Bd. 1. Tl. Halle, 1922. S. 340.*

⁴ *Шпет Г.* Введение в этническую психологию. М., 1927. С. 81.

последнее представление создано не только не без помощи, но и при самом активном содействии самого Гуссерля. Помимо простой ссылки на всеобщую грамматику рационалистов это засвидетельствовано у Гуссерля и самим способом изложения, где доводы, которые показывают, как возможна общая философская наука о значении, сопровождаются сбивающими с толку образами, прямо направляющими интерпретацию в сферу идей универсальной грамматики и всего с ней связанного. Таков, например, образ «идеального скелета», который различные языки заполняют различным эмпирическим материалом и различным образом «одевают». В свете предшествовавших различий, мне кажется, невозможно сомневаться в том, что подобные утверждения построены на эквивокации. Когда говорят, что помимо всех тех различий, которыми разделяются между собою отдельные языки, во всех языках есть также нечто общее и «совпадающее»⁵, то под сферой «расхождений» и сферой «совпадений» на самом деле понимаются совершенно разные области: самое слово язык понимается здесь явно двусмысленно. В первой части разбираемого нами утверждения речь идет действительно о языках, с их национальными, физическими, социальными и т. п. признаками; во второй же его части говорится только о некоторых необходимых и достаточных условиях языка как знака идеи, о чем Марти и заявляется многократно на страницах своего главного труда с полной определенностью. Иными словами, здесь находит свое точное отражение та эквивокация, которую мы наблюдали в сопоставлении всеобщего суждения «все люди смертны» и суждения типа «всякое А есть А». Сказать, что у всех языков общими являются необходимые и достаточные условия языка как знака — это и значит сказать, что всякий язык есть язык, и не более того.

Чтобы показать, что это действительно так, присмотримся несколько ближе к фактическому содержанию IV исследования Гуссерля. В коротеньком предисловии к нему Гуссерль с недопускающей сомнений ясностью обещает установить некоторые необходимые условия языка как выражения смысла. Он говорит здесь о «законах, которые управляют в сфере сочетания значений и имеют функцией отделить там смысл от бессмыслицы (Sinn von Unsinn zu trennen)»⁶. Задачу свою Гуссерль видит в том, чтобы вывести некоторые «априорные формы сочетания значений различных категорий в одно значение» так, чтобы не получалась «хаотическая бессмыслица»⁷, т. е., добавим, чтобы сохранялись в силе идеальные отношения, предполагаемые структурой выражения. Современное языковедение целиком растворяется в психологизме и эмпиризме. Гуссерль, напротив, полагает, что «старая идея в себе и специальная, априорной грамматики получает бесспорное основание и во всяком случае своим определенным образом ограниченную сферу применения» в результате этого указания на априорные законы, определяющие «возможные формы значений»⁸ (разрядка моя. — В. Г.) Задача философского рассмотрения некоторых идеальных условий значащего выражения очерчена здесь, на мой взгляд, настолько отчетливо, что нелегко сообразить, какое же здесь возможно еще всеобщее изучение законов сочетания значений, которое не совпало бы с только что сформулированной уже проблемой философии знака. Именно в рам-

⁵ Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, I. Bd. Halle, 1908. S. 56.

⁶ Husserl E. Ibid. S. 294.

⁷ Husserl E. Ibid. S. 295.

⁸ Husserl E. Ibid. S. 295.

ках этой проблемы и развивается далее изложение Гуссерля, и мы без труда вообще забыли бы это смущающее историческими реминисценциями словечко «всеобщая», если бы в последнем параграфе снова не встретились на этот раз уже со вполне точно сформулированной ссылкой на универсальную грамматику рационалистов⁹, в сопровождении той образной мотивировки, образец которой приведен был выше. Между тем все, что лежит на пространстве от предисловия к IV исследованию до этого заключительного рационалистического аргумента, следовательно — учение о значениях простых и сложных, самостоятельных и несамостоятельных, о границах между членораздельным звуком и синкатегорематическим значением, между членораздельным звуком и синкатегорематическим значением, между *Unsinn* и *Widersinn*¹⁰ и т. п. и т. п. — все это, со всей возможной детализацией намеченных здесь проблем, разве не потому только совпадает в различных языках, что вне этого условия и «совпадать»-то нечему было бы, как как не было бы и самого языка? Разумеется, что во всем этом мы не выходим еще за пределы феноменологии значения и что ни о какой в с е б щ е й грамматике, которая предполагает не идеальную структуру выражения, а живое многообразие языков, здесь нет и речи.

Но этого мало. Можно еще усомниться и в том, подлинно ли речь здесь идет вообще о г р а м м а т и к е. Ответить на вопрос, что такое грамматика, при нынешнем состоянии лингвистической терминологии не так уж легко. Но в противоположность Марти, который, по-видимому, совершенно безразлично употребляет термины *allgemeine Grammatik* и *Sprachphilosophie*, не придавая никакого специфического значения слову «грамматика», у Гуссерля выбор именно этого названия для учения, излагаемого в IV исследовании, разумеется, нельзя считать случайным. О г р а м м а т и к е Гуссерль говорит именно потому, что в соответствии с остальным содержанием своих «Логических исследований» в исследовании о чистой грамматике он все время имеет в виду законы с о ч е т а н и я значений. Какими идеальными законами определяются возможные формы сочетания самостоятельного значения с несамостоятельным — вот собственно тот вопрос, ответ на который нужен Гуссерлю от априорной грамматики для его прямых целей. Поэтому же с полной последовательностью он говорит об этих формах сочетания как формах с и н т а к с и ч е с к и х¹¹, а самое проблему свою, всецело в духе немецкой лингвистической традиции, именует *Formenlehre der Bedeutungen*¹² (разрядка моя — В. Г.). И все же я решаюсь утверждать, что термин «грамматика», а соответственно и «синтаксис» — здесь употреблен не в собственном его значении. Иносказание это имеет своим источником все ту же основную эквивокацию: «язык» как идеальная структура выражения и язык как предмет культурной истории и этнологии. Язык в первом смысле служит, разумеется, идеальным основанием для языка в смысле втором, но точно в таком же смысле он есть идеальное основание и для всякой иной освещенной, исторически зафиксированной системы знаков: искусства, литературы, науки, религии — вообще всего, что наделено значением и что поэтому непременно предполагает некоторую границу между *Sinn* и *Unsinn*. И как казалось бы ни очевидно, что исследование Гуссерля есть исследование не лингвистическое, а философское, все же и об этом нужно предупредить особо.

⁹ Husserl E. Ibid. S. 337.

¹⁰ Husserl E. Ibid. S. 325.

¹¹ Husserl E. Ibid. S. 310.

¹² Husserl E. Ibid. S. 295.

В лингвистической литературе существует предрассудок, будто семасиология есть проблема лингвистики, что-то вроде «истории значений» соответственно истории звуков и истории форм какого-либо конкретного языка. На самом же деле это вещи совершенно разные, хотя и связанные между собою идеальными отношениями. Истории языка надлежит еще немало потрудиться, прежде чем она выработает точные методы изложения истории значений, в частности — разграничит эту задачу с историей вещей. Семасиология же есть, была и будет дисциплиной принципиальной и философской, она устанавливает лишь общие и априорные законы в сфере значений, т. е. как раз в той сфере, к которой принадлежит и чистая грамматика Гуссерля. Можно, разумеется, не протестовать против того, что Гуссерль говорит о грамматике и синтаксисе, тем более, что термины «чистая» и «чистая логическая» (reinelogische) дают достаточную гарантию логической выдержанности всего построения. Однако при том неперменном условии, что эта грамматика не будет пониматься как грамматика реального этнического языка или даже реальных языков, — потому что именно это смешение, по глубококому моему убеждению, только и могло породить все недоразумения, связывающиеся с построениями в сфере в с е р о б щ е й грамматики. Не сделав соответствующих различий, Гуссерль поступил, таким образом, явно неосторожно, а связавшись с рационалистической традицией универсальной грамматики — и просто ошибочно.

II

Это необходимое различие между языком как идеальным знаком и языком как эмпирически закрепленной системой средств выражения приобретет для нашей темы еще больший смысл, если мы теперь в соответствии с предыдущим скажем, что ниоткуда еще не видно, почему грамматика всеобщая непременно должна быть еще и а п р и о р н о й. Гуссерль вправе говорить о своей *Formenlehre der Bedeutungen* как об учении чистом и априорном. Оно и не может быть никаким иным уже по своему положению в сфере принципиального учения о значениях. Неясно, однако, какое это может иметь отношение к всеобщему суждению, относительно которого с достоверностью можно утверждать только то, что оно остается истинным в применении к каждому отдельному э к з е м п л я р у данного ряда предметов. Для такого понимания всеобщей истины, отличающего ее от истины идеальной, решительно безразличным, на мой взгляд, является вопрос о ее происхождении. И с т о ч н и к о м всеобщего суждения столько же может быть априорное умозаключение, сколько эмпирическое наблюдение, типическая характеристика, обобщенный эксперимент и т. д. и т. д., только бы сохранялась в силе формула: «всякое и каждое А в отдельности — есть В». Противоположной точки зрения можно держаться естественно только тогда, когда не различаются границы между семасиологией философской и семасиологией лингвистической. Поэтому возражения, с которыми выступил против Гуссерля в данном пункте Марти, могли бы внести действительную ясность в нашу проблему, если бы только его протест против интерпретации всеобщей грамматики в смысле ее априорности предполагал устранение этой основной эквивокации или, по крайней мере, был свободен от нее сам. На самом деле, как мы знаем, Марти в своей полемике против Гуссерля руководился совсем иными соображениями: отождествление философии языка и всеобщей грамматики, — следовательно, семасиологии и лингвистики, — только еще резче оттеняется у Марти от того, что у него не грамматика возвышается до принци-

пильного значения семасиологии, а наоборот, философское учение о знаке низводится до уровня эмпирических наблюдений грамматики. Техничность, принципиальное отношение к знаку только как к с р е д с т в у, возможное, разумеется, лишь в рамках эмпирической грамматики и стилистики, — таков ведь и основной дефект построений Марти. Даже действительные и положительные его достижения способны поэтому потерять всякую цену в глазах того, кто не даст себе предварительного труда разобраться в той поистине чудовищной классификации, с помощью которой Марти определяет место своей «дескриптивной психологии языка». Достаточно уже и того, что по точному смыслу определений Марти Sprachphilosophie оказывается коррелятивной . . . Sprachphysiologie. Вместе с последней, в отличие от истории языка, она изучает не конкретное, но «общее»; а отличается от нее тем, что в этой области «общего» имеет своим предметом только такие вопросы, решение которых в силу природы вещей должно быть базировано на психологии. Так, кажется, можно истолковать эту схему, в которой для чистого априорного учения о знаке действительно не остается особого места. «Также и в отношении того, — пишет Марти, — что еще до всякого изучения отдельных языков можно узнать общего об их семантической природе, а также в отношении выраженных в них так называемых „форм“ сознания, существует нечто такое, что весьма важно для всеобщей грамматики, но что можно познать только эмпирически, не априорным путем. И уже потому кажется мне название „всеобщая“ грамматика более подходящим, чем „чистая“ или „априорная грамматика“»¹³. Всеобщая грамматика потому только, таким образом, не есть учение априорное, что и общая семасиология, которая на деле скрывается под этим псевдонимом всеобщей грамматики, также есть учение, одними априорными положениями не исчерпывающееся. Нетрудно видеть, что т а к а я полемика против априорности всеобщей грамматики не только не разъясняет дело, но способна еще и запутать его сверх меры. Независимо, однако, от того, что основная эквивокация и здесь остается неустранимой и что в силу этого в область «всеобщей грамматики» герр. общей семасиологии приходится наряду с эмпирическими проблемами относить и априорные, стоит все же обратить внимание, что в этом определении Марти всеобщая грамматика противопоставляется чистой как раз на том основании, что понятие ее не совпадает с понятием априорного учения¹⁴. Этого достаточно для того, чтобы закрепить теперь основной итог предшествовавших терминологических различий: всеобщая грамматика, если она вообще возможна, может существовать только как дисциплина, и е совпадающая ни с априорным учением о выражении, ни с более частным его применением, которое можно именовать философией языка, и только как грамматика в обычном и прямом смысле этого термина, т. е. как дисциплина собственно л и н г в и с т и ч е с к а я. Посмотрим теперь, как возможна эта особая лингвистическая дисциплина и возможна ли она вообще.

Заявив, что всеобщая грамматика есть г р а м м а т и к а, мы тем самым признали, что она имеет дело не с языком вообще, а с той реальной системой значений, которая именуется языком русским или английским.

¹³ *Marty A. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie...* I. S. 58.

¹⁴ Как само собою разумеется, совершенно в стороне я оставляю здесь вопрос о том, действительно ли неразрешимы априорными средствами те проблемы, которые Марти считает основными пунктами программы «всеобщей грамматики», и правильно ли он интерпретирует понятие априорного знания вообще. Здесь важно проследить лишь формальное движение его мысли.

Допустив, кроме того, что всеобщая грамматика есть грамматика в с е о б щ а я, мы признали также, что предмет ее — не один какой-либо частный (русский или английский) язык, а все вообще конкретные и реальные языки, которые нам известны или могут быть известны. Сказать это нужно с полной определенностью для того, чтобы не возвращаться в область философии языка и априорных учений, которые, повторяю, для обоснования своего не нуждаются в псевдонимах. Таким образом, путь для того, кто хотел бы обосновать возможность всеобщей грамматики, совершенно ясен. Ему, очевидно, надлежит показать, что в грамматической структуре каждого отдельного реального языка есть такие моменты, относительно которых можно было бы сказать, что они являются для всех реальных грамматик общими и — еще проще — о д и н а к о в ы м и. При этом со всей настойчивостью снова нужно подчеркнуть, что речь здесь может идти и с к л ю ч и т е л ь н о о грамматике, а не о иных каких-либо лингвистических дисциплинах. В самом деле, столь же нетрудно убедиться, что в с е о б щ а я ф о н е т и к а, например, в возможности которой нет, на мой взгляд, никаких оснований сомневаться, есть проблема с совершенно иным содержанием, сколь легко заметить, что вообще лишена всякого содержания проблема в с е о б щ е г о с л о в а р я. Что до фонетики, то она имеет дело не с языком собственно, а только с физическими условиями языка как звучащей речи. Эта ориентация фонетики на физическое и материальное, ее необходимая зависимость от анатомии, физиологии, акустики и тому подобных дисциплин лишает вопрос об ее всеобщности той специфической остроты, которая связывается с проблемой всеобщего учения о языке к а к т а к о в о м, и во всяком случае придает ей совсем иной смысл. Сколько бы мы ни насчитали действительно всеобщих положений в области фонетики — сюда относятся, например, физиологическая и акустическая классификация звуков речи, учение о слоге и ударении, некоторые наиболее общие законы изменения звуков, поскольку они могут быть установлены¹⁵, — весь этот материал не дает еще ничего подлинно общего и одинакового для различных языков как различных з н а ч а щ и х систем. Проблема же всеобщей грамматики естественно предполагает наличие каких-то общих моментов именно в з н а ч е н и я х. Что же касается словаря, то, хотя он и имеет ближайшее отношение к языку как значащему целому, его лингвистическая функция существенно различается от функции грамматики и синтаксиса. В словаре слово функционирует не как знак, а только как н а з в а н и е. В силу этого и теряет всякий смысл проблема всеобщей дисциплины в применении к словарю. Разность названий есть первый и необходимый признак наличия самого многообразия языков. Ведь даже и в том случае, когда утверждают, что разные названия в разных языках означают «то же самое», исходным пунктом остаются все же названия р а з н ы е. Всякая же попытка через название прийти к предполагаемому за ним содержанию, т. е. проникнуть вглубь структуры названия как такового, через предметную форму слова, приведет нас только к самому п р е д м е т у, — иными словами, выведет нас за пределы всякой лингвистики вообще.

¹⁵ Например, меньшая или бóльшая степень палатализации согласных перед передними гласными; в связи с этим и общее учение о регрессивной и прогрессивной ассимиляции и пр.

Совсем иное дело, когда речь идет о всеобщем учении в сфере грамматики и синтаксиса¹⁶. Собственно здесь только впервые язык есть для нас структура, откуда и проистекают все особенности, которые отличают проблему всеобщей грамматики от проблемы какой-либо иной всеобщей лингвистической дисциплины. В отличие от структуры названия, в грамматике мы не выходим за пределы языка как такового, когда идем вглубь структуры от внешнего к внутреннему, так как именно в этом «переходе», следовательно, — в отношении, которое создает самое структуру, только и существует сам грамматический предмет. Когда мы говорим о грамматической resp. синтаксической форме, т. е. о языке как знаке *κατ' ἐξοχήν*, об онтологии языка как знака, мы всегда имеем в виду некоторое отношение. Ведь и та «соотносительность элементов», которую в качестве главного условия грамматического контекста подчеркивала школа Фортунатова — а еще последовательнее школа де Соссюра, — также в последнем итоге может быть сведена на это первичное структурное отношение, конституирующее язык как осмысленный знак. Когда мы интерпретируем звукосочетание «стола» как род. ед., то в чем же здесь, в сущности, состоит этот переход от внешнего члена отношения к внутреннему, предполагаемый интерпретацией? Как очевидно, в том, что мы «сумели» объяснить себе, уразумели, «почему» и «зачем» к слову *стол* прибавлено здесь окончание *-а*. Следовательно, в самом акте уразумения грамматической формы, раскрывающем ее содержание как некоторое структурное отношение, нам дан и весь тот контекст соответствий и параллелей, который необходим для того, чтобы в звукосочетании *стола* различить две части: *стол-* и *-а*. Отсюда и следует с несомненностью, что сами эти соответствия и параллели, т. е. весь вообще грамматический контекст, с которым на практике имеет дело исследователь-лингвист, может быть получен только в акте структурной интерпретации того отношения, которое складывается как грамматический знак. Но это между прочим. Существенно же во всем этом для проблемы всеобщей грамматики то, что предмет, относительно которого мы пытаемся высказать всеобщее суждение, есть в данном случае не что иное, как структурное отношение. А так как идея всеобщей грамматики предполагает некоторые общие и одинаковые для разных языков моменты среди не общих и неодинаковых, то естественно формулируется тот вопрос, который и должен теперь послужить главной темой нашего рассуждения: может ли в этом осмысленном структурном отношении меняться один член структуры без того, чтобы не изменился коррелятивный ему другой член структуры? Нетрудно видеть, что рационалистическая традиция отвечает на этот вопрос положительно, когда считает различия между отдельными языками «только формальными» и «случайными» разногласиями и несовпадениями, всегда выражающими «одно и то же» неизменное содержание.

К критике этого положения, *sine ira et studio*, мы теперь и перейдем. Но чтобы облегчить себе эту критическую задачу, я уже сейчас, забегав несколько вперед, попробую сделать один напрашивающийся вывод из допущения, что за внешними различиями языков действительно нет

¹⁶ Далее, как и выше, я полностью отождествляю грамматику и синтаксис на том основании, что для принципиального анализа решительно безразлично, имеет ли он дело с сочетанием самостоятельного и несамостоятельного значения в пределах одного слова или в пределах целого словосочетания. См. соответствующие определения у Марти, в статье: *Marty A. Über dass Verhältnis von Grammatik und Logik // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 2. Abt. Halle, 1918. S. 92.*

различий внутренних и что это неизменное внутреннее и может поэтому служить предметом всеобщей лингвистической дисциплины. Мы должны прежде всего согласиться, что если это действительно так, то внешние различия между языками и в самом деле не оправдываются никакой внутренней необходимостью, будучи всецело продуктом случайности и исторического произвола. Допустив это, мы вынуждены принять и все вытекающие отсюда следствия. А тогда окажется, что обсуждаемые нами различия не только случайны и произвольны, но и вообще бессмысленны, потому что абсолютно непонятым становится, каково их назначение в строении и жизни языков. Однако и этого в свою очередь еще недостаточно. Если отдельные языки разнятся между собою «только по форме», то эти формальные отличия, мало того, что они бессмысленны и, следовательно, не нужны, непременно еще и вредны, поскольку справедливо, что они затрудняют международное общение и понимание.

Но пойдем до конца. Раз внешний член структуры знака не связан необходимо и безусловно со своим содержанием, то что может помешать нам заменить бессмысленный произвол истории, приносящий вред и взаимное непонимание, осмысленным и целесообразно направленным произволом разумного существа? Это условное и свободное обозначение, которым при всех этих допущениях оказывается словесный знак, безо всякого труда может быть заменено любым иным конвенциональным средством, а следовательно, и таким, которое может играть роль знака всеобщего и для всех народов равно понятного. Задача, таким образом, сводится лишь к тому, чтобы такое средство, единое и универсальное, характеризовалось преимуществами, достаточно наглядными для того, чтобы оно могло успешно выдержать борьбу с инерцией традиции: это уже дело точного расчета и талантливого изобретения. Мы видим, таким образом, что отсюда прямая дорога к идее универсального языка, ближайшей родственницей которого, следовательно, оказывается всеобщая грамматика, возможная в силу всего предыдущего тоже только как универсальная. Мы можем поэтому утверждать, что если возможна всеобщая грамматика, то возможен и всеобщий язык — и обратно: аргументация во всех случаях будет здесь непременно одна и та же. Это ближайшее родство идеи всеобщего языка и идеи всеобщей грамматики засвидетельствовано также, как мы знаем, и исторически. В новейшее время обе эти традиции рационализма, оставаясь неразрывно связанными одна с другой, своеобразно преломились в учении Марти*. Все это, таким образом, дает нам право связать оба эти вопроса и в нашем изложении.

III

Переходя теперь непосредственно к ответу на вопрос, поставленный в заглавии, мы сразу же можем заметить, что сделанные только что допущения относительно возможности всеобщей грамматики resp. всеобщего языка в равной мере упускают из виду специфичность связи между языком как знаком некоторого содержания и самим этим содержанием. В наше время всякое почти «введение в языковедение» начинается с того, что пробует отыскать отличительные признаки «языка слов» среди

* Судя по маргиналии, автор предполагал указать здесь на критику логико-филологических положений А. Марти К. Бюлером. См.: *Bühler K. Vom Wesen der Syntax // Idealistische Neuphilologie (Festschrift für Karl Vossler). Heidelberg, 1922. S. 63—64.*

всех прочих мыслимых «языков»¹⁷. Усилия эти естественно направлены на то, чтобы обнаружить особый и специфический характер отношения между словесным знаком и его содержанием. Далекое не всегда, однако, принимается при этом в расчет, что специфичность этого отношения можно понять только тогда и только после того, как отысканы специфические моменты во внутреннем строении самого словесного знака. Для того чтобы уразуметь, чем отличается словесное выражение от многообразных иных отношений между «обозначающим» и «обозначаемым», как, например, отношений симптома, сигнализации, эмблемы, этикетки и т. п. и т. п., нужно, следовательно, прежде всего знать, что сам словесный знак в свою очередь есть не что иное, как отношение, притом отношение непременно структурное. Последнее нужно здесь подчеркнуть главным образом для того, чтобы наперед избавиться от возможных упреков, будто мы рассекаем на абстрактные куски то конкретное целое и внутреннее единство, каким представляется нашему сознанию словесное выражение. «От качества содержания к качеству формы вообще нет перехода» — формулирует, например, Кроче¹⁸. Перехода между отдельными членениями того отношения, какое мы имеем в языке, и в самом деле нет, если этому придавать смысл вещественный и материальный, но он существует как диалектическое звено в том уразумевающем акте, в каком соответствующее содержание становится достоянием нашего понимания. Что же касается самого отношения, в которое складывается словесный знак, т. е. грамматической — resp. синтаксической формы слова, то как раз ее предметный анализ и должен вскрыть основное противоречие, заложенное в идее всеобщей грамматики и всеобщего языка. В самом деле, спросим себя прежде всего, что такое то «неизменное» и «постоянное» «внутреннее», которое предполагается традицией всеобщей грамматики в словесном выражении при «подвижном» и «переменном» «внешнем»? Я полагаю, что здесь нет необходимости снова разъяснять многообразные эквивокации, которые связываются с употреблением терминов: «смысл», «значение», «содержание» и т. п. применительно к знаку и обозначению, — все это уже удовлетворительно расчленено в современной философии языка. Сошлюсь поэтому просто на прочно уже установленное различие между содержанием и значением для того, чтобы обнаружить неизбежную недостаточность вышеуказанного основного положения идеи всеобщей грамматики. Если это постоянное внутреннее есть действительно содержание, то оно вообще «не есть предмет ни науки об языке, ни в частности грамматики», — как отвечал Гуссерлю, совершенно превратно, впрочем, поняв его намерения, В. Поржезинский¹⁹. Если же под неизменным внутренним в данном случае имеется в виду значение слова, то, как сейчас увидим, оно также есть «только» форма, притом столь же подвижная, как и всякая иная, несмотря даже на свой очевидный внутренний характер.

¹⁷ Поскольку речь идет об общих работах по языковедению нефилософского характера, сошлюсь, например, на известное сочинение шведского лингвиста А. Noreen, детально перечисляющее возможные типы и виды языков и так называемое *Vårt språk*, т. е. «язык слова». См. немецкий перевод-обработку этого труда: Noreen A. — Pollak H. W. Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Beiträge zur Methode und Terminologie der Grammatik. Halle (Saale), 1923. S. I—VIII, 1—460.

¹⁸ Кроче В. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. I. М., 1920. С. 19.

¹⁹ Поржезинский В. Введение в языковедение. М., 1916. С. 214.

Нужно ввиду всего этого отдавать себе строгий отчет в том, что границы грамматической формы как некоторого отношения целиком умещаются в структуре словесного знака в тех ее пределах, которые можно считать пределами «означающего» и за которыми мы наблюдаем уже диалектический переход в сферу «означаемого». Эти границы — членораздельный звук, способный быть морфемой и в нее преобразованный — с одной стороны; логическое значение слова как форма его конкретного смысла и основание акта предикации — с другой. Внутри этих границ помещается, таким образом, грамматическое значение слова как форма его собственного материального и исторического бытия. При таком положении вещей усмотрение в сфере грамматики неподвижного внутреннего при переменном внешнем может означать: или, во-первых, полное отождествление грамматического значения слова с его логическим значением, — тогда мы получим традиционную логику грамматику рационализма, опровергать которую — значит ломиться в открытую дверь; или же, во-вторых, полное игнорирование тех модификаций, которые привносятся в логическое значение слова его грамматическими формами в качестве модификаций существенных и конститутивных для языка, — результаты этого модернизованного рационализма будут немногим лучше. Как третий случай, наиболее, пожалуй, вероятный и правдоподобный, можно принять совмещение обеих этих ошибок в одно целое, притом так, что вторая предполагает первую, но только маскирует ее: поэтому я и решился здесь говорить о модернизованном рационализме. Конкретно, как нетрудно теперь заключить, мы имеем в подобном случае дело с недооценкой тех внутренних форм языка, которые создают из него систему тропов; а это в конце концов предполагает грубую интерпретацию структурного отношения как абстрактной связи предмета с его знаком и отождествление понятий как особого рода интуиции с рассудочным умозаключением, узнаванием, угадыванием и т. п.

В типическом случае соответствующее истолкование тропированных качеств принимает следующий вид²⁰. Троп, разумеется, есть вещь для языка необходимая. Без него стала бы совершенно невозможной поэзия и литература, лишилось бы своих оснований все то, что мы относим обычно к сфере «эстетики слова». Несомненно, с другой стороны, что троп, именно в силу того, что он есть перенесение значения, служит чрезвычайно удобным и экономным средством для мышления и понимания. Что было бы, если бы мы и в самом деле были принуждены для каждого нового предмета изобретать собственное название! Сколь бы, однако, все это ни было справедливо, задача научной мысли, например, именно в том и состоит, чтобы для каждого предмета мысли приискать свое имя, с вой термин. Таким образом, троп хотя и фундирует наше эстетическое переживание, хотя и экономит наши средства понимания, несомненно, в то же время, создает весьма серьезные затруднения, в особенно-

²⁰ Для типической иллюстрации этого рода интерпретации я пользуюсь главным образом учением Марти о фигуральной внутренней форме, как оно изложено в его *Untersuchungen*, статье об отношениях логики к грамматике и других работах. О том, что троп вовсе не есть какое-то «перенесение значения», — здесь, я полагаю, можно и не говорить. См., например, статью Н. Н. Волкова «Что такое метафора» в сб. «Художественная форма». М., 1927. Непобежденная многосмысленность всякого словесного языка выражения, в силу которой в всякое слово есть принципиально троп, превосходно иллюстрирована в популярной книге: *Erdmann K. O. Die Bedeutung des Wortes*. 3. Aufl. Leipzig, 1922. (См.: 1. Die Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit des sprachlichen Ausdrucks. S. 4—65).

сти для точного знания. Сколько усилий в самом деле приходится затрачивать всякий раз для того, чтобы высвободить тот или иной научный термин из сетей двусмысленности и неопределенности словесного значения! Не является ли всякая новая философская система только и ным пониманием того же самого в сущности слова и разве не приходишь иногда к заключению, что вся история философии есть только спор о словах? Насколько, следовательно, далеко можно было бы двинуть дело научного знания, если бы не троп, принципиальная и неизбежная необходимость которого к тому же ничем не доказывается. Именно потому ведь и называем мы троп тропом, что в идеале считаем возможным обойтись и без него. Ядро мысли, ее логическое содержание, можно передать другому и без помощи тропа. А отсюда следует, что для целей логического изложения по крайней мере, можно изобрести и такой язык, который абсолютно будет лишен тропов и в силу этого явится для всех равно доступным и понятным. И это возможно именно потому, что несмотря на все внешние различия между отдельными языками, в грамматике каждого из них можно вскрыть общее основание, упрятанное под красивыми, правда, но все же только случайными и для серьезного дела ненужными одеждами метафор и метонимий.

Таков или приблизительно таков должен быть ход мысли в случае, когда предполагается, что логические формы слова, которые здесь и принимаются, очевидно, за твердую и неизменную составную часть форм синтаксических *, от последних совершенно независимы и абсолютно автономны в своем собственном бытии. Между тем, поскольку мы имеем все же дело с р е а л ь н ы м языком, как было выше обусловлено, этот тезис об автономности логических форм слова вовсе не так самоочевиден, как кажется. Вполне адекватная аргументация в его защиту отыскана быть не может, и прежде всего потому, что здесь снова путаются разные вещи, одновременно прикрывающиеся термином «язык» (вот тебе и передача логического «зерна» без тропа!). Последний понимается здесь то действительно как я з ы к, то как некоторый *logos*, всецело принадлежащий к сфере чистой логики и к грамматике имеющий отношение во всяком случае не непосредственное. Я берусь, например, утверждать, что нет большего заблуждения, чем мнение, будто язык науки, именно как я з ы к, лишен образности и совершенно очищен от своих качеств тропа. Пусть в пределе и тенденции научный язык есть действительно не что иное, как обнаженный термин, значит ли это еще, что он остается таковым и в р е а л ь н о м и з л о ж е н и и? Сколь бы «логично» ни было последнее, оно всегда все же будет изложением непременно через какие-то знаки, у которых никто не в силах отнять их собственное материальное и историческое бытие. А ведь это все, что нужно для тропа. Но, спросят, существует ли в таком случае вообще для всех единая, объективная истина? Очевидно, ответу я на это, что если и существует, то как истина вовсе не лингвистическая, а истина в прямом смысле н е з д е ш н я я, принадлежащая бытию идеальному.

Но в том мире, за могойлой,
Где нет образов, где нет
Для узанья, друг мой милый,
З д е ш н и х ч у в с т в е н н ы х примет... ²¹.

* Согласно маргиналии, здесь предполагалась ссылка на сходное мнение Шпета. См.: Шпет Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 43—45.

²¹ Баратынский Е. А. «Своеправное прозвание / Дал я милой в ласку ей...».

Видимая парадоксальность заключается здесь всего только в том, что научная истина, оставаясь для всех единой и объективной, вместе с тем, поскольку она в ы р а ж е н а, есть также некоторое звено в конкретной культурной истории. Будучи выраженной, она как социальный факт, как н а у к а в собственном значении этого термина занимает свое место в системе культуры античной, буддийской, славянской или буржуазной, рядом с литературой, искусством и прочими формами культурного выражения. Наука и в самом деле говорит об истинах вечных и объективных, но рассказывает она о них непременно все же на языке соответствующей культуры, без посредства которой сами эти истины оставались бы для нас вечно недоступным, за семью печатями запечатанным сокровищем. Нет, следовательно, единого языка и единой грамматики, пока не изобретена единая мировая культура²². Поэтому же не может быть также вполне адекватного перевода научного сочинения с одного языка на другой. Никакая попытка отыскать в этом отношении для научного языка какие-либо особые условия, в отличие от языка поэзии и литературы, например, уже а р г и о г и не выдерживают критики. Если в области научной литературы пользующийся переводом и в самом деле «рискует» несколько меньше, то это только потому, что в поэзии совсем особую роль играет сам язык с его собственным строением; содержание же все равно никогда не дано вполне адекватно — ни в науке, ни в поэзии, — его все равно приходится извлекать из знака сложными операциями критики и интерпретации. Стоит, однако, сообразить, что в иных условиях и научный язык может быть интересен как таковой, например, с точки зрения филолога, изучающего конкретную историю науки; или с точки зрения биографа данного ученого автора, не говоря уже о возможных многообразных интересах к научному языку со стороны лингвистической стилистики, — чтобы прийти к заключению, что судьба самого я з ы к а, как в поэзии, так и в науке, всегда останется одна и та же. Вовсе не «искажая» как принято думать, содержание, а только ставя его в иные условия интерпретации, всякий перевод вреден и неадекватен только в той мере, в какой он одну систему тропов подменяет другою *. П о д л и н н о с т ь выражения не гарантирует еще, разумеется, верного понимания:

Напрасно лепетал ты эллинские звуки,
Ты смысла тайного речей не разгадал²³,

но теперь понятно, по крайней мере, в каком смысле неизбежная неадекватность выражения, принципиальная «невыразимость» идеальной истины, прочными нитями связывает научное изложение с той системой культуры, в рамках которой оно возникло. Культура всегда есть некоторое к о н к р е т н о е ц е л о е, и наука как ее отдельное звено не может быть вырвана из общей системы культуры без того, чтобы не было нарушено это целое. Полемизируя с Максом Мюллером, который предлагал для целей научного изложения ограничиться четырьмя главными европейскими языками, милостиво оставляя прочим, так сказать «туземный», языкам возможность заниматься поэзией (старый, затасканный и все же

²² Дело здесь, разумеется, вовсе не в одних расовых, но также в социальных гесп. профессиональных, классовых, производственных, бытовых и т. п. условиях.

* Предположительно эта мысль должна была быть подкреплена маргинальной цитатой из Сэпира: «One can adequately translate scientific literature because the original scientific expression is itself a translation» (*Sapir E. Language. N. Y., 1921. P. 239*).

²³ *Фет А. А.* «На развалинах цезарских палат» (из цикла «Античный мир и антологические стихотворения»).

вечно соблазнительный рецепт!), Потебня писал: «Макс Мюллер хочет увековечить расстояние между языком науки и языком поэзии. Между тем расцвет поэзии в новой литературе везде сопряжен с уменьшением этого расстояния»²⁴. Формулировку эту, как легко видеть, можно развернуть так: выработка языка как следствие успехов поэзии создает почву и для успешного развития науки. Поэтому-то Пушкин, которого вспоминает здесь Потебня, и сетовал, обдумывая проблему русской прозы: «Ученость, политика, философия и о-р у с с к и еще не изъяснялись»²⁵ (разрядка моя. — В. Г.).

Но переведем все это на язык нашего анализа. Вернемся к основному противоречию, которое, как я пытаюсь показать, как бы изнутри разъедает идею всеобщей грамматики *gesp.* всеобщего языка. Противоречие это заключается в том, что все то в языке, к чему можно было бы применить характеристику «неизменного внутреннего» при «подвижном внешнем», неизбежно оказывается за пределами самого языка как *sui generis* исторической вещи, т. е. за пределами г р а м м а т и к и. В случае так называемой логической грамматики, повторяю, это вообще не требует никаких дальнейших доказательств. Здесь грамматическая форма без остатка отождествляется с морфологическим указанием, а на ее место становятся просто-напросто логические термины, именно как л о г и ч е с к и е и понимаемые: субъект, предикат и т. д. Нисколько не лучше, однако, обстоит дело, когда «твердое и постоянное внутреннее» отыскивается в языке, н е с м о т р я на признаваемое своеобразие грамматических форм и их модифицирующее значение для логического значения слова. Если и в этом случае нечто признается твердым и неизменным, то это естественно может относиться только к формам модифицируемым, а не модифицирующим, т. е., следовательно, опять-таки к формам логическим. Логическое же значение слова и в самом деле можно назвать «постоянным» и «неизменным» по отношению к тем подвижным и переменным нюансам, которые привносятся в него текучим, живым и вечно обновляющимся синтаксисом, — этой плотью и кровью языка. Но тогда и будем называть это л о г и к о й, а не грамматикой. Мы приходим, следовательно, к парадоксальному, нелепому даже, на первый взгляд, выводу. Всеобщая грамматика б ы л а б ы возможна, если б не эти синтаксические нюансы. Всеобщий язык б ы л б ы возможен, если б можно было вообразить язык, который не оказывал бы своим собственным предметным бытием этого модифицирующего воздействия на логическое значение. Иными словами, всеобщая грамматика и всеобщий язык тогда только получают *raison d'être*, когда мы говорим о них в применении к языку, лишенному своего собственного бытия, т. е. языку, у которого вообще нет никакой грамматики, к я з ы к у б е з с и н т а к с и с а. Предоставим разгадывать этот парадокс любителям утопий. Последние не перестают быть сами собой оттого, что прячутся за целыми, можно сказать, баррикадами эквивоканий. Пусть никогда не будет народов и классов — всегда останутся профессии. Пусть исчезнут этнические и антропологические различия (если, впрочем, исчезнут) — всегда останется социально-культурная иерархия. Явный утопический характер всеобщей грамматики,

²⁴ Потебня А. А. Язык и языки, по поводу статьи Макса Мюллера (*Deutsche Rundschau*, 1881, № 11) // Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 627. (раздел «Приложения»).

²⁵ Пушкин А. С. «(Причинами, замедлившими ход нашей словесности...)» (неопубл. черн. набросок).

которая, как и всякая иная утопия построена на мечте, будто могут когда-либо измениться онтологические условия бытия,— бьет в глаза. На деле, как и следовало ожидать, под луной ничто не ново.

IV

Я мог бы на этом и закончить, если б не хотел еще сделать свою аргументацию более отчетливой с помощью некоторых дополнительных сопоставлений, а также некоторых ограничений. Что касается сопоставлений, то они сами собою напрашиваются, если принять во внимание, что ближайшим соседом и родичем грамматики, возникающим к тому же как прямое следствие выше намеченного анализа грамматической формы, является поэтика. Грамматика, указывали мы выше, создает на логической основе троп, но ведь самый троп она еще не изучает. Между формами модифицирующими и формами модифицируемыми и отыскиваем теперь сами эти модификации и как особые поэтические формы слова. Троп, как следует из всего предыдущего, хотя и составляет минимальное условие поэзии, присутствует тем не менее не только в специфически-поэтической речи, но и во всякой иной, ибо реальная нетропированная речь — есть фикция. Так мы возвращаемся к учению, на русской почве представленному так называемой лингвистической теорией Потебни, который не побоялся сказать, что всякий язык есть поэзия,— разумеется, в потенции²⁶. Ошибка Потебни состояла лишь в том, что он слишком уж легко решил отождествить язык и символ, между тем как поэзия в своей конкретной и осуществленной полноте, а не минимально-необходимом условии, предполагает некоторого рода образный контекст тропов как условие символизации действительности и преобразования ее в «третью», «кажущуюся» — истину (Платон). Как бы то ни было, впрочем, этот образный контекст тропов как условие поэтического выражения только лишний раз подчеркивает близкую зависимость поэтики от синтаксиса, а «преобразующий» характер поэзии прочно связывает поэтику с тем, в чем преобразование совершается, т. е. с логикой. Если, таким образом, поэзия есть логика, преобразенная синтаксисом²⁷, то здесь и воз-

²⁶ Эта ссылка на Потебню не должна, само собою, пониматься как возвращение к специфическим ошибкам потебнианства. Я исхожу из убеждения, что очищенное от тех своих ошибок, которые были обусловлены обстоятельствами временными и социальными, учение Потебни снова способно заблестеть своими положительными и созидательными качествами как русское приложение гумбольдтовской традиции. Внимательное чтение «Мысли и языка», как мне кажется, легко обнаруживает те случайные и в конце концов внешние причины, в силу которых антиномии Гумбольдта под пером Потебни заговорили языком гербартианской испехологии. Гумбольдт, оказывается, «не мог оторваться от метафизической точки зрения, но он именно положил основание перенесению вопроса на психологическую почву своими определениями языка как деятельности» (Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Полн. собр. соч., 4-е изд. Пересмотренное и исправленное. Одесса, 1922. Т. I. С. 38. (разрядка моя.— В. Г.). Так, следовательно, научил Штейнталь Потебню принимать гумбольдтовское ἐνέργεια, которое на деле есть всего только ἔργον в его динамике, вечное становление духа! Но во всяком случае ничто теперь уже не оправдывает утверждения, будто наше антипотебнианство есть течение здоровое, как это высказал Г. Шпет (Эстетические фрагменты: III. Пг., 1923. С. 38): изгнание психологизма из поэтики и лингвистики вовсе не должно еще вести к оправданию поэтического и филологического футуризма.

²⁷ Таков конечный вывод из анализа синтаксических и поэтических форм слова в Эстетических фрагментах. См.: Шпет Г. Эстетические фрагменты. II. Пг., 1923. С. 56—79.

никает вопрос: не дает ли эта — пусть преобразованная — но все же логика основание утверждать возможность некоторого всеобщего учения в этой сфере поэтического преобразования? А priori на это можно ответить так: если и дает, то, очевидно, лишь поскольку мы можем настаивать на этом «все же», т. е. в той именно мере, в какой и преобразованная логика продолжает быть «просто» логикой. Таким образом, мы снова возвращаемся в порочный круг, который только что с такими усилиями оставили, так как очевидно, что в данном случае в качестве постоянного внутреннего основания модификации какой-то условной и пока еще не найденной «внешности» противопоставляется снова не что иное, как только модифицируемое. Если же мы не хотим отождествлять поэтическое с логическим и ставим себе задачей утвердиться в границах самой модификации, т. е. поэтического образного контекста, то нам остается только объявить внутренним сам этот контекст, иными словами — преобразованную логику именно как преобразованную. Тогда внешним окажется все, что входит в область поэтического языка. Стоит, однако, задать себе вопрос о месте поэтического синтаксиса в этом новом отношении, чтобы сразу же понять, что собственно язык есть здесь столько же внешнее, сколько с равным правом и внутреннее. Раз синтаксис присутствует здесь в самом внутреннем, в качестве условия самой поэтической модификации, то к мысли о всеобщей поэтике может быть применено все вышесказанное относительно всеобщей грамматики. Что же до дальнейшей характеристики поэтического, которое при ближайшем рассмотрении вообще оказывается столько же «внешним», сколько и «внутренним», столько же «содержанием», сколько «выражением», т. е. абсолютным и нераздельным их слиянием, — то ее можно здесь оставить и недосказанной.

Но все это пока только а priori. Попробуем теперь представить себе несколько более наглядно, что могло бы составить предмет такой всеобщей поэтики. Если оставить в стороне очевидно сюда не относящуюся область поэтической стилистики, обнимающую, например, просодию, метрику, все вообще материальные и синтаксические средства языка in usum poetae, — то в качестве основной и определяющей проблемы поэтики, исчерпывающей ее специфическое содержание, у нас останется композиция. Здесь, очевидно, и совершается слияние синтаксиса и логики. Но как раз в этой области и возникает соблазн обобщить до степени всеобщности подмеченные в разных системах поэтики сходные явления. Так начинает казаться, что возможно всеобщее учение о балладе, сонете или комедии; что всеобщими в нашем смысле признаками характеризуется тот или иной эпический жанр или новеллистическое построение и т. п. Стиль «стал типическим», — писал акад. Веселовский, иллюстрируя открытый им «эпический схематизм». «У певцов свой песенный Домострой... герои определенным образом снаряжаются к бою, в путь, вызывают друг друга, столуют; один как другой; все это выражается определенными формулами, повторяющимися всякий раз, когда того потребует дело. Складывается прочная поэтика, подбор оборотов, стилистических мотивов, слов и эпитетов: готовая палитра для художника»²⁸. Ответ на вопрос о подлинности подобной всеобщности — и притом ответ отрицательный — дан, однако, самим Веселовским в определении ее как всеобщности типической.

²⁸ Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики: I. Спикретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов // Веселовский А. Н. Собр. соч. (Поэтика). Т. I. СПб., 1913. С. 321—322.

Нетрудно видеть, что всеобщность типическая и всеобщность действительно всеобщая — это вещи совершенно разные. О подлинно всеобщей поэтике можно было бы говорить, если бы мы были вправе утверждать, например, что внутреннее отношение, дающее, положим, трагедию или сонет, непременно присутствует во всех без исключения системах поэтики и притом непременно с о д и н а к о в ы м жанровым значением. Подобно этому идея всеобщей грамматики предполагает, например, что какой-нибудь опатив или аблатив есть во всех языках, но только «по-разному» морфологически в них выражен. Но точно так же, как есть языки вовсе безо всяких падежей, а, с другой стороны, в финских языках к примеру есть и такие падежи, которые никакому рационалисту вовсе не снились²⁹, так и народная словесность не знает, что такое трагедия, а сонет Шекспира, по своей конкретной жанровой функции, по своему внутреннему поэтическому назначению, есть нечто существенно отличное от сонета русских символистов. В э т о м смысле, следовательно, всеобщая поэтика, неизбежно предполагающая возможность всеобщего синтаксиса, есть такая же химера и утопия. Совсем иное дело, однако, те типические совпадения, которые обнаруживает в различных поэтических системах Веселовский. Обращение к этой новой проблеме и составит для нас заключительный переход к тем ограничительным дополнениям, которыми я хочу завершить свое рассуждение.

Из биографии Веселовского мы знаем, что с вопроса, что такое «всеобщая литература» и началась собственно его ученая деятельность. На вопрос этот молодой Веселовский отвечал, что никакой «всеобщей литературы» естественно не существует, но что отдельные литературы отдельных народов обнаруживают некоторые общие черты, — и постольку возможна всеобщая и с т о р и я литератур. Предметом ее должны быть «частные литературы в их сродных чертах»³⁰. Ответ этот имеет, однако, два смысла, и кажется, что у Веселовского они не различаются. Во-первых, эта всеобщая история литературы может быть понята просто как сводное изображение отдельных литератур в их истории и развитии. Тогда простое сопоставление их дает уже меру сравнения, и так как Веселовский настойчиво прививал литературоведению так называемый сравнительный метод, по образцу индоевропейской лингвистики, то можно думать, что именно так он себе свою науку и представлял. Но речь здесь может идти действительно и о т и п и ч е с к о м только сходстве. В этом случае внимание историка фиксируется уже не на сводном сопоставлении различных литератур, и не сравнительный метод служит тогда для него мерою вещей. Проблемы с т и л я и культурного генезиса заслоняют тогда от исследователя все остальное и уже э т и м и масштабами руководится он тогда в своих обобщениях и индукциях. Такова в сущности последняя причина того, например, обстоятельства, что под ярлыком в с е о б щ е й литературы университетская и академическая практика выделяет в особый предмет и в особую кафедру историю одних е в р о п е й с к и х литератур³¹. Действительно, судьба европейских литератур обладает несомнен-

²⁹ Марти, разумеется, совершенно прав, когда говорит, что все это различия «только» в области внутренней формы. Но как будто этого недостаточно для того, чтобы перечеркнуть сверху донизу все теории всеобщей г р а м м а т и к и! См.: *Marty A. Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zu Logik und Psychologie // Marty A. Gesammelte Schriften. II. Bd. 1. Abt. (XIII) III. Halle, 1918. S. 62—67.*

³⁰ См.: *Энгельгардт Б.* Александр Николаевич Веселовский Пг., 1924. С. 32—33.

³¹ Сам Веселовский в своей «Поэтике» переходит эти европейские границы лишь

ным внутренним единством, хотя оно и выражается в каждой отдельной европейской литературе своеобразно с ее национальными особенностями. Ренессанс, классицизм, романтизм, натурализм, символизм, — далее психологический роман, гражданская лирика, байроническая поэма и т. п. и т. п. — все это проблемы для каждой национальной европейской литературы приблизительно одинакового значения и содержания. Во всяком случае тут есть общий контекст развития и осуществления. Именно в меру наличности этого контекста мы и можем все эти литературы рассматривать как одну литературу одного народа, — возможность, которую вне рамок типического рассмотрения Веселовский справедливо отвергал.

Но нам пора теперь сделать отсюда нужные выводы для лингвистической науки. Как известно, Шарлю Балли мы обязаны указанием на соответствующую проблему в области грамматики, но я не знаю, использовано ли кем-либо это указание практически. Что же касается того обстоятельства, что у Балли эта проблема указана в рамках стилистики, то это только подчеркивает смысл ее и значение для моей темы. Я имею, разумеется, в виду те параграфы «французской стилистики» Балли, в которых он утверждает наличие особой «общевропейской стилистики» как выражения некоторой общей «*mentalité européenne*»³². «Даже и для поверхностного наблюдателя, — пишет Балли, — современные языки так называемых „цивилизованных“ стран обнаруживают бесчисленные сходства, а в их непрерывной эволюции языки эти не только друг от друга удаляются, а наоборот все более между собою сближаются»³³. Разумеется, что такие же проблемы возможны и в других областях, — например, можно себе представить какой-либо международный жаргон биржевиков или шахматистов, общую стилистику партийно-политической агитации, церковного богослужения и т. п. С этой точки зрения и общая грамматика одного какого-либо народа, оставляющая без внимания его социальную диалектологию, например, также базируется на некоторых типических сходствах и совпадениях в синтаксисе всех диалектов и всех профессий, и поэтому о такой грамматике можно с полным правом говорить как о грамматике действительно русской или польской, а не только как о грамматике соответствующих литературных языков. Во всех этих случаях о грамматических формах речи действительно можно говорить с некоторым приближением, далеким, разумеется, от признания всеобщности соответствующих фактов, как о «постоянном внутреннем», по отношению к изменчивой и подвижной, осмысленной через морфемы, фонетике. И именно в этой мере факты этого рода ограничительно дополняют наше общее решение проблемы всеобщей грамматики.

Последнее ограничение, о котором я должен еще упомянуть, это необходимость различать всеобщую грамматику *resp.* поэтику и теорию языка как *resp.* поэзию. С другого же конца эти «теории» должны различаться с соответствующими проблемами философии — философии языка и философии поэзии. Пусть действительно у разных языков и у разных социальных единиц разных синтаксис; пусть у каждой поэтической школы и у каждого литературного законодателя своя поэтика. Однако в педагогических и так сказать научно-ориентировочных целях не только полезно, но и необходимо бывает взглянуть на сами эти несо-

в той мере, в какой он привлекает фольклорный материал, где есть свое типическое и свой стиль.

³² *Bally Ch. Traité de stylistique française. V. I. § 25 — Étude d'autres langues modernes. P. 22 — 23; § 26 — La mentalité européenne. P. 23 — 24. Heidelberg, 1921.*

³³ *Bally Ch. Ibid. P. 22.*

падения в одной картине с р а з у, чтобы освежить свою память наблюдением над тем, что вообще в о з м о ж н о и какие частные формы в с т р е ч а ю т с я в соответствующих областях. Разнообразный и богатый опыт, который заключен в изученных языках и осуществленных системах поэтики, требует о б о б щ е н и я. Каждый крупный этап в науке и поэтическом развитии принуждает подводить и т о г и, чтобы на основе уже накопленного опыта судить о фактах, обещающих опыт новый. Так после того, как европейцам стал известен санскрит, создалась т е о р и я индоевропейской грамматики, а развитие греческой трагедии завершилось «Поэтикой» Аристотеля. Именно то обстоятельство, что всякая теория есть обобщение из наблюдаемого, и побуждает обычно представителей эмпирического знания с недоверием и подозрительностью относиться к «теориям, не основанным на фактах». Это, разумеется, и право и обязанность их. Так и литературная критика вправе упрекать поэтические школы, начинающие с деклараций и теоретизирующих манифестов. Недоразумения, однако, начинаются тогда, когда под видом теории, «не основанной на конкретном материале», громят учение философское. Провести эту грань тем более необходимо, что обычно в научной практике теории эти, из справедливых педагогических соображений, преподносятся вместе с обрывками соответствующих философских положений, в виде так называемых «Введений в языковедение», «Теорий поэзии» или «Теорий словесности» и пр. Поскольку, следовательно, речь идет о н е философском материале этого рода научной литературы, заимствованном из различных конкретных структур выражения и порою состоящем из некоторых типологических классификаций, постольку мы можем и его условно характеризовать как материал «всеобщий». Но, разумеется, только условно.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

XXIX СЕССИЯ ПОСТОЯННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АЛТАИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

15—21 сентября в Ташкенте проходила XXIX сессия Постоянной международной алтаистической конференции — The Permanent International Altaistic Conference — PIAC (ПИАК). Впервые со времени создания ПИАК (Майнц, 1957) встреча алтаистов проводилась в Советском Союзе. В работе сессии приняли участие более трехсот ученых из 16 стран. Президентом XXIX сессии ПИАК по сложившейся традиции стал председатель Оргкомитета страны-хозяйки чл.-корр. АН СССР В. М. Солнцева.

Открывая сессию, В. М. Солнцева сказала:

Уважаемые участники конференции! Дорогие коллеги!

Впервые в СССР, в столице гостеприимного Узбекистана, проводится очередная сессия Постоянной международной алтаистической конференции. Для советских ученых большая честь принимать в своей стране выдающихся алтаистов из разных стран Европы, Азии, Америки. И в нашей стране имеется большое количество тюркологов, монголистов, тунгусо-маньчжуроведов и других ученых, которых в широком смысле слова можно назвать алтаистами.

Данная конференция примечательна тем, что она проходит в стране, где проживает большинство народов, которых по языковому признаку традиционно называют алтайскими. Эти народы сыграли и играют важную роль в мировой цивилизации. Развивая свою самобытную культуру, они имели широкие контакты с многими народами Азии и Европы, оказывали на них свое влияние и, наоборот, испытывали на себе их культурное и экономическое воздействие. Поэтому изучение культуры, истории, литературы и языков алтайских народов имеет большое значение для развития смежных гуманитарных наук.

Алтаистика — часть востоковедения, занимающаяся преимущественно классическими исследованиями, т. е. исследованиями историко-филологического и культуроведческого характера. Однако в наши дни тюркология, монголистика и другие востоковедческие дисциплины все чаще обращаются к современной жизни соответствующих народов. Но чтобы лучше понять современность, нужно хорошо знать историю народа, историю культуры, литературы и языка, т. е. надо знать традиции. Это тот фундамент, который делает более понятными события сегодняшних дней. Алтаистика как раз и создает его.

В алтаистике имеется много нерешенных и спорных проблем. И это понятно, изучение жизни народов так же неисчерпаемо, как неисчерпаема сама жизнь народов.

Одной из старых, я бы сказал, классических проблем алтаистики является алтайская гипотеза, т. е. прежде всего лингвистическая проблема взаимоотношения алтайских языков. Я думаю, что решение ее невозможно без учета контактов алтайских народов в различные периоды их истории.

Алтаистика — комплексная отрасль востоковедения и непрерывно ведущиеся исследования обогащают науку все новыми и новыми знаниями. Алтаистические и, вообще, международные конференции и встречи ученых — важная форма взаимного обмена идеями, выявления достигнутого уровня современной науки, способствующая лучшему взаимопониманию ученых разных стран, а это является вкладом в укрепление дружбы народов и мира на нашей планете.

Президиум АН СССР и президиум АН УзССР оказали содействие и большую помощь в организации нашей конференции. Прделана большая подготовительная работа, и я надеюсь, что работа PIAC-XXIX пройдет успешно.

Хочу выразить глубокую благодарность ЦК Компартии Узбекистана, правительству Узбекской Советской Социалистической Республики, президиуму АН УзССР

и всем узбекским коллегам за предоставленную нам возможность встретиться здесь, в Ташкенте.

Разрешите объявить XXIX Международную алтаистическую конференцию открытой и пожелать всем участникам успешной работы.

Участников форума тепло приветствовали заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР С. У. Султанова, президент АН Узбекской ССР акад. П. К. Хаббуллаев, генеральный секретарь ПИАК проф. Д. Синор (США). Обращаясь к присутствующим, проф. Д. Синор сказал:

Доброе утро!

Я уже далеко не молод и алтаистике посвятил более полувека, занимаясь изучением Центральной Азии и вообще Востока.

На протяжении более четверти века я — генеральный секретарь ПИАК. Данная, XXIX сессия ПИАК является осуществлением моей давней мечты. Позвольте мне это вкратце объяснить.

В подготовительных материалах к конференции указывалось, почему Советский Союз следует считать ведущим в исследованиях по алтаистике: СССР составляет основное поле научного поиска, особенно в тех республиках, которые относятся, как и Узбекистан, к алтаистическому миру.

В алтаистических исследованиях настоящего и прошлого Центральной Азии советской школе отводится особое место. Многие из того, что является историей алтайских народов, происходило на территории, входящей в состав СССР. Сюда относятся значительные районы Центральной Азии, большая часть Сибири и Арктические зоны, которые населяют тунгусские народы. Выдающиеся археологические работы, которые открыли нам древние цивилизации, некогда процветавшие на территории теперешних Казахстана, Туркмении и Киргизии, пролили свет не только на прошлое этих районов, но и помогли нам лучше понять и объяснить более ранние периоды человеческой истории. Таким образом, естественно, что меня радует то, что сессия ПИАК впервые смогла состояться в СССР и на территории одной из среднеазиатских тюркоязычных республик.

Советские ученые присутствовали на предыдущих сессиях нашей организации, ряд из них (В. И. Цинциус, А. Н. Коновов, Н. А. Баскаков) награждены нашей Золотой медалью.

ПИАК — международная организация, о чем говорит за себя само название. У нас нет иной цели, кроме как содействовать международному сотрудничеству в области алтаистических исследований в самом широком смысле слова. В основе научной компетентности лежит обмен информацией, и наши встречи способствуют такому широкому обмену научными идеями. Сам размах этой сессии, число участников, среди которых я узнаю много друзей, свидетельствуют о том, что здесь идеалы, которыми живет ПИАК, поняты правильно и встречены с большой симпатией.

На этой стадии никто не может требовать большего, но я уверен в том, что, когда наступит время расставания, мы разойдемся с оправданными надеждами.

Дорогие коллеги! Как я заметил, на этой конференции осуществилась моя мечта. До сих пор, за время 30-летнего существования ПИАК, сессии проводились в 13 государствах, и я очень рад, что в этот список могу теперь включить и ваше отечество, которое внесло такой большой вклад в алтаистику. От имени ПИАК я выражаю сердечную благодарность моим коллегам из Москвы, Узбекистана, взявшим на себя сложную задачу выступить в роли радушных хозяев и приять нас у себя дома.

Подлинная наука основана на обмене информацией, на том, чтобы одни ученые могли бы учитывать результаты работы других. В этом смысле наука по своей сути интернациональна. Существование ПИАК основано на признании этого факта. И мы гордимся тем, что слово *международная* входит в название нашей организации.

Я предвижу, что у нас будет много возможностей ближе познакомиться друг с другом и с научными работами друг друга. И я предлагаю всем тем, кому довелось впервые посетить Узбекистан, с пользой провести время в этой гостеприимной республике.

Были заслушаны приветственные послания вице-президента АН СССР акад. П. Н. Федосеева и акад. А. Н. Коновова, а также краткие выступления. Х. П. Фитце (ГДР), К. Цегледди (ВНР), З. Коркмаз (Турция), И. Шима (ЧССР).

Работа сессии протекала на двух пленарных заседаниях и трех секциях: 1) лингвистической; 2) литературы, фольклора и искусства; 3) исторической.

Почти половина представленных на XXIX сессии докладов и сообщений¹ была оглашена на лингвистической секции, что вполне оправдано тем большим традиционным интересом, который проявляют ученые к проблемам генетических связей, контактирования и типологических схождений между языками обширной алтайской языковой семьи, а также к структуре отдельных языков.

В секции лингвистики работали четыре подсекции: 1) проблемы алтайского языкознания, 2) тюркское языкознание, 3) проблемы грамматики, 4) монгольское и тунгусо-маньчжурское языкознание. По количеству прочитанных языковедческих докладов XXIX сессия превзошла все предшествующие сессии ПИАК, в том числе и такие представительные, как XII (Берлин, 1969) и XIV (Сегед, 1971). Особенностью данной сессии было также тематическое разнообразие докладов, подводивших итоги исследований в разных отраслях алтаистики и поднимающих как сугубо теоретические, так и весьма конкретные проблемы, которые решаются и на материале всех групп языков, или только одной, или даже отдельного языка. Доклады и сообщения вызвали оживленную дискуссию, в ходе которой анализировались важнейшие научные факты, предлагались оригинальные решения, высказывались сомнения.

Выступавшие отметили, что на XXIX сессии алтаистика представлена не только маститыми учеными, но и молодыми исследователями. Это свидетельствует о неслабевающем интересе к алтаистической тематике представителей разных научных центров, в том числе и специалистов смежных областей языкознания.

Обзор основных направлений современной алтаистики был сделан в пленарном докладе чл.-корр. АН СССР Э. Р. Тенишева (Москва). В нем было подчеркнуто, что в каждом из трех направлений нынешнего алтайского языкознания — генетическом, типологическом и прагматическом — накопленные в последние годы результаты все же не могут служить вескими аргументами в пользу признания несомненного генетического родства всех групп алтайских языков, поэтому не случайно предлагаются и другие подходы к квалификации связей между этими языками. Генетической линии исследований необходимо еще подтвердить свои основные постулаты. Однако, видимо, только развитие сравнительно-исторических исследований по всем ярусам языка может привести к однозначным решениям, чему благоприятствует и новый уровень в изучении отдельных групп языков. Неполностью раскрыты пока возможности типологической алтаистики, но успехи ареальной лингвистики, общей типологии и особое внимание к строю алтайских и других типологически сходных или контрастирующих языков позволяют надеяться на продвижение в этой области. Большой вклад стала вносить и прагматическая алтаистика, достижения которой (в частности, в области фонетики отдельных языков, синтаксиса, лексикографии и пр.), дают возможность по-другому взглянуть на грамматику этих языков. Таким образом, можно отметить, что традиционные проблемы алтаистики сейчас наполняются новым содержанием, а современные методы изучения языков открывают иные пути для решения спорных вопросов. Высказанные в обзорном докладе поло-

¹ К началу конференции были опубликованы тезисы докладов советских участников [1], а также специальный выпуск журнала «Узбекский язык и литература» с докладами и статьями советских и зарубежных ученых [2].

жения нашли подтверждение в ряде докладов, где рассматривались общие проблемы родства алтайских языков, а также проблемы их типологической близости.

В центре внимания на заседании секции алтайского языкознания были проблемы сравнительно-исторического исследования и языкового контактирования в алтайском ареале. С интересом были заслушаны доклады В. Я. В. С. И в а н о в а (Москва) и Т. Т е к и н а (Турция)².

Оценивая характер родства алтайских языков, Л. Г. Г е р ц е н б е р г (Ленинград) рассмотрел два пути верификации гипотезы их генетического единства — внутренний и внешний: 1) установление сходных слов, фонетических соответствий (здесь еще много дискуссионного), системных соответствий в морфологии (они в алтаистике на уровне лишь предварительных разработок); 2) обнаружение следов гипотетически реконструированного праязыка в виде заимствований в других языках, в частности в индоевропейском.

Подчеркнув, что решение алтайской проблемы есть задача комплекса наук исторического цикла — компаративистики, истории, археологии, этнографии, фольклористики и др., И. В. К о р м у ш и н (Москва) в докладе «Актуальные проблемы алтаистики» привел примеры применения семантической реконструкции с опорой на морфонологическую структуру праязыковых корней и на динамику сем (ср.: тюрк. *адак* ~ *айак* «нога» // монг. *адак* «конец»).

С. А. С т а р о с т и н (Москва) в докладе «Проблема генетической общности алтайских языков» привел примерно 100 общих слов базисной лексики, установленных им на основе принципов скорректированной традиционной фонетической реконструкции. Глоттохронологическая обработка результатов на основе дополненного списка Сводеша позволила автору датировать алтайское единство 5—6 тысячелетиями до н. э., такой древностью, видимо, объясняется специфика проявления генетических связей между отдельными алтайскими языками; единство корейского и японского языков внутри алтайской общности определяется в пределах 3—4 тыс. лет до н. э. По мнению автора, насущной задачей в настоящее время является создание этимологического словаря алтайских языков.

Интересны были сообщения, затрагивающие проблемы исторической фонетики. А. М. М а м е д о в (Баку) настаивал на комплексном подходе к изучению фонетического строя алтайских языков. В докладе Е. А. Х е л и м с к о г о (Москва) «О двух фонетических законах в алтайских языках» предложено уточнение проявлений внутритюркского соответствия $z : p$ как результата утраты контраста между p^1 и p^2 в составе консонантных сочетаний (ср.: *bāz* : *bārt* «железá») и рассмотрен закон расщепления в монгорском языке срединного глухого согласного (смычного и аффрикаты), вызвавший существенные изменения звукооблика слов.

А. М. Ш е р б а к (Ленинград) в докладе «Проблема ротацизма и перспективы дальнейшего изучения тюркско-монгольских языковых связей» развивал положение о том, что ротацизм в чувашском языке не insignificant, поэтому в плане алтаистики следует и далее выяснять древнейшие связи тюркских и монгольских языков для последовательного выделения в последних тюркских элементов и собственно монгольского фонда. Н. Б. Б а д г а е в и Э. У. О м а к а е в а (Элиста) остановились на общеалтайской фреквенталии — спирализации c ($c > x > \theta$) и охарак-

² Тексты докладов Вяч. Вс. Иванова, Т. Текина, В. И. Рассадина, Г. Ц. Пюрбева, Е. А. Кузьменкова и И. Д. Бураева публикуются в данном номере журнала.

теризовали ее ареальные проявления; они считают, что благоприятные условия для данного процесса создавались контактированием языков в разные периоды с «хакающими» адстратными ареалами.

В докладе А. А. Б у р ы к и н а (Ленинград) «К изучению имен числительных в алтайских языках» предпринята попытка показать, что известные расхождения объясняются разной техникой счета у отдельных этнических групп (загибание/разгибание пальцев от большого пальца к мизинцу или наоборот); с учетом этих поправок удастся возвести многие алтайские числительные к единой системе-архетипу на основе предложенных автором фонетических соответствий.

В еще одной серии докладов рассматривались отдельные вопросы изучения фонетики, лексики, грамматики и синтаксиса конкретных алтайских языков в свете приложения этих данных к проблемам алтаистики (см.: Х. Г. Нигматов, Г. А. Абдурахманов, К. М. Абдуллаев, А. Нурманов, В. А. Никонов, В. А. Андреев, Л. М. Горелова, Т. А. Пан, Т. Ш. Кадыров — СССР; Н. Юдже — Турция).

Изучение различных аспектов контактирования алтайских языков — одно из важнейших направлений в области алтаистики, позволяющее выделить позднейшие наслоения и объяснить условия формирования лексического фонда в древнейшие эпохи. Именно поэтому на XXIX сессии ШИАК значительное место было уделено проблемам языковых контактов, рассматриваемых на конкретном материале, лексических параллелях разного объема (нередко нескольких слов).

В докладе чл.-корр. АН СССР В. М. С о л ь ц е в а «К вопросу о типологии языковых общностей» развивалась идея о возможности возникновения союза родственных языков (языковой союз II), в то время, как Н. С. Трубецкой понимал языковой союз как некую общность неродственных языков (языковой союз I). В языковом союзе II обязательно наличествует «врожденное» структурное сходство, в другом оно «благоприобретенное». Следовательно, алтайские языки в любом случае можно считать языковым союзом и пользоваться соответствующей методикой его изучения. Отличительной особенностью II типа является уменьшение структурного сходства языков в результате их дивергентного развития, причем языки в таком союзе приобретают на новой основе общие черты, накладывающиеся на первичное структурно-типологическое сходство. Алтайские языки в структурно-типологическом отношении занимают промежуточное положение между и.-е. языками и языками Восточной и Юго-Восточной Азии. Сравнение этих трех групп языковых общностей позволяет выделить как общие, так и отличительные для разных союзов черты. Общие черты являются, видимо, надтипологическими, это — особенности языковых систем как таковых. Вторая группа признаков базируется на морфологическом устройстве языков. Только третья группа общих черт, возникающих или при взаимовлиянии разных языков (результаты родства), или на базе генетических связей (результаты родства), позволяет выделять языковые союзы и сравнивать их.

К. М. М у с а е в (Москва) считает, что изучение контактов тюркских языков с другими языками в их прошлом и современном состоянии с применением системного подхода может способствовать раскрытию истории тюркских языков, причем проясняются также связи внутри алтайской языковой общности. Докладчиком были охарактеризованы хронологические ступени таких контактов и очерчены ареалы наиболее древних и интенсивных связей.

З. К о р к м а з (Турция), рассмотревшая общие для тюркских и мон-

гольских языков элементы и выявившая многочисленные параллели в области морфологии, подчеркнула важность сравнительных исследований не только для доказательства родства указанных языков, но и для решения некоторых проблем истории тюркских языков. Предметом обсуждения были и разные аспекты монгольско-тюркских связей, фиксируемых в разные исторические периоды и на различных языковых уровнях, в частности: в письменных памятниках средневековья (Э. А. Умаров, Х. А. Дадабаев — Ташкент), в сфере фразеологии и идиоматики (С. К. Кенесбаев и С. С. Кенесбаева, Алма-Ата; З. Г. Уракин, Уфа; К. Коппе, ГДР); в отдельных лексико-семантических группах (Д. Х. Базарова, К. А. Шарипова — Ташкент; Ц. Б. Будаев, Улан-Удэ; Э. Ч. Бардаев, С. С. Харькова — Элиста; А. З. Абдуллаев, Баку и др.), в сфере топонимики и ономастики (Л. В. Шулунова, Улан-Удэ; С. К. Караев, Ташкент). Многие докладчики при иллюстрации лексико-грамматических сходжений выходили за пределы попарных сопоставлений и привлекали тунгусо-маньчжурские, японские, корейские, а также уральские и другие параллели. О бурятских материалах в коллекции Г. Фуругельма, бывшего в середине XIX в. в Сибири, рассказал П. Аалто (Финляндия).

Рассматривались также проблемы просодических характеристик и интонационной организации речи. Так, Т. С. Есенова (Элиста), сопоставляя интонационные параллели в монгольских и тюркских языках, поставила вопрос о причинах близости интонационных рисунков (типология строя или контакты?). Доклад Ю. В. Щеки (Москва) был посвящен выделению интонологических единиц на основе экспериментального исследования ритма, мелодики и музыкально-гармонических характеристик турецкой разговорной речи.

Интерферентные явления в контактирующих языках были темой докладов А. А. Дарбеевой (Москва) — на материале монгольских языков, Ф. Елоевой и Е. Перехвальской (Ленинград) — на материале дальневосточного контактного ареала.

Огузский ареал тюркских языков — один из наиболее представительных — контактировал со многими родственными и неродственными языками. Характеристике адстратных и субстратных явлений и методике их выделения был посвящен доклад Н. А. Баскакова (Москва).

Е. Боев (НРБ) предложил свою периодизацию тюркско-болгарских языковых связей, выделив три периода: общеславянско-хуннские связи (I—IV в.), славяно-болгарские/булгарские (V—XIV в.) с тремя подпериодами и болгарско-турецкие/османские (XV—XX в.). Диалектной дифференциации армяно-кыпчакского языка посвятил свой доклад Э. Трыфянский (ПНР), отметивший желательность статистического компьютерного анализа всех существующих армяно-кыпчакских текстов.

Ирано-тюркские контакты рассматривались на конкретных примерах в докладах Н. Х. Мамедова и И. Т. Мамедова (Баку), Б. А. Ахмедова и Р. Г. Мукминовой, М. Исхакова (Ташкент). Определению возможных гунских заимствований в языке готов посвятила свое выступление А. А. Исхакова (Ташкент). В докладе С. Е. Яхонтова (Ленинград) «Языки северных соседей китайцев в I тыс. до н. э.» предложена своеобразная классификация языков (народов) региона, основанная на сведениях китайских исторических сочинений.

Особо следует выделить доклады, посвященные лексико-грамматическим сопоставлениям внутри отдельной языковой группы, поскольку в них

широко использовались приемы ареальной лингвистики. Д. Г. Тумашева (Казань) рассмотрела историко-этнические и языковые связи сибирских татар, Э. Ф. Чиспииков (Новокузнецк) предложил классификацию языков южной части Сибири, У. Д. Доспанов (Нукус), исследующий каракалпакский язык, поделился своими наблюдениями о контактах родственных тюркских языков. Лексические параллели в киргизском и южносибирских тюркских языках в свете их историко-культурной общности анализировала акад. АН КиргССР Б. О. Орузбаева (Фрунзе). В докладе М. З. Закиева (Казань) содержался вывод о том, что исторические контакты тюркских и финно-угорских племен и народов в районе Волго-Камья привели к образованию волгокамского языкового союза, комплексное изучение которого, по мнению автора, может пролить свет и на этнолингвистические процессы региона. Исходя из того, что тюрко-монгольские лексические параллели в тюркских языках Волго-Камско-Уральского региона недостаточно выявлены, А. Г. Шахулов (Уфа) предложил новую методику их системного изучения и этнолингвистической интерпретации.

В пленарном докладе акад. АН КазССР А. Т. Кайдарова «Культ слова у тюркских народов» рассматривались древнейшие воззрения тюрков на слово (*сөз/сүз*), которые дошли до наших дней и проявляются в виде особых традиций и обычаев. С культом слова связаны и различные формы речевых запретов. Об одном из них — табу в системе личных имен у калмыков — говорилось в докладе Г. С. Биткеевой (Элиста). Роль лексико-семантической группы слов, обозначающих речевую деятельность, в контексте этнокультурного развития тюркских народов раскрыл в своем докладе И. К. Кучкартаев (Ташкент).

Изучение письменных систем в сравнительном плане может стать ценным источником для установления древних фонологических закономерностей; об этом доложили П. Ц. Биткеев (Элиста), использовавший материалы монгольских языков, имеющих богатую письменную традицию, и Дж. Р. Н. Кинг (США), который привлек данные старокорейской письменности.

В нескольких докладах получила развитие тематика типологического анализа алтайских языков. Д. М. Насилов (Ленинград) высказал предположение, что структурно-типологическая общность многих урало-алтайских бивербальных конструкций (в частности, с акциональной семантикой) может покоиться не на генетических связях языков, а на единстве отражательного и интерпретационного процессов в сознании носителей разных языков, а схожая модель формируется на основе агглютинативной типологии.

Серия типологических докладов была посвящена проявлению в алтайских языках лексико-грамматического синкретизма и выяснению закономерностей и особенностей конверсии, что иллюстрировалось различным материалом. О конверсии имен существительных докладывали Ф. А. Ганиеви и Р. А. Юналеева (Казань), об образовании служебных слов и морфем (на монгольских примерах) — М. Н. Орловская (Москва), С. Л. Чарков (Ленинград), семантические сдвиги в служебных именах в тюркских языках анализировал Е. А. Поцелуевский (Москва). В. М. Алпатов (Москва), оценивая значение японской лингвистической традиции для описания алтайских языков, подчеркнул важность таких традиционных понятий, как морофонема (*он*) и слово (*го*), отражающих лингвистическую интуицию носителей японского языка.

Цикл докладов был посвящен специально проблемам этимологии слов или отдельных служебных морфем в алтайских языках: К. М. Мухамеджанов — Ташкент, Ш. В. Габескирия — Тбилиси, А. В. Вовин — Ленинград, Ш. З. Бахтиев — Баку. Х. Шайнхардт (ФРГ) в докладе «Народная этимология турецких топонимов и их лингвистическая классификация», опираясь на фольклорные материалы, установил три этапа адаптации турецким населением греко-византийских топонимов и пришел к выводу, что предложенный им метод применим также для анализа тюркской топонимии Центральной Азии. Ряд болгарских и бургасских слов в средневековых мусульманских исторических памятниках проанализировал И. Г. Добродомов (Москва).

На сессии широко обсуждались текстологическая проблематика и вопросы, связанные с историей письма и изучения памятников письменности. В пленарном докладе А. Рона-Таша (ВНР) было рассмотрено происхождение и развитие восточнотюркского рунического письма. О. Ф. Серткая (Турция) в докладе, прочитанном на заключительном пленарном заседании, предложил новую интерпретацию спорных фрагментов рунического памятника в честь Тоньюкука. Д. Д. Васильев (Москва) и В. А. Семенов (Ленинград) ознакомили с последними находками руноподобных эпиграфических памятников в Туве.

Чл.-корр. АН УзССР Э. И. Фазылов (Ташкент) анализировал итоги и перспективы тюркской текстологии. Рассматривались вопросы языковой принадлежности среднеазиатских и золотоордынских тюркских литературных памятников XIII—XIV вв. (Ш. Шукуров — Ташкент), изучения «северокавказского тюрки» XVI—XIX вв. (Г. М.-Р. Оразев — Махачкала), преемственности лексики в рукописных словарях к сочинениям Алишера Навои (Б. Хасанов — Ташкент). Оригинальная интерпретация отдельных фрагментов древнетюркских памятников и произведений Ахмада Ясави содержалась соответственно в докладах Л. Ю. Тугушевой (Ленинград) и А. Бодроглигети (США).

Как обычно, в программу конференции входили и проблемно-информационные сообщения. Доклад Х. П. Фитце (ГДР) был посвящен вопросу использования ЭВМ при создании большого «Монгольско-немецкого словаря» на 40 тыс. слов. Л. Р. Концевич (Москва) выступил с докладом «Корейский язык в алтаистических исследованиях». И. С. Сеидов (Баку) осветил место алтаистической тематики на страницах журнала «Советская тюркология».

Живой интерес вызвали выступления Чень Вэй (КНР), рассказавшей об алтаистических исследованиях, ведущихся в Центральном институте национальностей Академии общественных наук Китая, и обзор работ узбекских ученых, данный в пленарном докладе директора Института языка и литературы АН УзССР Б. А. Назарова.

На заключительном пленарном заседании после докладов были заслушаны отчеты о работе секций и принят итоговый документ XXIX сессии ПИАК.

Состоялась церемония вручения Золотой медали ПИАК профессору Будапештского Университета Карою Цегледи за цикл работ в области алтаистики. В состав нового комитета по присуждению Золотой медали ПИАК был избран советский ученый Б. А. Назаров.

С краткими речами выступили зарубежные гости: С. Лувсанвандан (МНР), И. Лауде-Циртаутас (США), Е. Боев (НРВ), О. Хирохиро (Япония), Ж. Какук (ВНР). Они выразили

глубокое удовлетворение тем, что конференция проходила в Узбекистане, где алтаистика «у себя дома» (Е. Боев), и благодарили ее организаторов, создавших прекрасные условия для широкого диалога ученых разных стран, а также ознакомления с материальными и духовными ценностями узбекского народа.

В заключительном слове проф. Д. С и н о р, выражая благодарность организаторам XXIX сессии ПИАК, сказал, что надежды, возлагавшиеся на эту сессию, оправдались. Он еще раз подчеркнул, что международное сотрудничество не только двигает науку, но и создает взаимопонимание между государствами и народами.

Работа XXIX сессии ПИАК прошла в атмосфере дружеского сотрудничества, свободного и конструктивного обмена мнениями и поэтому, как отметил, закрывая сессию, чл.-корр. АН СССР В. М. С о л н ц е в, она займет заметное место в истории ПИАК.

Участники XXIX сессии Постоянной международной алтаистической конференции приняли обращение к ученым мира, в котором содержится призыв объединить усилия в борьбе за предотвращение ядерной войны, грозящей гибелью цивилизации человечества.

Галимова Г. А. (Москва), Насилов Д. М. (Ленинград)

ЛИТЕРАТУРА

1. Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXIX сессии Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC). Ташкент, сентябрь, 1986 г. Т. I. История. Литература. Искусство. Т. II. Лингвистика. М., 1986.
2. Ўзбек тили ва адабиёти. 1986. № 4. (на русск. и узб. языках).

ИЗ ДОКЛАДОВ, ПРОЧИТАННЫХ НА XXIX СЕССИИ ПИАК

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

К ПРОБЛЕМЕ ТОХАРО-АЛТАЙСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Вопрос о вероятных алтайско-тохарских лексических связях был поставлен достаточно давно [1]. Но его решению препятствовала прежде всего недостаточная разработанность хронологии развития взаимодействующих языков — как алтайских, так и тохарского.

Рассмотрим суммированные в специальной статье венгерского алтаиста А. Рона-Таша [2] возможные тюрко-тохарские параллели:

Пратюрк. **altun* «золото» предполагается сравнить с тох. В *eṣiwo* «железо», *eṣwaiṣe* «железный», тох. А *aṣwāsi* «железный» (предполагается значение «металл», ср. также осет. *ændon* «сталь»). Можно думать, что речь идет о субстратном центральноазиатском названии выплавляемого металла, ср. хорезм. *hnčw* «сталь» [3] со значением, близким к осетинскому.

Со стороны семантики, а также и формы конца слова наиболее близкое соответствие тюркское слово находит в чжурчжэньском *'an-č'in* «золото» [4], которое представляет значительный интерес в силу данных о металлургии золота у чжурчжэней [5, 6].

Пратюрк. **běš* «пять» выводится из тох. В *piš* < **pēs* «пять», тох. А *pāi* «пять», и.-е. **penk*^{ue}. Сильная сторона этой тохарской этимологии числительного «пять» в пратюркском заключается в том, что внутри алтайских языков это числительное не получает объяснения [7].

Пратюрк. **biš-* «пахтать масло» сопоставляется с тох. В *peške* «масло» (семантически соответствует скр. *sarpis-*). Но само тохарское слово скорее всего сближается с перс. *māškā* «масло» [8] и является поэтому миграционным культурным термином. Тем не менее фонетически тюркская форма ближе к тохарской, чем к иранской.

Пратюрк. **bil-* «знать» сопоставляется с тох. А, В *pālsk-* «думать», представляющая собой старую общетохарскую форму каузатива с суффиксом индоевропейского происхождения **-sk-* (случай, где этот суффикс еще в доисторическое время соединился с корнем, в тохарском не является единичным, ср. тох. В *pa-sk-*: лат. *pā-sc-ō* и т. п.). В тохарском А часть форм этого глагола образуется от основы *pālt-*. Согласно обычно принимаемой в тохароведении точке зрения, этот общетохарский глагол, как и, вероятно, ему родственный тох. А, В *pālk-* «видеть» и тох. А, В *pālk-* «блистать», может быть соотнесен с и.-е. **bhel-* «сиять». Но независимо от этих дальнейших объяснений тохарского глагола сближение с тюркским с семантической стороны хорошо обосновано. При принятии этой этимологии следовало бы думать, что слово было заимствовано в тюркский еще до слияния суф. **sk-* с корнем в тохарском.

Пратюрк. **čäk-* «тащить, тянуть» сближается с тох. А *tsāk-*, *tsak-*, *šak-*, тох. В *tsäk-* «тащить, тянуть, вытаскивать». Как дальнейшие этимологические объяснения тохарского глагола, так и возможность его сопоставления с пратюркским зависят от весьма спорной проблемы объяснения начального тохарского согласного, который восходит к одному из палатализованных древних пратохарских дентальных.

Пратюрк. **kūi*, *quī* «день, солнце» давно уже было сопоставлено с тох. А *koṭ*, В *kaṭ* «день, солнце» [9]. Совпадают и детали употребления этих слов (в частности, в мифологических и других специальных контекстах в сочетаниях типа «Солнце-бог» и т. п.). Хотя предполагаемое В. Винтером заимствование из тохарского в пратюркский кажется более вероятным, чем допускаемое А. Виндекенсом обратное направление воздействия, тем не менее вопрос не решен окончательно: во всяком случае этот тип называния «дня, солнца» (от предполагаемого и.-е. **keu-*) в индоевропейских диалектах явился бы исключительным и сам требовал бы объяснения если не заимствованием, то каким-то существенным изменением мифологических представлений.

Пратюрк. **ōt* «трава» еще пронципальным Педерсеном [10] было сближено с тох. А *āti*, тох. В *atīyai* «трава». В данном случае решение о направлении заимствования из тюркского в тохарский (а не наоборот, как полагал Рона-Таш) может считаться установленным, во-первых, потому что в тохарском при предположении древности слова следовало бы ждать палатализации дентального согласного, во-вторых, потому что сопоставимые с тохарским индоевропейские ботанические термины соотносятся с культурными, а не дикорастущими растениями. Семантика этого тюркского заимствования в тохарский может представить интерес для реконструкции той экологической сферы лексики, где вероятны были

заимствования в этом именно направлении (в тохарский из тюркского при большем числе слов, заимствованных в обратном направлении).

Пратюрк. *qarši* «дворец» в качестве культурного термина может быть сопоставлено с тох. В *kerciye*, но происхождение самого этого тохарского слова остается загадочным: фонетически возможны сближения с индоевропейскими названиями «крепости, огороженного места», но они не являются единственным возможным объяснением.

Пратюрк. **tām* «стена» сопоставляется с тох. А *stām*, тох. В *stām* «дерево», которое представляет собой диалектную специализацию значения древнего индоевропейского отглагольного имени, произведенного от корня «стоять». Принятие этого сближения могло бы иметь интересные следствия для изучения древнейших связей пратюрков и пратохар в сфере строительства.

Пратюрк. **tār(e)* «переднее почетное место (напротив двери)» объясняется как обычная при заимствовании специальной лексики специализация значения. Исходное значение сохранено в тох. В *twere* «дверь», и.-е. **dhworos* (тохарское слово в формальном плане ближе всего к таким основным мужского рода в диалектах типа славянского, как русск. *двор*, ср. также основы среднего рода на тематический гласный типа лат. *forum*). Данное заимствование из тохарского в тюркский, представляющееся весьма вероятным, предполагает достаточно интенсивные связи в обрядово-социальной сфере.

Сопоставление пратюрк. **tūmen* «десять тысяч» и тох. А *tmān*, тох. В *tmāne*, *tumane* «десять тысяч», давно уже вошедшее и в справочные издания (например, в связи с объяснением русск. *тьма* [12] и т. п.), тем не менее все еще нуждается в систематическом изучении всех связанных друг с другом форм — от иранских (в которых обычно ищут непосредственный источник тохарских) до восточноазиатских [13], где тохарский мог послужить передаточным звеном.

Одним из исключительно сложных по перекрещивающимся этимологическим связям слов представляется пратюрк. **sōl* «левый», обоснованно связываемое с тох. А *śālyi* «левый», *śālyas* «слева», тох. В *śwālyai* «слева» в качестве тохарского заимствования (типологически для заимствования названия «дурной» левой, часто табуируемой и обозначаемой эвфемизмами стороны можно привести много параллелей: например, в иберийско-романских языках соответствующее слово заимствуется из баскского и т. д.). Тохарское слово принадлежит к числу древних тохаро-лувийских изоглосс: оно родственно лув. *ipala/i-* «левый», сравнение которого с тохарским позволяет восстановить и.-е. **ǵheb^h-(e)l-*, где начальное **ǵ^h-*, в тохарском перед гласным переднего ряда палатализирующееся, в лувийском закономерно исчезает. Вместе с тем в древних неиндоевропейских языках Передней Азии встречается и вероятное заимствование из и.-е. *satəm-*ной формы этого слова: хуррит. *šaphali-* «левый». Что же касается тунгусо-маньчжурских языков и корейского, в них также можно искать возможные следы индоевропейских влияний, во всяком случае кор. *šwē* обнаруживает явное и далеко идущее сходство с тохарским, что представляет собой интерес ввиду наличия ряда других тохарско-корейских параллелей. К важнейшим из них относятся: кор. *pukul* «год»: тох. А *pikul*, тох. В *pukal*, *pkul* «год»; кор. *maime* «чувство»: тох. В *maim* «чувство».

Несколько фонетически и семантически вероятных пратюркско-тохарских сближений касается форм с начальным **y-*:

Пратюрк. *yat* «путь» сопоставляется с тох. А *yoŋ* «след» (что же касается тох. В *yoŋiŋa* «дорога», в нем, как и в тох. А *yoŋi*, видят прямое

заимствование из скр. *yōni-*). Суффиксы, однако, здесь могут и не совпадать точно, хотя вероятность связи пратюркского слова с тохарским отражением индоевропейской основы со значением «идти» весьма велика.

Пратюрк. **ya-* «делать» бесспорно заимствовано из тох. А *ya-* «делать», производное с характерным тохарским лабиальным аффиксом от общей для тохарского и анатолийского глагольной основы со значением «делать»: тох. А *ya-*, тох. В *yāt-* «делать», ср. лув. *aya-*, хет. *iya-* «делать».

Кроме форм этого типа, ранее указанных Рона-Ташем и другими исследователями, кажется возможным указать и на разительное соответствие др.-тюрк. *yaŋluq*, *yaŋjuq*, *yalajuq*, *yalınuq* «человек» [14] и тох. А *oik*, тох. В *eikwe* «человек». Соотношения в аглауте сопоставимы с др.-тюрк. *yaŋa* (*n*), *yaŋan* «слон»: тох. А *oikkalam*, *oikkolmo* «слон». В последнем случае вероятно происхождение из субстратного австроазиатского слова, ср. др.-кит. *ya* < **ng(r)a* «бивень слона», протомыонгск. **ngo'la* «бивень слона», вьетнам. *ngà* «слоновая кость» [15]. Подобные случаи, где удается в деталях восстановить пути заимствований через промежуточные звенья, делают вероятным допущение, что и некоторые другие из не вполне проясненных тохаро-тюркских (и других тохаро-алтайских, в том числе тохаро-корейских) сближений могут объясняться достаточно сложными миграциями слов и субстратными отношениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ramstedt G.* The relation of the Altaic languages to other language groups // JSFOu. 1946—1947. LIII.
2. *Róna-Tas A.* Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen // Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients V. Protokollband der XII. Tagung der PIAC 1969 in Berlin / Hrsg. von Hazai G. und Zieme P. Berlin, 1974.
3. *Schwartz M. S.* Irano-Tocharica // Memorial J. de Menasce. Louvain, 1974. P. 409.
4. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Л., 1975.
5. *Леньков В. Д.* Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке. Новосибирск, 1974.
6. *Иванов Вяч. Вс.* История славянских и балканских названий металлов. М., 1983. С. 48—49.
7. *Hamp E.* On the Altaic numerals // Studies in general and Oriental linguistics, presented to S. Hattori on the occasion of his sixtieth birthday / Ed. by Jakobson R. and Kawamoto S. Tokyo, 1970.
8. *Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. V. 1. La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976. P. 637.
9. *Winter W.* Tocharians and Turks // Aspects of Altaic civilisation (UAS 23). Bloomington, 1963.
10. *Pedersen H.* Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung. København, 1941. S. 64. Anm.
11. *Isabaert L.* Notes de la lexicologie tokharienne. III // Orbis, 1978. T. XXVII.
12. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1973. С. 134.
13. *Ramstedt G.* Paralipomena of Korean etymology. Helsinki, 1982.
14. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
15. *Norman J., Tsu-lin Mei.* The Austroasiatics in ancient South China. Some lexical evidence // Monumenta Serica. 1978. Vol. XXXII.

РОЛЬ КОНТАКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ

Проблема общности алтайских языков, как известно, волнует умы ученых уже не одного поколения (см., например, по этому вопросу [1—4]). При этом возникли и развились две точки зрения: сторонников и противников генетического родства указанных языков. Среди сторонников родства, в частности, тюркских и монгольских языков давно уже укоренилось мнение, разделяемое и теми, кто обращается непосредственно к их сопоставлению, что эти языки имеют между собой огромное количество сходных элементов в лексике, грамматике и фонетике, так называемые параллели, составляющие тюрко-монгольскую языковую общность, наличие которой якобы подтверждает генетическое родство этих языков. В то же время как ортодоксальные алтаисты, так и неоалтаисты признают существование исторических контактов между алтайскими народами и их языками после XIII в. н. э. и наличие взаимных заимствований, относящихся к этому времени (см. например [5]). Соответствия же, уходящие к более ранним периодам, сторонники гипотезы считают общим наследием единого праалтайского языка, т. е. фактически признают довольно позднее распадение алтайского праязыка. Противники же гипотезы вообще все соответствия объясняют конвергентными процессами, ср., например, высказывание Н. А. Баскакова: «Итак, теория Л. В. Котвича о типологическом сходстве алтайских языков и о возможном их родстве в древнейший период является, пожалуй, наиболее убедительной из концепций, представленных вторым направлением в алтаистике, некоторые, крайние представители которого (Дж. Клоусон, А. М. Щербак, Г. Д. Санжеев) полностью отрицают возможность родства этих языков, объясняя общие сходжения этих языков, как результат контактного их сосуществования» [2, с. 49].

Проблема алтайской общности, в том числе и тюрко-монгольской, все еще остается, таким образом, нерешенной. Причина этого, на наш взгляд, кроется в недостаточно верной методике проводимых до сих пор исследований. Недаром в последнее время все больше голосов раздается за пересмотр методики, за другой подход к решению проблемы (см., например [6—13]). Предлагается применять лексикостатистику [7—9], заимствовать опыт индоевропеистики [10—12], а главное — выделить все заимствования и вычленив истинно общеалтайский языковой пласт [13, 14], всесторонне оценить соотношение сходных и различающихся слов [6, с. 23].

После многолетних поисков в области алтаистики, а особенно в плане тюрко-монгольской языковой общности, мы тоже склоняемся к мнению, что следует пересмотреть методику и изменить тактику поисков, чтобы вывести алтаистику из тупика и бесконечных споров. Выявление просто параллелей мало что дает. Наличие одних и тех же элементов в разных алтайских языках еще не является доказательством существования общего алтайского лексического фонда. Необходимо серьезно изучать заимствования — результат древнейших и разнообразных контактов алтайских народов [15, с. 3].

Наиболее приемлемой представляется концепция и методика А. Рона-Таша [13], разработавшего четкие критерии и приемы для определения тюркизмов, особенно ранних, в монгольских языках. Он совершенно

правильно считает, что алтайский праязык, если и допустить существование такого, распался довольно рано, и независимая жизнь алтайских протоязыков должна рассматриваться как долгий исторический процесс. Так, например, известно, что уже в бронзовом веке алтайские народы, а соответственно и их языки, были достаточно развиты и между ними осуществлялись разнообразные контакты. Таким образом, задачей алтаистики является выделение не только поздних, но и ранних, относящихся к прошлым тысячелетиям, заимствований и выявление подлинно общеалтайского фонда, если таковой останется после снятия наслоений.

А. Рона-Таш убедительно показал, что общий тюрко-монгольский лексический фонд во многом состоит из ранних тюркизмов в монгольских языках, относящихся к древнебулгарскому периоду. Главное, что это доказывается не анализом изолированных слов и не использованием разрозненных аргументов, а взятыми в системе соответствиями и критериями, которые дополняют и усиливают друг друга. Так, например, вполне правомерно утверждение автора о том, что имеющаяся в тюркских и монгольских языках терминология высокоразвитого животноводства, связанная регулярными фонетическими соответствиями, является в монгольских языках в основном болгарско-тюркской по происхождению, о чем говорят не только соответствия $z - r$ и $\check{s} - l$, но и ряд других признаков. Таким образом, древнемонгольские (являющиеся в то же время и общемонгольскими) лексемы **ünige* «корова», *birayı* «теленок», *hüker* «бык», *уугау* («молозиво»), *kimir* «кумыс», *dal* «укрытие для крупного рогатого скота» и т. п. оказываются тюркскими по происхождению. Тюркскими же являются и основные монгольские термины металлообработки, как, например, *darqan* «кузнец», *qoryoljin* «свинец», *temür* «железо», *ayurqai* «шахта» и т. п. Учитывая же, что болгаро-тюркские племена ушли на запад из Центральной Азии вместе с северными хуннами после их разгрома, мы можем смело предполагать, что эти контакты имели место задолго до I в. н. э., т. е. еще за тысячу с лишним лет до эпохи Чингисхана, времени широкой экспансии монголов и соответственно усиленного влияния их языка.

Кроме того, Дж. Клоусон и А. Рона-Таш [5, 13] пришли к выводу, что тюркизмы проникли в монгольские языки из ранних тюркских языков в разные исторические периоды. Именно поэтому невозможно выведение строгих фонетических закономерностей в соответствиях.

Таким образом, каждый элемент в составе так называемой тюрко-монгольской лингвистической общности требует самого пристального критического рассмотрения. Просто выявление максимального числа тюрко-монгольских параллелей и утверждение на этом основании якобы генетического родства тюркских и монгольских языков уже ничего не дает для решения алтайской проблемы.

Исследования выявленных нами тюрко-монгольских соответствий как в лексике, так и в грамматике показали, что немалую долю их составляют монголизмы в тюркских языках (см. [15]), причем не только относящиеся к средним (XIII и позднейшим) векам, но и к более ранним периодам истории. При определении монголизмов мы опирались на выработанные нами критерии [15, с. 5—7], учитывающие также и историю фонетического развития звуков в тюркских и монгольских языках. Так, например, из исторической фонетики известно, что слоги **dī* и **tī* совпали в монгольских языках со слогами **dī* и **tī* и развились в дальнейшем в *ji* и *či*. В тюркских же языках слоги *dī*, *tī*, *dī*, *tī* сохранились. Поэтому наличие в каком-либо тюркском языке слова, имеющего *ji* или *či* там, где в древних тюркских языках и некоторых архаичных современных вместо них представ-

лены *di*, *di* или *ti*, *ti*, давшие в остальных современных тюркских языках рефлексы *ji*, *zi*, сигнализирует о том, что это монголизм. Например, алт. *кедым*, хак. *кечжим* «чепрак» является монголизмом, восходящим к ср.-монг. *ke'im* «черпак», которое в свою очередь представляет собой адаптацию и развитие по монгольским фонетическим законам древнего тюркского слова *kedim* «одежда, покров» (от др.-тюрк. *ked*- «надевать»). Ср. совр. алт. *кийим* «одежда» < *кий*- «надевать», тоф. *кедим* «одежда» < *кет*- «надевать», ср. хак. *кис*- «надевать». Также монголизмом является распространенное по многим современным тюркским языкам слово *карчыгай* «ястреб», восходящее к ср.-монг. *qarčiyai* (ср. совр. монг. *харцага*, *харцагай*, бурят. *харсага*, калм. *харух* с тем же значением), развившемуся из архаичной формы **qartiyai* < ***qartiyai*, которая сопоставима с сибирской тюркской формой *картыга* ~ *хартыга* «ястреб» и представляет собой древнейшее тюркское заимствование в монгольских языках.

Далее. Для современных тюркских языков, кроме чувашского, не характерно наличие ламбдаизма и ротаизма в собственно тюркских словах, т. е. в них последовательно представлены *z* и *š*. Поэтому появление слов, имеющих вопреки этой закономерности согласные *p* и *l*, можно объяснить монгольским влиянием. Например, сибирско-тюркские *корголчун* «свинец», *калчан* «лысый», *боро* «серый» и т. п. восходят к средневековым монгольским словам *qorqoljin*, *qal'an*, *boro* с теми же значениями. Ср. соответственно тюркские *қорғашын* «свинец», *қаш/қашқа* «лысина на лбу лошади», *боз* «серый». Здесь могут быть возражения, что это исконные тюркские слова и в монгольские языки они попали из тюркских. Это в принципе верно. Но верно в то же время и то, что в тюркские языки, особенно в сибирские, они вернулись уже в монгольской адаптации и в монгольской звуковой форме.

Во многих случаях подобные лексемы имеют явно монгольскую морфологическую структуру. Например, алт. *дыакылта* «задание» < монг. *йакй*- «приказывать; давать наказ, заказывать» + монг. афф. *-lta*; алт. *көжйүр* «рычаг, вага» < монг. *kösigür* «то же» < монг. *köši*- «поднимать рычагом» + монг. афф. *-gür*.

Наблюдается также проникновение монголизмов, относящихся по своему облику к более раннему, чем XIII в., периоду. Так, слова типа зап.-сиб. тат. *мегелей* «рукавицы» (ср. др.-монг. *begelei*, ср.-монг. *be'elei*, совр. монг. *бээлий* с тем же значением); алт. *сарбага* «жеребенок» (ср. др.-монг. *sarbaqa*, ср.-монг. *sarba'a*, совр. монг. *sarbaa*, бурят. *харбаа* «жеребенок двух лет»); куманд. *шыбырган* «метель» (ср. др.-монг. *šiyurqan*, ср.-монг. *šu'ürqan*, совр. монг. *шуурган*, бурят. *шуурган* «метель») и т. п.

Показателен факт освоения южносибирскими тюркскими языками, как и якутским, словообразовательной и видовой системы монгольских образных и подражательных глаголов, прилагательных и т. п. Ср., например, тув., тоф., якут. *кылай*- «быть блестящим, сверкающим» — тув., тоф. *кылагар*, якут. *кылыгыр* «блестящий, сверкающий»; тув., тоф. *кылас кын*-, якут. *кылас гын*- «сверкнуть»; тув., тоф. *кылас кылас кын*-, якут. *кылас кылас гын*- «сверкнуть несколько раз», тув. тоф. *кылаңна*-, якут. *кылаңнаа*- «посверкивать» и т. д. Ср. соответствующие средневековые монгольские лексемы *gilaj*-, *gilayar*, *gilas ki*-, *gilas gilas ki*-, *gilangna*- и современные монгольские *гялай*-, *гялгар*, *гялас хий*-, *гялас гялас хий*-, *гялтгана*- с теми же значениями. Отдельные из подобных форм встречаются еще в киргизском и кыпчакских языках. Нет их в огузских, которые вообще наименее монголизированы из всех тюркских языков. Более всего

монгольское влияние прослеживается в сибирских тюркских языках, в киргизском, а из кыпчакских в казахском и каракалпакском. Отсутствие монголизмов (за исключением единичных, относящихся к эпохе Чингисхана и позднейшего периода) в огузских языках и такое глубокое их проникновение в сибирские тюркские языки, киргизский и кыпчакские свидетельствуют о том, что усиление монгольского языка в регионе Центральной Азии и Южной Сибири началось, видимо, уже после ухода огузов (во всяком случае их основной массы) в Среднюю Азию, т. е. после VII—VIII вв., и происходило, по всей вероятности, в условиях тюрко-монгольского языкового союза и длительного двуязычия.

Наличие общих тюрко-монгольских слов в таких наименее монголизированных языках, как татарский, карачаево-балкарский (см., например [16—18]), объясняется тем, что в число этих параллелей попали широко бытующие в монгольских языках ранние тюркизмы и некоторые поздние монголизмы в тюркских.

Работа над выявлением тюркизмов в монгольских языках (см. [19—22]) показала, что многие из них, носящие общемонгольский характер, относятся, как утверждает и А. Рона-Таш, к ранним тюркизмам, проникшим в монгольские языки еще до их распада. Так, например, к их числу можно отнести такие слова, как монг. *заль* «горящий уголь», калм. *заль* «пламя», бурят. *зали* «пыл, жар», ст.-письм. монг. *jali* «пламя; воодушевление, жар», восходящие к др.-тюрк. *jalın* «пламя» < др.-тюрк. *jal-* «вспыхивать, воспламеняться»; монг. *арил* «очищаться; исчезать», бурят. *арил*, калм. *эрл* «исчезать»; убираться, уходить», ст.-письм. монг. *арил* «очищаться; исчезать» < др.-тюрк. *aril-* «очищаться» < *ari-* «быть чистым». Наличие подобных лексем свидетельствует о довольно сильном раннем тюркском влиянии на общемонгольском уровне.

Кроме того, выявились тюркизмы регионального характера, главным образом, ойратско-халхаские и бурятско-халхаские.

Примерами ойратско-халхаских тюркизмов могут послужить слова типа монг. *эсн*, калм. *эсн* «здоровый» < др.-тюрк. *esün* «здоровый, невредимый»; монг. *балдаргана*, *балчиргана* «борщевик», калм. *балырһн* «волчий корень» < тюрк. *балтырган* «борщевик»; монг., калм. *иг* «веретено» < др.-тюрк. *ig, jig* «веретено»; монг. *зарам* «отруби», калм. *зарм* «пшено, крупа; грубая мука» < тюрк. *жарма, йарма* «крупа» < тюрк. *жар-, йар-* «рассекать, расщеплять».

К бурятско-халхаским тюркизмам можно отнести лексемы типа монг. *олбог*, бурят. *олбог* «тюфяк для сидения» < тюрк. **олмағ* < тюрк. **ол-* «сидеть» (об этимологии лексемы см. [21, с. 54]); монг., бурят. *той* «свадебный пир» < тюрк. *той* «пир, пиршество», ср. тюрк. *той-* «насыщаться», *тоғ* «сытый».

Наличие подобных региональных тюркизмов говорит о том, что процесс распада общемонгольского языка происходил неравномерно и что тюркское влияние не прекращалось и в течение этого процесса.

О продолжающемся тюркском влиянии на монгольские языки и после распада общемонгольского языка и образования самостоятельных монгольских языков свидетельствует наличие тюркизмов, специфичных для каждого из монгольских языков. Так, в халха-монгольском языке выявляются свои тюркизмы типа *асаг* «хромота у животных» < тюрк. *аҕсағ* «хромой» < тюрк. *ақса-* «хроматя»; *илбээс* «приманка для рыб; сторожок капкана» (праформа **ilbegesün*) < тюрк. *иллек ~ илбек* «крючок» < тюрк. *ил-* «прикалывать, прицеплять»; *торомдой* «кобчик» < тюрк. *турумтай* «то же»; *итлэг* «пустельга» < тюрк. *ителги* «то же»; *явлаг* «ушас-

тая сова» < тюрк. *ябалақ, япалақ* «сова»; *хад* «дикая смородина» < тюрк. *қат* «ягода».

В бурятском языке и в его говорах, особенно западных, также выявлено немало специфических тюркизмов. Например: *бойног* «подгрудок, обвислая шея у крупного рогатого скота» < тюрк. *мойнақ* «то же» < тюрк. *мойун* «шея»; *бүхэ* «приедаться» < тюрк. *бөк* «переесть»; *жэрхэ* «брезговать» < тюрк. *йиркен*; *туую* «плотный комок снега или грязи, налипший под копытом лошади» < тюрк. *туйуг* «копыто», зап.-бур. *саажа* «коса девичья» < тюрк. *сачы* «его волось»; зап.-бур. *соол* «печь, изба» < сибирск. тюрк. *соол*, *чувал* «камин»; зап.-бурят. *шиихан* «чирей» < тюрк. *чыйықан* «то же»; зап.-бурят. *балаг* «пескарь, гальян» < тюрк. *балық* «рыба» и т. п.

Наибольшее количество тюркизмов обнаружилось в калмыцком языке и его говорах. Ср., например, такие калмыцкие слова, как *аю* «медведь» < тюрк. *аю*; *ашу* «месть» < каз. *ашу*; *буриш* «перец» < каз. *бурьш*; *шалх* «коса для сенокосения» < каз. *шалғы* «то же» < каз. *шал* «косить; рубить»; *жилк* «парус» < тюрк. *желкен*, *жилкэн* «то же» < тюрк. *жел*, *жил* «ветер».

Подобная лексика отражает уже более поздние тюрко-монгольские контакты.

Таким образом, тюрко-монгольская языковая общность при ближайшем рассмотрении оказывается весьма неоднородной. В общем лексическом фонде могут быть выделены как минимум три группы: 1) ранние и поздние тюркские заимствования в монгольских языках; 2) ранние и поздние монгольские заимствования в тюркских языках; 3) общие тюрко-монгольские элементы, разработка которых требует методики иного уровня, а алтаистика должна заниматься именно ими. Поэтому ближайшей и неотложной задачей исследования тюрко-монгольской языковой общности на данном этапе является выделение взаимных заимствований и установление подлинных общих тюрко-монгольских элементов, поскольку роль взаимных заимствований в процессе складывания тюрко-монгольской языковой общности оказывается неизмеримо большей, если не сказать решающей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щербак А. М. Об алтайской гипотезе в языкознании // ВЯ. 1959. № 6.
2. Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.
3. Poppe N. Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden, 1965.
4. Насилов Д. М. Об алтайской языковой общности. К истории проблемы // Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.
5. Clauson G. Turkish and Mongolian studies. L., 1962.
6. Щербак А. М. О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков // ВЯ. 1966. № 3.
7. Клаусон Дж. Лексикостатистическая оценка алтайской теории // ВЯ. 1969. № 5.
8. Лизети Л. Алтайская теория и лексикостатистика // ВЯ. 1971. № 3.
9. Дёрфер Г. Базисная лексика и алтайская проблема // ВЯ. 1981. № 4.
10. Дёрфер Г. Можно ли проблемы родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики? // ВЯ. 1972. № 3.
11. Doerfer G. Türkische und Mongolische Elemente in Neupersischen. Bd 1. Mongolische Elemente in Neupersischen. Wiesbaden, 1963. S. 51—105.
12. Герценберг Л. Г. Об исследовании родства алтайских языков // ВЯ, 1974. № 2.
13. Рона-Таш А. Общее наследие или заимствования? (К проблеме родства алтайских языков) // ВЯ. 1974. № 2.
14. Санжеев Г. Д. Б. Я. Владимирцов — исследователь монгольских языков // Филология и история монгольских народов. Памяти академика Бориса Яковлевича Владимирцова. М., 1958. С. 26.

15. *Рассадин В. И.* Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. М., 1980.
16. *Булажаева-Баранникова А. А.* Сооставительные материалы по лексике современного татарского и бурят-монгольского языков // Сборник трудов по филологии. Вып. 3. Улан-Удэ, 1958.
17. *Хаджилаев Х.-М.* Очерки карачаево-балкарской лексикологии. Черкесск, 1970.
18. *Суюнчев Х. И.* Карачаево-балкарские и монгольские лексические параллели. Черкесск, 1977.
19. *Рассадин В. И.* О тюркизмах в бурятском языке // К изучению бурятского языка. Улан-Удэ, 1969.
20. *Рассадин В. И.* О бурятско-тюркских языковых взаимоотношениях // Диалектология и ареальная лингвистика тюркских языков Сибири. Новосибирск, 1986.
21. *Рассадин В. И.* Тюркизмы в халха-монгольском языке // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 5. Улан-Удэ, 1970.
22. *Рассадин В. И.* Тюркские лексические элементы в калмыцком языке // Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. Улан-Удэ, 1983.

ТЕКИН Т.

ВНУТРИТЮРКСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ ТЮРКСКОГО /š/, ЧУВАШСКОГО /ś/ И МОНГОЛЬСКОГО /č/

Как известно, общетюркский /š/ соответствует не только чувашскому и монгольскому /l/, но также чувашскому /ś/ и монгольскому /č/. Подобно многим другим алтайским звукосоответствиям, соответствие тюрк. /š/ : монг. /č/ было также впервые выявлено и обосновано Г. Рамstedтом. Еще в 1912 г. Г. Рамstedт обратил внимание на сходство монгольского и тюркского суффиксов взаимности/совместности -ča-/ -če- и -š-, например, монг. *siqa-ča-* «сжиматься» (из *siqa-* «сжимать, давить») : тюрк. *siq-t-š-* «то же» (от *siq-* «давить, сжимать») [1, с. 29, 30]. Г. Рамstedт утверждал, что тюркский суффикс взаимности/совместности -š- первоначально выступал в виде /č/, а звуковой переход от /č/ к /š/ в тюркском начался, по-видимому, с форм прош. времени на *-di/-tu*; таким образом, **-ča-di* > **-čtu* > **-štu*. Позднее этот суффикс был обобщен как -š- по аналогии с суффиксами приведенных форм прош. времени [1, с. 29].

В той же работе Г. Рамstedт указал и на то, что в чувашском языке суффикс совместности в исконных словах оканчивается на -š-, в то время как суффиксом совместности в словах, заимствованных из татарского, выступает -š- [1, с. 29]. Поскольку тюрк. /š/ в чувашском обычно передается /l/, а чуваш. /ś/ происходит из /č/ или /j/, то соответствие тюрк. -š- : чуваш. -š- говорит о том, что суффиксом взаимности/совместности в пратюркском был, видимо, не /l/ или /š/, а /č/.

Создавая свою теорию в начале 1900-х годов, Рамstedт не имел возможности привести тюркские факты в доказательство соответствия тюрк. /š/ : чуваш. /ś/ : монг. /č/. По моему же мнению, имеются внутритюркские свидетельства, т. е. собственно тюркские примеры, подтверждающие это звукосоответствие. В данной статье мне хотелось бы представить такие свидетельства и попытаться показать, что соответствие, выведенное Г. Рамstedтом, верно.

Древнейшие тюркские примеры, в которых суффикс взаимности/совместности -š- встречается в виде -č-, т. е. в неизменной форме, обнаружи-

ваются в «Кутадгу билиг» и в словаре Кашгарй. Прежде чем представить эти примеры, мне бы хотелось подчеркнуть, что звук, который подвергается изменению в конечной позиции, обычно сохраняется в срединной позиции, особенно перед согласным или после него, например, *semiz* «жирный» (**semir'*), но *semgi* «становиться жирным», *köküz* «грудь» (< **kökür'*), но *kökrek* «то же» (< **kökür-ek*) и т. д. [2]. Подобным же образом пратюркская форма суффикса взаимности/совместности -š- сохранилась в первоначальном виде в нескольких примерах, где она встречается в срединной позиции перед или после согласного.

Примеры:

МК II 196 *kikčür-* «ударять два предмета друг о друга; подстрекать» (< **kik-i-č-ür-*) < МК II 293 *kik-* «точить, заострять; ударять, чтобы заострить» // орхон. *kikšür-* «побуждать» (КТД 6, читаемые как *kiñšür-*, *kiñešür-*), Chuast. *kikšür-* (*kišig kikšürü sözle-* «подстрекать к взаимной вражде» [3, с. 714]).

МК III 108—109 *yarčün* // *yarčün-* // *yawčün-* «прилипать, приставать» // *yaršün-* «то же» (по Кашгарй, альтернативная форма с -š-: *yaršundi* и с -f-: *yawčundi*) < **yar-i-č-i-n-* < *yar-* «покрывать, накрывать».

МК III 97—98 *yarčur-* // *yawčur-* «приставать, прилипать, приклеиваться» // *yaršur-* «то же» < **yar-i-č-ur-* < *yar-* «покрывать, накрывать».

QB 401 *yarčur* «пристаёт, приликает», QB 1409 *yarčur* «то же» (в гератском списке *yaršur*) // уйгур., МК *yariš-*, *yariš-* «приставать, прилипать» < **yar-i-č-* (форма *yarči-* для *yarič-* в указателе к «Кутадгу билиг» должна быть исправлена).

МК II 175 *tapčur-* «передать, вручать (что-л. кому-л.)» (например, *men oğulni anasınğa tapčurdum* «я передал ребенка матери») // уйгур. *tapšur-* «то же» < **tap-i-č-ur-* < *tap-* «находить».

Орхон. *qabiš-*, уйгур. *qaviš-* «собираться (вместе)», МК *qawuš-* «то же», *qawšut* «мирные переговоры между двумя народами или ханами» // *qarčaq* «место, где сливаются рукава одной реки» (МК I 471) < **qabič-aq* < **qabi-i-č-* «приближаться, подходить» (ср. уйгур. *qawit-* «встречаться», *qawir-* «собирать», МК *qawur-* «сжимать, стягивать»; ср. также монг. *qabida-* «подходить», *qabildu-* «приближаться, подходить, *qabira-* «стоять вплотную друг к другу»¹).

МК I 423 *tutaši*, *tutši* «соседний, относящийся к чему-л., смежный; постоянно, непрерывно» // МК *tutči* (13 раз), QB *tutči*, *tuci* (много раз; *tutaši* 5 раз) < **tutač-i* < *tut-*, *tuta-* «держатъ, хватать» (что касается *tuta-*, ср. QB *tutam* «пригоршня; схватывание» < *tuta-*). Стяженная форма *tuči* в QB является дополнительным свидетельством в пользу теории Рамштеда: если бы исходная форма была с /š/, то в QB мы бы имели **tuši*, но не *tuči*!

Другой ранний пример обнаруживается в «Кысса-и Бахрам», сочинении, датирующемся, вероятно, XIV в.: *urč-ur* «он сражается» [4] < **ür-i-č-* // уйгур., МК *urüš-*, чуваш. *värš-* «то же» < **üri-č-*.

Этим исчерпываются случаи, когда суффикс взаимности/совместности -š- представлен в среднетюркских текстах как /č/. Подчеркнем, что переход /č/ в /š/ наблюдается не только в основах глаголов взаимности/совместности. Имеются и другие примеры (два существительных и два отыменных глагола), которые также подтверждают рассматриваемое звуковое изменение: МК III 37 *yarčan* «попынь», *yawčan* «то же» // чагат., осман. *yawšan*, кыпчак., осман. *yavšan*, турецк. *yavşan*, азерб., туркмен.

¹ Этимология Дж. Клоусона МК *qarčaq* («отглагольное существительное от *kar-*; возможно, сингола из **karızak*» [3, с. 581]) не может быть принята.

govšan, кумык. *yuvšan*, ногайск. *yuvsan*, казах. *žuvsan*, кирг. *jūšan*, тувин. *čašpan* «то же» < **yapšan* < **yawšan* < **yawčan*.

Второй ранний пример — из волжско-булгарского. В одной из болгарских эпитафий, датируемой XIV в., встречается слово *bačne*, которое соответствует общетюркскому *bašında* и означает «в начале». Это слово находится в следующем контексте: *şafar ayuđı bačne eti* [5, 6].

Г. В. Юсупов не смог объяснить значения данного слова. Я отмечал уже ранее (см. [6]), что *bačne* в приведенном предлодении означает «в начале» и соответствует общетюркскому *bašında*. Слово *bačne* анализируется следующим образом: *bačne* < **bač-i-n-e*, т. е. *bač* «начало, голова», *-i-* — суффикс принадлежности 3-го лица, *-n-* — так называемый местоименный *n*, *-e* — архаичный суффикс дательного-местного падежа *-a/-e*. Очевидно, что это слово образовано по модели волжско-булгарского *išne* «в, внутри» < **ič-i-n-e* = чуваш. *äšne* «то же».

Таким образом, *bačne* (не *bašne!*) ясно указывает на то, что волжско-булгарским словом для обозначения головы, начала было не *baš*, а *bač*, восходящее, вероятно, к более раннему **balč*, что давно отмечено Рамстедтом. Как известно, Рамстедт считал, что чуваш. *puš* «голова» восходит не к общетюркскому *baš*, а, судя по конечному /š/, к гипотетическому **balč* — форме, идеально соответствующей нанайскому *balča*, *balja* «лицо, внешность, голова» [1, с. 109]. К этой этимологии можно добавить также третье алтайское соответствие: монг. *-balji* «голова» в сложном слове *tarbalji* «ястреб-перепелятник; степной орел» < «с белой отметиной на голове» (см. [7]). Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что чувашское слово *puš* восходит к форме, сходной с волжско-булгарским *bač*. Последнее, в свою очередь, восходит к еще более ранней форме **balč*, которая также является прототипом общетюркского **baš*. Таким образом: **balč* > волжско-булгар. *bač* > чуваш. *puš*, **balč* > **balš* > др.-тюрк. *baš*.

Переход /č/ в /š/ наблюдается и в современных тюркских языках. Приведем два примера:

1. Общетюркское (уйгур., МК и т. д.) *qurša-* «опоясывать, окружать», татар., башкир. *korša-* «то же», тув. *kurža-* «то же», казах., к.-калп., ногайск. *kursa-* «то же», турецк. *kuşan-* «опоясываться» (*kuşa-n-*), *kuşat-* «опоясывать; окружать, осаждать; захватывать» (*kuşa-t-*), азерб. *ğušan-* «опоясываться», *ğuşat-* «обматывать вокруг талии», туркм. *ğuşa-* «опоясывать», *ğurşa-* «окружать», *ğuşat-* «заставлять опоясывать», *ğurşat-* «заставлять окружать» < **qurša-* < **qurča-* < *qur* «пояс, кушак» + *ča-* // алтайск., кирг. *kurča-* «опоясывать, окружать», хакас. *xurča-* «то же», казах. *korša-* «окружать, огораживать» < **qorča-* < **qurča-* < *qur* «пояс».

Очевидно, что алтайская, киргизская и хакасская формы с /č/ являются более древними, чем формы с /š/. То же справедливо и в отношении казахской формы с /š/, так как она восходит к более старой форме с /č/. Рассматриваемый глагол — производный от существительного *qur* «пояс, кушак». Что касается отыменного глагольного суф. *-ča-* / *-če-*, то он обнаруживается в монгольском, например, *dayiča-*, *dayiči-* «быть враждебным, вести войну, действовать как враг» < *dayi(n)* «враг», *nököče-* «становиться близким» < *nökör* «друг», *qaniča-* «быть другом или приятелем» < *qani* «друг, приятель» и т. д. Якутское *kurdā-* «опоясывать» не может восходить к форме с /č/: оно восходит к более древней и исходной форме **qurla-*.

2. Орхон. *yemšaq*, *yimšaq* «мягкий» [8], уйгур. *yumšaq* «то же», *yumša-* «становиться мягким», МК *yumšaq* «мягкий», *yumša-* «становиться мягким», общетюрк. *yumšaq*, *yumša-* «то же» // тув. *čimča-* «становиться мягким»

< **yimča-*, якут. *simnā-* «то же» < **yimja-* < **yimča-*, тув. *čimčak* «мягкий» < **yimčak*, якут. «*simnagas* «то же» < **yimčaqač* (ср. др.-тюрк. *qatči* «илеть, кнут») > якут. *kimii* и т. п.), чуваш. *šetše* «мягкий» < **yemče*, *yimče*.

Общетюрк. *yimša-*, тув. *čimča-* и якут. *simnā-* (< **yimča-*), вероятно, образованы от именного корня типа **yem*, **yim* или **yim* с суф. *-ča* из рассмотренного выше *qurča-*; ср. монг. *niŋgen*, *niŋegen* «тонкий, тощий»; *niŋgere-* «истончатся», *niŋnagin* «худой, истощенный (о животных)», эвенк. *netkin* «тонкий, нежный», *netkūken*, *netkān* «очень тонкий».

Общетюрк. *yimšağ* «мягкий» встречается с /č/ также в некоторых средне-тюркских источниках, а именно, в кыпчакском словаре, датируемом XV в.: At-tuḥfa... *yimčağ* «мягкий». Дж. Клоусона удивляет наличие здесь /č/ вместо /š/. Тем не менее, тувинская и якутская формы, рассмотренные выше (т. е. тув. *čimča-* «становиться мягким», *čimčak* «мягкий», якут. *simnā-* «становиться мягким» и *simnagas* «мягкий»), доказывают, что звук /š/ в *yimša-*, *yimšağ* является лишь вторичным. Следовательно, наличие согласного /č/ в At-tuḥfa... *yimčağ* нисколько не удивительно, так как /č/ является первичным и исходным.

Как отмечал Рамстедт, в чувашском имеется два суффикса взаимности/совместности: 1) *-ś-* (исконный чувашский суффикс, восходящий к первичному *-č-*); 2) *-š-* (общетюркский суффикс, заимствованный из татарского). Более или менее полный список чувашских глагольных основ с суф. *-ś-* был опубликован в [9]. Он содержит следующие основы: *avr-ă-ś-* (*avăr-*), *än-ă-ś-* (*än-*), *kala-ś-*, *kan-ă-ś-* (*kan-*), *këv-ë-ś-* (*këv- /kü-*), *kurän-ă-ś-*, *pët-ë-ś-*, *šap-ă-ś-*, *širt-ă-ś-*, *šuraś-* (< **šura-* < **yara-*), *šän-ă-ś-*, *šu-ś-*, *tap-ă-ś-*, *tat-ă-ś-*, *ti-ă-ś-*, *tiv-ë-ś-*, *vales-* (< **vale-* < **üle-*), *vär-ś-*.

К этим 18 глаголам могут быть добавлены следующие: *vurnaś-* «селиться» < **vurna-ś-* < **orna-č-* = общетюрк. *orna-ś-*; *šipäs-* «прилипать, приставать» < **yarič-* < *yap-ı-č-* = общетюрк. *yariš-* < *yap-* «покрывать»; *xirëś-* «противиться, сопротивляться, возражать» < **qarič-* < *qar-ı-č-* = уйгур. *qariš-* «не ладить, ссориться», общетюрк. *qarši*, *qaršu* «противоположный, против» (= чуваш. *xirëś* «то же» < **xiršë* < **qarči*), МК *qaršut* «противоположный». Первичный тип этой глагольной основы, возможно, обнаруживается в МК *qaru* «против», которое встречается в следующем стихе: МК II 83 *Yağı qaru kiriš kurdum* «я натянул лук [целясь] в врага». МК *qaru* может быть объяснено наилучшим образом как деепричастие на *-u* от глагольного корня **qar-* «противостоять, противиться, сопротивляться».

Перевел с английского Чурикова В. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ramstedt G. J. Zur Verbstammbildungslehre der mongolisch-türkischen Sprachen // JSFOu. 1912, XXVIII. 3.
2. Tekin T. Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic // АОН. 1969. XXII. Fasc. 1. P. 60, 63.
3. Clauson G. An etimological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Oxford, 1972.
4. Brockelman C. Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens. 1—7. Leiden, 1951—1954. S. 205.
5. Юсупов Г. В. Итоги полевых эпиграфических исследований 1961—1963 гг. в Татарской АССР // Эпиграфика Востока. 1972. Вып. XXI.
6. Tekin T. On Volga Bulgarian *bačne* // PIAC Newsletter. 1975. No. 10. P. 8.
7. Tekin T. Once more zetacism and sigmatism // CAJ. 1979. XXIII. 1—2. P. 131.
8. Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968. P. 231, 403.
9. Nauta A. Lambdazismus im Tschuwassischen: Gtū. š = Tschuw. l und ś // Altaistic studies, Stockholm, 1985.

ИНФИНИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ОБЪЕКТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ (На материале монгольских языков)

Известно, что типология не существует вне сравнения изоморфных и алломорфных явлений в строе разных языков, в том числе и близкородственных. Типологическое сравнение на каждом из выделяемых уровней позволяет выявить объем и характер сходств и различий. Возможности такого рода сопоставлений достаточно велики, поскольку за основу могут быть взяты не только отдельные факты, но и совокупность фактов, относящихся к различным подсистемам языка.

Важнейшие типологические черты монгольских языков как одного из членов алтайской лингвистической общности определяются структурой слова, агглютинативного по своей сути. Вместе с тем целый ряд типологически существенных признаков монгольских языков заложен в их синтаксисе. В этом отношении особое внимание исследователей привлекает тип сложных построений, в которых подчиненная часть представляет инфинитную конструкцию, состоящую как минимум из двух базовых элементов: субъекта действия и предиката в неличной, причастно-деепричастной форме глагола. Являясь зависимым компонентом сложной фразы, инфинитная конструкция монгольских и шире — алтайских языков — выступает как реальная и вполне сопоставимая типологическая единица. Говоря о типологических изысканиях в алтаистике, Г. Д. Санжеев указывал на необходимость установления причин различного выражения одних и тех же явлений, в частности субъекта причастных и деепричастных оборотов [1]. Исследования показывают, что основные структурные типы инфинитных конструкций едины для всех алтайских языков, которым присущи следующие особенности: 1) оформление субъекта инфинитных конструкций в неопределенном (иначе прямом, основном, именительном), а также в родительном и винительном падежах; 2) последовательное использование морфологических средств для связи инфинитных конструкций с главным предложением (аффиксов деепричастий, падежных и падежно-последующих форм причастий); 3) употребление аффиксов притяжания при неличных формах глагола [2].

Регулярное совпадение моделей предложений с зависимой предикацией в алтайских языках представляется отнюдь не случайным. Оно свидетельствует не только об их типологическом единстве, но и генетической общности. Можно полагать, что модель построения алтайского гипотаксиса с инфинитной конструкцией развивалась в каждом из алтайских языков на основе общего синтаксического инварианта, роль которого, возможно, отводилась конструкциям с субъектом в неопределенном падеже.

В свете сказанного цель данной статьи состоит в общей типологической оценке монгольских инфинитных конструкций со стороны формы и содержания, выявлении сходных и различительных черт в оформлении их субъекта и предиката. В понимании и трактовке инфинитной конструкции мы исходим из концепции полипредикативного синтаксиса, позволяющей рассматривать конструкции разной степени сложности и разного качества (включая и собственно сложные предложения) под единым углом зрения [3, 4]. Большое разнообразие инфинитных форм глагола составляет одну из типичных особенностей монгольских языков, где организация сложных высказываний строится, как и в других алтай-

ских языках, на преимущественном использовании причастий и деепричастий в качестве так называемых «срединных», «второстепенных» или «неконечных» сказуемых. Выступая в качестве синтетических средств связи между частями сложных фраз с иерархическим строением, они во многих отношениях замещают аналитический финитно-союзный способ выражения синтаксической зависимости компонентов «целого», который столь характерен для индоевропейских языков.

Модели конструкций с неличными формами глаголов в содержательном и структурно-функциональном плане далеко не однородны. Для монгольских языков показательны три класса таких сложных фраз, дифференцирующихся по наличию или отсутствию в зависимой части отдельного субъекта-лица. На этом основании различаются: 1) моносубъектные фразы, где ситуации, описываемые в главной и зависимой частях, соотносятся с общим для них действующим лицом; 2) разносубъектные фразы, для которых свойственно наличие самостоятельного исполнителя действия в каждом из составляющих частей целого; 3) вариативно-субъектные фразы, где лицо — носитель действия, лексически может не эксплицироваться, выражаясь лишь грамматически через аффиксы личной принадлежности.

В современных монголоведных исследованиях существуют различные точки зрения на синтаксический статус субъектных конструкций с неличными формами. Некоторые монголисты, следуя А. Бобровникову, называют их «членными предложениями», другие считают их специфической формой выражения придаточных, третьи — развернутыми членами предложения и т. д. Учитывая, что конструкции с субъектным именем являются полными семантическими аналогами придаточных предложений, а в коммуникативном аспекте — важным информационным звеном всего высказывания в целом, их следует квалифицировать как полупредикативные единицы или зависимые предикативные единицы.

В качестве формирующих членов инфинитивной конструкции чаще всего встречаются такие деепричастия, как соединительное, слитное и разделительное, а также условное, предельное и некоторые другие, например, последовательное и продолжительное. Из причастий наиболее употребительны будущее, прошедшее, настояще-прошедшее и многократное. Остальные формы используются реже.

По признаку падежного оформления субъекта инфинитивные конструкции монгольских языков подразделяются на четыре типа: аккузативные, генитивные, номинативные и аблативные. В калмыцком и халха-монгольском языках падежная форма, обозначающая субъект зависимой предикации, настолько подвижна, что в пределах одной и той же конструкции возможны различные варианты реализации падежа субъектного имени. Ср., например, монг. *Сурьяагийн орж ирэхэд* и *Сурьяаг орж ирэхэд* — *Сурьяа орж ирэхэд* «Когда вошла Сурья». В этих структурно и функционально однородных конструкциях при одной и той же неличной форме субъект представлен в трех взаимозамещаемых падежах: генитиве, аккузативе и номинативе. Такая же картина наблюдается и в калмыцком языке. Ср. калм. *Теднэ ирхинь би меднэв* и *Тедниг ирхинь би меднэв* «Я знаю о том, что они придут». Здесь вполне допустимо оформление субъекта и в им. падеже: *Теднэ ирхинь би меднэв*. В первых двух примерах субъект стоит в генитиве и аккузативе. В связи с такими случаями встает вопрос о предпочтительности какой-либо из указанных падежных форм. Для этого существенно иметь в виду, на что акцентируется внимание

говорящего или пишущего: на субъект, его действие или на то и другое в равной мере. Поэтому, на наш взгляд, правы те монголисты, которые считают, что, если необходимо подчеркнуть значение принадлежности признака-действия, то его субъект-обладатель оформляется в род. падеже. Подтверждением может явиться тот факт, что конструкция с местоименным субъектом в генитиве без нарушения смысла в целях логического выделения идеи принадлежности действия могут сопровождаться показателями личного притяжания. Ср. калм. *Тана келсиг мартшгов* — *Тана келситн мартшгов* — *Келситн мартшгов* «Не забуду, что вы сказали (= сказанное вами)». Если же внимание сосредоточено на самом исполнителе действия, то он, как правило, бывает оформлен в accusative. Если нет надобности в сознательном выделении субъекта, то он выражается номинативом [5].

Употребление конкретного падежа субъектного имени определяется формой причастия или деепричастия, а также зависит от того, является ли субъект одушевленным или нет. Так, для калмыцкого и халха-монгольского языков вин. падеж показателен в тех случаях, когда исполнитель действия относится, по словам А. Бобровникова, к «разумным существам» [6] и обозначается именем собственным или местоимением, а в роли опорного слова конструкции выступают причастия прош. и буд. времени в вин. или дат. падежах: калм. *Санжиг комсомолд орсиг соңсладн* «Слышали о том, что Санджи вступил в комсомол»; монг. *Хандмааг ярихад...* «Когда говорила Хандма...»; *Чамайг морио авчирсныг бид мэдсэнгүй* «Мы не знали, что ты привел лошадь»; *Биднийг маргааш ирэхийг багш мэднэ* «Учитель знает о том, что мы приедем завтра».

В бурятском языке в подобного рода конструкциях употребляется исключительно генитивная форма субъекта: *Шинии ябахыг мэдээб* «Узнал, что ты уезжаешь (= о твоём отъезде)»; *Тэрээнэй хэлэхэндэ би этигэнэм* «Я верю тому, что он сказал»; *Дугарай наднаа асуухада* «Когда спросил у меня».

Винительный субъекта в калмыцком и халха-монгольском языках используется преимущественно и в тех случаях, когда посетитель действия является лицом одушевленным, а зависимый предикат выражен деепричастиями предела и условия, которые могут принимать частицы личного притяжания: монг. *Тэднийг гэртээ очтол нь бороо намжив* «Пока они добрались домой, дождь прекратился»; *Таныг зөвшөөрвөл би танд туслана* «Если вы разрешите, я помогу вам»; калм. *Намаг иртл чи энд күлэжэ* «Ты подожди здесь, пока я приду»; *Ахлагчиг орж ирхлэнь, хург эжлэ* «Когда пришел председатель, началось собрание».

В бурятском языке в аналогичных ситуациях, когда речь идет о людях и вообще «активных предметах», строго закреплён генитив: *Зоной хараһаар байтар...* «Пока люди продолжали смотреть...»; *Шинии аймагнаа ербэл...* «Если ты приедешь из аймака...».

В калмыцком и халха-монгольском языках винительный субъекта регулярно употребляется в конструкциях с падежно-последложными формами причастий: монг. *Багачуудыг эрдэм сургахын төлөө...* «Для того чтобы дети учились наукам...»; *Чамайг очихоос өмнө...* «До того, как ты пойдешь...»; калм. *Гиичиг мордсна арднь* «После отъезда гостя»; *Ковүг келж дутм* «По мере того, как говорил мальчик». В халха-монгольском языке, в отличие от калмыцкого, винительный субъекта употребляется в конструкциях с причастием прош. времени, стоящем в исх. падеже: *Ахыг гэртээ харьснаас би хөдөө ясан* «После того, как брат вернулся домой, я поехал в худон». Если для калмыцкого и халха-монгольского языков

аккузативные конструкции — явление типичное, то в бурятском языке они не встречаются [7, с. 130].

Субъект инфинитных конструкций бывает представлен род. падежом, если он обозначает одушевленный предмет и при нем имеется причастие прош. времени в им. падеже: монг. *Таны авчирсан номыг уншилаа* «Книгу, которую вы принесли, прочитал(-а)»; калм. *Чини бичсн бичг йир сонън* «Письмо, которое ты написал, очень интересное»; бурят. *Тогоошойн хэжэн хооло* «Пища, приготовленная поваром».

Родительный субъекта характерен и для конструкций с причастиями в формах прош. и буд. времени, а также с причастиями многократности и однократности, которые нередко сопровождаются лично-притяжательными частями: монг. *Бид хоерын шивэгнэх нь сурагчдын анхаарал татав* «Наше перешептывание привлекло внимание учеников»; бурят. *Шинии хэлдэгшини гайхалтай* «То, что ты говоришь, удивительно»; калм. *Бичкүдүдин альвдгөн келлм биш* «О том, как шалят малыши, не стоит и говорить».

Субъект обязательно выражается род. падежом, если ведущее слово конструкции является причастием прош. и буд. времени в исходном падеже: монг. *Бид та нарын түүснээс жимс түүлэ* «Мы собирали ягоды там же, где и вы»; калм. *Чини кәдлхәс ода чигн эрт* «Еще не пришло время, чтобы ты работал». Когда зависимый предикат — причастие прош. времени стоит в род. падеже, то и действующее лицо нередко оформляется в генитиве, что имеет место в калмыцком и бурятском языках. Примеры: калм. *Теднә ирснә марһдураснь...* «Со следующего дня, как они приехали...»; бурят. *Танай оролсоһоной хэрэггүй* «Вам не следует вмешиваться».

Подобные факты свидетельствуют о наличии своеобразного «согласования» субъектного имени и возглавляющего конструкцию причастия в падеже по формуле: S род. п. \cong Р род. п. В калмыцком и халха-монгольском языках наблюдается корреляция субъектного имени и формирующего члена — причастия в вин. падеже по формуле: S вин. п. \cong Р вин. п. Ср. монг. *Биднийг маргааш ирэхийг багш мэднэ* «Учитель знает о том, что мы приедем завтра»; *Тер хоорнд Манжиг теңрэд хасиг үзсн Нэрэ хээкржэ йовна* «Тем временем Гаря, видевший, как Манджи выстрелил вверх, поднял крик». Такое явление допускается, когда причастие управляется переходным глаголом с семантикой восприятия, мыслительной деятельности и сообщения.

Им. падеж субъекта в инфинитных конструкциях монгольских языков употребляется, когда зависимый предикат представлен формами соединительного, слитного и разделительного деепричастия: монг. *Нар шингэж, харанхуй болов* «Солнце закатилось, и стало темно»; *Тэнгэр дуугаран, бороо оров* «Загремел гром, пошел дождь»; *Кийтин үөл чилн, хавр болов* «Кончилась холодная зима, наступила весна»; бурят. *Ахань гэртэ ороод, дуунь газар үлэбэ* «Старший брат зашел в дом, а младший остался на дворе». В бурятском и монгольском языках, когда речь идет о явлениях природы или явлениях космического и атмосферного порядка, субъект имени в инфинитных конструкциях выражается основой: *нара гарахада* «когда солнце восходит», *саһа ороһодо* «когда снег идет» [7, с. 131]. В калмыцком же языке в таких случаях всегда употребляется им. падеж: калмыки говорят *нарн һархд*, *цасн орхд* или *нарн һархла*, *цасн орхла*. В бурятском языке субъект в подобных конструкциях допускает генитивное оформление: *Наранай оротор гэртээ хүрэхэбди* «До захода солнца мы доберемся домой».

В современных монгольских языках, в частности, в калмыцком и халха-монгольском, активно проявляется тенденция к постепенной номинативизации субъекта инфинитных конструкций. В них протекает процесс замещения вин. и род. падежей именительным. «Появление номинатива в субъектном имени свидетельствует о глубине сдвигов, происшедших в падежных формах в системе оборотов монгольского языка», — к такому заключению пришел в свое время Т. А. Бертагаев [8]. По данным Б. Х. Тодаевой, в баоаньском и дунсянском языках им. падеж субъекта в конструкциях с неличными формами окончательно вытеснил родительный и винительный [9]. Номинативизация субъектного имени создает предпосылки для качественного изменения структуры инфинитной конструкции и перехода их в придаточное предложение.

Халха-монгольский язык резко отличается от калмыцкого и бурятского языков тем, что в нем широко бытует инфинитная конструкция с субъектом в исх. падеже. Аблативная конструкция в какой-то степени близка к генитивной, о чем говорят отдельные примеры их взаимозамещения. Ср.: *Бага Хураалаас гаргасан тогтоол* «Постановление, изданное Малым Хуралом» и *Бага Хураалын гаргасан тогтоол*; *Миний ахаас өгсөн хонь* «Овца, подаренная моим братом» и *Миний ахын өгсөн хонь*. Особенностью аблативной конструкции является то, что в нем зависимый предикат бывает всегда выражен причастием переходного глагола, а родительный субъекта в этом языке также тяготеет к переходному глаголу. Инфинитная конструкция с аблативом отсутствует в бурятском языке, а в калмыцком она встречается крайне редко: *Зурханас мөнд гисн э харснь ирсн күүнэ дотркиг уутъруув* «То, что Зурган ответил приветствием, вселило надежду и ободрило вошедшего». Эту конструкцию некоторые монголисты склонны относить к заимствованным явлениям, но, как справедливо заметил Т. А. Бертагаев, при этом не указываются ее источники и время проникновения в монгольские языки [10].

Таким образом, в монгольских языках, особенно в халха-монгольском и калмыцком, субъект инфинитной конструкции реализуется в нескольких падежных формах, однако преобладающей из них является аккумулятив. В бурятских же инфинитных конструкциях безраздельно господствует генитивная форма субъекта.

Анализ структурных и семантических особенностей функционирования монгольских конструкций с неличными формами помогает понять закономерности проявления в рамках гипотаксиса механизма зависимой предикации, что имеет важное значение для синтаксической типологии алтайских языков. В данном отношении специфически монгольскими чертами (за исключением бурятского) можно считать постановку субъекта зависимой конструкции в вин. падеже, а также наличие своеобразного падежного согласования субъектного имени и его предиката в системе причастно-дееспричастных оборотов¹. Разработка проблем, связанных с типологическим сравнением, устанавливающим общее и частное в разных алтайских языках, способствует выявлению и описанию таких фактов и явлений, которые определяют основные тенденции развития их грамматического строя. С этой точки зрения учет синтаксических совпадений и не-

¹ На случаи падежного согласования причастия буд. времени с предшествующим именем существительным указывает Г. Дёрфер в исследовании, посвященном синтаксису «Сокровенного сказания монголов». В частности, им приводится следующий пример из текста этого древнейшего памятника монгольской письменности: *ere-yi* (вин. п.) *irekū-yi* (вин. п.) *ūjebe* «мужчину приходящего увидел» [11].

соответствий необходим для полноты типологической характеристики алтайской языковой общности, определения степени родства отдельных его членов [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Санжеев Г. Д. Сравнительно-исторические и типологические исследования в алтаистике // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965. С. 89.
2. Черемисина М. И. Исследования сложного предложения в алтайских языках // Урал-алтаистика. Археология. Этнография. Новосибирск, 1985. С. 180.
3. Скрибник Е. К. Способы выражения субъекта в системе зависимой предикации (На материале бурятского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.
4. Полипредикативные конструкции и их морфологическая база. Новосибирск, 1980.
5. Цэдэндамба Ц. Грамматическая характеристика причастий и их структурно-семантические особенности в современном монгольском языке (в сопоставлении с причастием русского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1970. С. 24.
6. Бобровников А. А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849. С. 283.
7. Санжеев Г. Д. Грамматика бурят-монгольского языка. М.— Л., 1941.
8. Бертагаев Т. А. Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. Простое предложение. М., 1964. С. 235.
9. Тодаева Б. Х. Монгольские языки и диалекты Китая. М., 1960. С. 105, 108.
10. Бертагаев Т. А. Следы эргативности в монгольских языках и к вопросу об эргативной конструкции // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967. С. 278.
11. Doerfler G. Beiträge zur Syntax der Sprache der Geheimen Geschichte der Mongolen // CAJ. V. 1. № 4. S. 244.
12. Fokos-Fuchs D. Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft. Wiesbaden, 1962. S. 7.

КУЗЬМЕНКОВ Е. А.

МОНГОЛЬСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МАНЬЧЖУРСКОМ И ДИАЛЕКТНАЯ БАЗА СТАРОМОНГОЛЬСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Среди маньчжурских монголизмов немало слов, близких к старописьменным монгольским формам, но появившихся в маньчжурском без посредничества старописьменного монгольского языка (СПМЯ). Наличие этих заимствований позволяет предполагать фонетическую реальность СПМЯ и даже сделать некоторые выводы относительно его возможного диалектного прототипа. Речь идет прежде всего о тех словах, которые зафиксированы в чжурчженских источниках и, следовательно, вошли в маньчжурский еще до XVI в., когда маньчжуры использовали СПМЯ в своих канцеляриях [1]. Многие из этих заимствований относятся к Цзиньской эпохе [2, 3] или к еще более раннему времени (X—XII вв.), и тем самым практически исключается возможность непосредственного копирования уйгуро-монгольского образца. Уточнить датировку помогает наличие повторных заимствований сходных форм в тунгусо-маньчжурских языках. Приведем несколько примеров¹.

¹ Сокращения: чж.— чжурчженский в упрощенной транскрипции по В. Грубе и Х. Ямадзи [2, 3], ма.— маньчжурский по И. И. Захарову [1], нан.— навайский, ульч.— ульчский, ороч.— ороцкий, уд.— удэйский, эвен.— эвенский, эвенк.— эвенкийский, сол.— солонский, орок.— орокский, тунг.— общетунгусский; все тунгус-

Чж. *medige*, ма. *medege* «известие», СПМЯ *medege* «то же». Чжурчженьская форма отражает очень старое, возможно, протомонгольское **medi*-«знать» [14, с. 468]. и получает закономерное развитие в маньчжурском дублете *meige* [15, с. 235]. Ма. *medege* варьируется как *medexe*, что может быть связано со спирантизацией монгольского интервокального -g-, предшествовавшей его падению [16] в живых диалектах в то время, как в СПМЯ смычные и щелевые варианты заднеязычных не различались. Еще один дублет — ма. *mede* — восходит к новым монгольским языкам (халха-монг. *mede*;) и имеет идентичные параллели в ороцком, ульчском и нанайском. В северных тунгусо-маньчжурских языках этой формы нет, что косвенным образом свидетельствует в пользу ее позднего заимствования. Тунгусские слова с тем же корнем *med-* ~ *mede-* «знать, чувствовать» представляют собой более древнюю тунгусо-монгольскую общность. Области распространения *med-* «знать» и *medege* ~ *mede* «известие» в тунгусо-маньчжурских языках не совпадают. Эти формы сосуществуют только в ороцком, удэйском и ульчском, где они не связаны деривацией.

Чж. *xeifuli*, ма. *xeveli* «живот», СПМЯ *kebeli* «то же». В тунгусских языках находятся только две сходные формы: эвен. *ke:bel* «желудок», закономерно соответствующее маньчжурскому, и сол. *ke:li* «брюхо». Последнее не могло развиваться на тунгусо-маньчжурской почве: ма. -f- или эвенк. -b- регулярно соответствуют сол. -w- ~ -γ- [17, с. 251], которые не подвержены элизии. Это слово, скорее всего, — позднее заимствование из южных монгольских диалектов, например, из орд. *k'e* : *l* «зародыш в утробе»².

Более древним соответствием указанным формам может быть эвенк *kerе-* «распухать»³.

Чж., ма. *use* «семя», *usin* «поле»⁴, СПМЯ *üre* «семя, дитя; результат». Эта параллель ранее не учитывалась в монголо-тунгусских сопоставлениях⁵, вероятно из-за трудностей в толковании соответствия монг. *r* // ма. *s*. Форма *use* должна быть признана изолированной в маньчжурском, несмотря на наличие ма. *fursun* «приплод» и развившихся из последней *fusen* ~ *fisen* (диалектные варианты?) с тем же значением. Дело в том, что дальнейшее развитие *fusen* > *use* незаконмерно для маньчжурского точно так же, как и для воспринявших *use* ульчского и ороцкого. В этих так называемых «лабиальных языках» инициальный *f* ~ *p* сохраняется [17, с. 250]. Поэтому ма. *use* выходит за рамки закономерного соответствия тунг.-ма. **puri* «потомство» // монг. **hüre* «семя, плод» [23, 24], которое постулируется по таким тунгусо-маньчжурским и среднемонгольским формам, как нан. *puril* ~ *furil* «дети», ороц. *huril* «то же», ср.-монг. (КП, 151) *hüre* «плод, заслуга», (МА, 219) *huren* ~ (МА, 220) *hurun* «семена», и отражает древнюю общность или очень давние контакты.

ские материалы даются по [4], монг. — монгольский, или общемонгольский, халха-монг. — халха-монгольский по Я. Цэвэлу [5], орд. — ордосский по А. Мостеру [6], мнгр. — монгорский по А. Смедту и А. Мостеру [7], ср.-монг. — среднемонгольский: СС — «Сокровенное сказание» [8, 9], КП — «квадратное письмо» [10], ХИ — словарь «Хуа-и-ю» [11], МА — словарь «Мукаддима ал-Адаб» [12], СПМЯ — старописьменный монгольский по С. Шагжи [13].

² Халха-монг. *xeveli*: ~ *xevel* «живот» (<СПМЯ), СПМЯ *kegel* «зародыш» — поздние формы взаимодействия письменного языка и живых диалектов.

³ Если это сравнение правомерно, оно оправдывает реконструкцию Н. Поппе: **kerе:li* «живот» [14, с. 464].

⁴ Ср. сходную деривацию в чж. *ule* «хороший», *ulin* «имущество» (цит. по О. А. Мудраку [18]).

⁵ По крайней мере, в известных нам работах (см. [15, 19—22]).

Аналогичные соответствия *r // s* встречаются в тунгусо-монгольских параллелях, относящихся к разным диалектам и разным эпохам. Например: ма. *ʃusu-* «чертить, вырезать» // ср.-монг. (МА, 211) *ʃuru-* «строгать», СПМЯ *ʃiru-* «чертить». Тунг. *ʃuru-* «чертить» (> ма. *ʃiʃu-* «то же» с развитием *-rg-* > *-ʃ-*, после суффиксации) и тунг.-ма. *niru-* «рисовать» также сопоставимы с монг. *ʃiru-* (< **diru-*), но принадлежат к разным периодам тунгусо-монгольских контактов. Эвен. *n'es* «счастье», ма. *nosiki* «удачливый» // халха-монг. *naer* «мир, согласие», эвенк. *n'aso:-* «спать» (изолированная форма) // СПМЯ, ср.-монг. (СС, § 177) *noyir* «сон» (или от монг. *noerso-* «спать», с утратой сонанта). Чередования *r // s* могли возникать по разным причинам и в пределах одного и того же диалекта — в этих случаях они часто бывают связаны с морфонологией: монг. *sonor* «слух» // *sonos-* «слышать» и т. п. [25, с. 360], ма. *muse-* «гнуться» (изолированная форма) // тунг.-ма. *muri-* «крутить», СПМЯ, *muski-* «крутить» // *mirui* «кривой», халха-монг. *dzurem* «обрезки» // *dzuse-* «резать». Чисто фонетической причиной этого явления могла быть палатализация или возникновение ретрофлексного *r*, что и могло при кратковременных диалектных контактах дать такой «спорадический ротацизм»⁶.

Для рассмотренных выше слов можно построить последовательность, ориентированную во времени:

Ранние контакты	XI—XII вв.	Поздние контакты	СПМЯ
тунг.-ма. <i>med-</i> ~ <i>mede-</i> «знать, чувствовать»	чж., ма. <i>medege</i> «известие»	ма., ороч., уд., ульч. <i>mede</i> «известие»	<i>mede-</i> «знать» <i>medege</i> «известие»
(?) эвенк. <i>kepe-</i> «распухать»	чж., ма. <i>xefeli</i> «живот»	сол. <i>ke : li</i> «брюхо»	<i>kebeli</i> «живот»
ма. <i>fursun</i> «семья» тунг. <i>puril</i> «дети»	чж., ма. <i>use</i> «семья»	—	<i>üre</i> «семья, дитя»

Во вторую колонку по аналогичным соображениям можно включить также чж. *uʃitei* «содержать», ма. *uʃi-* «то же», *uʃutu* «мешок», ср. СПМЯ *uʃuta* «то же»⁷; ма., чж. *xalxin* «горячий», ср. СПМЯ *qalayun* «то же», чж. *dulixun* «теплый», ср. СПМЯ *dulayan* «то же». Все эти формы выглядят архаичнее своих среднемонгольских соответствий: (СС, § 244) *mede'e* «знание», (СС, § 21) *ke'eli* «живот», (КП, 151) *hüre* «плод, заслуга», (МА,

⁶ Ср. сходное по хаотической дистрибуции чередование *b/m* в монгольских [25, с. 401; 26] и тунгусо-маньчжурских языках (например, ма. *bonio* ~ *tonio* «обезьяна» и т. п.), называемое тем же эвфемизмом «спорадическое».

⁷ Эта параллель, судя по дистрибуции однокоренных слов (общее тунг.-ма. *uʃi-* и отсутствие аналогичной основы в монгольском) должна трактоваться как заимствование из маньчжурского в монгольский. Датировать это заимствование можно по среднемонгольским формам и по мигр. *fu : da* «мешок» [7, с. 101] не позднее XIII—XIV вв.

219) *huren* «семена», (ХИ, 51) *huxuta* «мешок», (СС, § 173) *qala'un* «горячий», (ХИ, 36) *dula'an* «теплый»⁸.

В этих сопоставлениях две диалектные черты — наличие интервокальных согласных на месте среднемонгольского зияния и отсутствие (по крайней мере, в ряде форм) инициального *h* объединяют маньчжурские монголизмы XI — XII вв. и соответствующие старописьменные формы. Не исключено, что это следует понимать так: не позднее XII в. в территориальной близости к чжурчженям находился монгольский диалект с теми чертами, которые сохранил впоследствии СПМЯ. Если учесть достаточно известные исторические обстоятельства того времени, т. е. интенсивные контакты чжурчженей с империей Ляо [27], и характер заимствований («культурная» лексика), можно предположить, что носителями этого диалекта были кидане.

Это предположение находится в русле гипотезы, согласно которой в период Ляо (916—1125 гг.) или Си Ляо (1125—1211 гг.) (последнее более правдоподобно) кидане освоили уйгурскую графику и затем, в начале XIII в., через найманов или их уйгурских писцов преподнесли монголам Чингисхана «готовый литературный язык»⁹. Подобная гипотеза была высказана Л. Лигети еще в 1955 г. [28], но поддержки не получила [29, с. 22]. Основным противоречащим материалом явились глоссы, извлеченные из «Ляо ши», например: *ǰau* «сто», *šawa*: «хищная птица» [30, с. 287—288]. Облик киданских слов в китайской транскрипции оказывается очень близок современным дагурским *ǰau* «сто», *šowa*: «ловчая птица» [31, с. 143 и 101]. По сравнению с этими глоссами архаичными выглядят не только СПМЯ *ǰayun* «сто», *sibayun* «птица», но и ср.-монг. (СС, § 185) *ǰa'un* «сто», (СС, § 111) *šibao'un* «птица; сокол». Глоссы «Ляо ши» относятся к III стадии развития так называемых «долготных комплексов»: I стадия — интервокальные согласные VCV (СПМЯ). II стадия — зияние V'V (ср.-монг.) [32]. Но преемственность типа СПМЯ > ср.-монг. > киданский не может рассматриваться всерьез, хотя бы по чисто историческим мотивам.

Тем более трудно представить себе киданский XII в. столь развитым, как это показывает «Ляо ши». По-видимому, адекватность ее транскрипции не стоит переоценивать, как и нельзя забывать, что «Ляо ши» была записана в XIV в. (1343—1344 гг. [33]).

По другим соображениям сомнительна и глосса *po* «весна» (цит. по [29, с. 6]). Она характеризует киданский как очень архаичный язык, если принимать развитие монг. *h* < **p* ~ **φ*. Ср.: ср.-монг. (СС, § 26) *hon* «год», дагурский *o* : *η* ~ *xo* : *n* [31, с. 88]. Но все может оказаться проще, если предположить заимствование из чж. *foan(to)* «время», ма. *fop* «то же» с характерной монгольской адаптацией *f* > *p*.

У нас нет веских оснований считать киданский намного архаичнее других монгольских диалектов в XI—XII вв.¹⁰. Дивергенция северных диалектов в этот период только начиналась, и их фонетика в значительной

⁸ В маньчжурском сохранилось много фонетически устойчивых форм, возникновение которых также датируется не позднее, чем XII в. Ср., к примеру, почти идентичные в чж., ма., СПМЯ, ср.-монг. и совр. монг. *yabu* «идти», халха-монг. *yaua* «то же», чж. *soto-* (читай: *sotto-*), ма. *sokto-*, СПМЯ *saɣta-*, ср.-монг. *sokta-*, халха-монг. *sokto-* «пьянеть» и т. п. Фонетическая стабильность этих форм не позволяет локализовать их более или менее конкретно по диалектам или в хронологии языковых изменений, поэтому мы здесь эти слова подробно не рассматриваем.

⁹ «Готовый литературный язык» — выражение Б. Я. Владимирцова [25, с. 20] — пожалуй, все-таки преувеличение.

¹⁰ Менее ясным представляется облик предков монгурского и других кукувор-

мере отражается в СПМЯ. Это положение фактически давно принято за основу протомонгольской реконструкции [35], несмотря на довольно распространенное мнение о том, что СПМЯ, китайские транскрипции и «квадратное письмо» — «три диалекта, из которых ни один не является продолжением другого» [36]. Последнее нам кажется преувеличенным, в особенности, если сравнивать диалекты «Сокровенного сказания» и «квадратного письма», которые близки по многим признакам [37]¹¹. Более того, не столь велики различия СПМЯ и среднемонгольского, как может показаться при беглом сравнении. Это можно видеть на примере тех двух признаков, которые мы рассматривали в применении к маньчжурским монголизмам.

Интервокальные согласные сохранялись в монгольских диалектах до начала XIII в. «Зияние» (если оно вообще имело место) в «Сокровенном сказании» (1240 г. [39] или 1228 г. [40]) еще варьируется с согласными: (СС, § 104) *bokoreai* «почки» (gen.) ~ (§ 100) *bo'ere* «почка», (§ 78) *boroqan* ~ (§ 108) *boro'an* «снежная буря» и т. п.

Инициальный *h* — характерная черта среднемонгольского — никак не отражается в СПМЯ, даже его доклассического периода (XIII в.) [41]. Но дело, видимо, не только в «отсутствии соответствующей буквы» [29, с. 83], но и в особом положении этого звука как «исчезающей фонемы». В среднемонгольском (СС) он также мог иметь статус «аллофона» нулевой инициали. Во-первых, существуют вариации, хотя и немногочисленные, *h* ~ *ʋ*: (СС, § 137) *elige* ~ (§ 105) *helige* «печень», (§ 46) *eki* ~ (§ 81) *heki* «голова», (§ 63) *atqu* ~ (§ 72), *hatqu* «схватить» и т. п. Во-вторых, самое существенное: в стихотворных фрагментах памятника нет случаев аллитерации *h*- и *q*-, *ɣ*- и т. д.¹², но достаточно часто попадаются аллитерации *h*- и *ʋ*, например: (СС, § 230) *ibulun...irgetai...hirmes...itqaju...itegelten...*; (§ 201) *ukuleldule'e...hula'an...ubcikdekuiece...urtu...unen...* и др.

Среднемонгольский мог не иметь прямого отношения к диалекту — прототипу СПМЯ, но предки обоих в XII в. и раньше были в числе близких друг к другу северных диалектов¹³. К этим же диалектам, вероятно, следует отнести и киданьский, но действительно ли кидане пользовались еще при Абаоцзи (X в.) «письмом западного происхождения» [42], мы, возможно, так никогда и не узнаем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров И. И. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875. С. XI.
2. Grube W. Die Sprache und Schrift der Jučen. Leipzig, 1896.
3. Yamaji H. A Jučen-Japanese-English glossary. Tokyo, 1956.
4. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Л., 1975; Т. 2., Л., 1977.
5. Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар толь. Улаанбаатар, 1966.

ских языков того времени. Возможно, их отделение произошло много ранее XIII в. [34].

¹¹ Эта близость дала повод для гипотезы, в соответствии с которой оригинальный текст «Сокровенного сказания» был «транслитерирован квадратным письмом раньше», чем его транскрибировали китайскими иероглифами [38].

¹² Для китайских транскрипторов *h* мог идентифицироваться как аллофон *q*- или *ɣ*-. См., например, хаотическое употребление знаков 中 合 哈 (ср.-кит.: ʒo)

для монгольских слогов *ha*, *ɣa*, *qa* в списке «Юань чао би ши» [9]. Китайская транскрипция довольно точна, и *h*-, возможно, варьировался как щелевой ~ заднеязычный. Но для определения фонологического статуса *h*- решающее значение имеют «собственно монгольские» показания: вариативность с нулем и аллитерация.

¹³ Л. Лигети высказывается более резко: «доклассический монгольский не что иное, как среднемонгольский в уйгуро-монгольской письменности» [30, с. 292].

6. *Mostaert A.* Dictionnaire Ordos. 2nd ed. N. Y.— L., 1968.
7. *Smedt A., Mostaert A.* Le dialect mongour parlé par es mongols du Kansou occidental. IIIe pt. Dictionnaire Mongour — Français. Pei-p'ing, 1933.
8. *Haenisch E.* Woerterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an. Wiesbaden, 1962.
9. *Юань-чао би-ши* (Секретная история монголов). Т. I. Текст/Изд. текста и предисл. Панкратова Б. И. М., 1962.
10. *Ponne H. H.* Квадратная письменность. М.— Л., 1941.
11. *Lewicki M.* La langue mongole des transcriptions chinoises du XIVe siècle. Le Houai-yi-yu de 1389. II. Vocabulaireindex. Wrocław, 1959.
12. *Ponne H. H.* Монгольский словарь Мукаддима ал-Адаб. М.— Л., 1938.
13. *Sayji.* Mongyol üsüg-ün dürim-ün toli bičig. Ulaγan bayatur, 1937.
14. *Poppe N.* Ancient Mongolian // Tractata Altaica. Wiesbaden, 1976.
15. *Ligeti L.* Les anciens éléments mongols dans le mandchou // Acta Orient. Hung. 1960. T. X. F. 3.
16. *Hattori Sh.* The length of Vowels in Protomongol // Mongolian Studies. Bibliotheca Orientalis Hungarica. XIV. Amsterdam, 1970. P. 181.
17. *Цыцуюс В. И.* Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
18. *Мудрак О. А.* К вопросу о чжурчженской фонетике // Языки Азии и Африки (Фонетика. Лексикология. Грамматика.) М., 1985, С. 134.
19. *Schmidt P.* Der Lautwandel in mandschu und mongolischen // Peking oriental society journal. 1898. V. 14.
20. *Санжеев Г. Д.* Маньчжуро-монгольские языковые параллели // Изв. АН СССР. 1930. № 8—9.
21. *Pelliot P.* Les mots à l'H initiale aujourd'hui amuie dans le mongol des XIIIe et XIVe siècles // JA. Avril-Juin. P., 1925.
22. *Мишиддорж Го.* Монгол манж бичгийн хэлний харьцаа. Монгол манж хэлний уг, нөхцөл. Улаанбаатар, 1976.
23. *Poppe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. T. I. Wiesbaden, 1960. S. 108, 126.
24. *Старостин С. А.* Проблема генетической общности алтайских языков // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXIX сессии Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC). Т. II. М., 1986. С. 109.
25. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929.
26. *Рассадин В. И.* Очерки по исторической фонетике бурятского языка. М., 1982. С. 71—72.
27. *Воробьев М. В.* Культура чжурчженей и государства Цзинь. М., 1983. С. 51—54, 234—237.
28. *Лигети Л.* // ВЯ. 1955. № 5. С. 136. [Рец. на кн:] *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков. М., 1953.
29. *Кара Д.* История монгольской письменности. Будапешт, 1974. [Докт. дисс.].
30. *Ligeti L.* Les fragments du Subhāṣitaratnanidhi mongol en écriture 'Phags-pa. Le mongol préclassique et le moyen mongol // Acta Orient. Hung. 1964. T. XVII. F. 3.
31. *Ponne H. H.* Даурское наречие. Л., 1930.
32. *Weiers M.* Untersuchungen zu einer historischen Grammatik der Praeklassischen Mongolischen. Bonn, 1966. S. 7—8.
33. *Таскин В. С.* «История государства киданей» как исторический источник // *Е. Лунли.* История государства киданей (Цидань го чжи) // Памятники письменности Востока. XXXV. М., 1979. С. 22.
34. *Дугаров Р. Н.* «Дэбтэр-чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. Новосибирск, 1983. С. 7.
35. *Poppe N.* Introduction to Mongolian comparative studies. Helsinki, 1955. P. 15.
36. *Weiers M.* Zur Frage des Verhaeltnisses des Altmongolischen zum Mittelmongolischen // Bibliotheca Orientalis Hungarica. XIV. Mongolian Studies. Amsterdam, 1970. S. 589.
37. *Poppe N.* Die Sprache der mongolischen Quadratschrift und das Yuān-ch'ao pi-shi // Asia Major. N. F. I. Bd. I. Hf. Leipzig — Wien, 1944. S. 114.
38. *Хамтори С.* Начальные взрывные в протомонгольском языке и их дальнейшее развитие // Исследования по восточной филологии. К семидесятилетию профессора Г. Д. Санжеева. М., 1974. С. 294.
39. *Бира Ш.* Монгольская историография (XIII—XVII вв). М., 1978. С. 36.
40. *Мункуев Н. Ц.* // Народы Азии и Африки. 1980. № 2. С. 217. Рец. на кн.: *Бира Ш.* Монгольская историография XIII—XVII вв. М., 1978.
41. *Ligeti L.* Preklasszikus emlékek. I. XIII—XIV század. Bd., 1963.
42. *Бартольд В. В.* Кара-китай // *Бартольд В. В.* Собр. соч. Т. V. С. 541—542.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТАКТИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ АЛТАЙСКОЙ ОБЩНОСТИ В ЦИРКУМБАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

В исследованиях последних лет в качестве самостоятельных выделяются следующие монгольские языки: в МНР — собственно монгольский (халха), в СССР — бурятский и калмыцкий, в КНР — монгольский (Автономный район Внутренняя Монголия), монгорский (район Кукунора), баоаньский (провинция Ганьсу и Цинхай), дунсянский (южная часть провинции Ганьсу), дагурский (провинция Хэйлунцзян). Монгольский язык в Афганистане по последним данным уже теряет свои функции даже в обиходном общении [1]. Что касается языков таких этнических групп, как суниты, хорчины, чахары, узумчины, хешиктены, авга, джалаиты и др., то их статус существенным образом уточнен в исследованиях Б. Х. Тодаевой, и теперь они рассматриваются как местные (племенные) диалекты [2].

Процесс образования самостоятельных монгольских языков начался сравнительно поздно, в основном после распада монгольской империи (XIII—XIV вв.). До этого монгольские наречия представляли племенные ответвления единого языка. Бурятский же язык начал складываться как самостоятельный несколько раньше. Археологические, фольклорные и другие материалы свидетельствуют о том, что монголоязычные кочевники, которые впоследствии стали первыми протобурятскими племенами, переселились в пределы байкальского региона в X—XI вв. н.э. Так, В. И. Сосновский пишет, что «по данным якутского фольклора... впервые монголо-бурятские племена, с хоринцами во главе, проникают на северо-восточный берег Байкала в начале X века» [3]. К XI в. относятся захоронения кочевников-скотоводов, открытые в свое время А. П. Окладниковым в верховьях р. Лены [4] и Г. Ф. Дебецем — в низовьях р. Селенги [5]. По мнению А. П. Окладникова, археологические материалы «позволяют предполагать проникновение монголоязычных кочевников в глубь Прибайкалья еще ранее, т. е. до образования монгольской империи» [4, с. 200—201].

Из истории края известно, что в те далекие времена в регионе Прибайкалья обитали тюркские (куруканы) и тунгусские (эвенки) племена. Если тюрки занимали в основном низменные, пригодные для пастбищ угодия, то эвенки — горные и таежные места. Поэтому, надо полагать, столкновение первых монголов с основной массой тюрков носило разовый и кратковременный характер, в результате чего «потомки древних курыкан» были оттеснены на север и на запад, тогда как эвенки продолжали оставаться на своих обжитых местах. В одном из древних шаманских гимнов, записанных С. П. Балдаевым еще в 1906 г. у эхиритских бурят, имеется следующее свидетельство первоначальных контактов бурят и эвенков: «Когда мы шли с Алтая, богородской травой очищались. Когда шли мы с Саяна, ветками кедра освящались. Когда спустились мы на Лену, на правом берегу осели. Подружились с эвенками, сражались с якутами...» [6].

О продолжительных и оживленных связях предков бурят и тунгусских племен говорят многие факты языкового, историко-этнического и антропологического характера.

Наиболее важным в этом отношении является то, что современные бурятские топонимические названия в большинстве своем имеют эвенкий-

ское происхождение. Эвенкийские топонимы известны на всей территории Бурятской АССР, а также в бурятских национальных округах в Иркутской и Читинской областях. Названия почти всех основных водных артерий, по долинам которых издревле проживают буряты, являются эвенкийскими: *Селенга* означает по-эвенкийски «железный», *Ангара* — «раскрытый», *Хилок (Килга)* — «точильный камень», *Кулинга* — «змеиный» и т. д. Такой топоним, как *Ага* (название речки и прилегающей к ней территории в Читинской области), означает по-эвенкийски «поле, открытое место, степь», *Анга* (название речки и местности в Качугском и Ольхонском р-нах Иркутской области) означает «щель, узкое место», *Могзон* (т.-д. станция и местность в Читинской области) — «длинное озеро», *Тэгда* (местность, название села в Хоринском районе) — «дождь, дождливый» и т. п. Если попытаться установить истинную этимологию многих других топонимов, подвергшихся народной этимологии, то выяснится, что более 80% всех бурятских географических названий восходит к заимствованиям из эвенкийского языка. Например, очень распространенный топоним *Ухэр «Укыр»* (название многих сел и местностей) на бурятской почве этимологизируется как «крупный рогатый скот, бык или корова», а между тем эвенкийское слово *укуру* [7, II, с. 256] означает «холм, возвышенность». Действительно, оказывается, что все бурятские села с названием «Укыр» расположены на возвышенных местах.

Кроме того, в современном бурятском и эвенкийском языках имеется довольно большой пласт лексики, близкий по своему фонетическому облику, что также свидетельствует о языковых взаимопроникновениях. Многие из этих лексем могли иметь иное происхождение, но их почти полное структурное совпадение больше говорит о том, что они являются результатом поздних языковых контактов. Ср.: эвенк. *бусэ ~ буһэ* [7, I, с. 115] — бурят. *буһэ* «пояс, кушак»; эвенк. *байтаһун* «яловая важенка» [7, I, с. 66] — бурят. *байтаһан* «откармливаемый на убой скот»; эвенк. *какбли ~ какол'и* [7, I, с. 363] — бурят. *хахуули ~ гахуули* «рыболовный крючок».

О тесных контактах бурят и эвенков повествуется в фольклорных произведениях. В эпических текстах, а также в сказаниях, легендах и преданиях немало упоминаний о брачных связях между бурятами и эвенками. И в старинных шаманских гимнах часто говорится о том, что некоторые бурятские роды имеют эвенкийское (хамниганское) происхождение.

Данные этнической истории народов Сибири свидетельствуют о значительном смешении бурятских и эвенкийских родов [8, 9].

Естественным результатом длительного контактного сосуществования двух этносов в пределах смежных территорий явилось оживленное взаимодействие их языков. Вследствие этого эвенкийский язык в циркумбайкальском регионе фактически ассимилировался. В то же время язык бурят, сохраняя в основном свою лексику, грамматический строй и фонетику, приобрел ряд особенностей эвенкийского языка в виде субстратных явлений.

Это послужило одним из существенных факторов, определивших процесс образования нового самостоятельного монгольского языка, каким является бурятский. И только в таком понимании носителей современного бурятского языка можно называть аборигенами ныне занимаемой ими территории.

Определение статуса самостоятельности того или иного языка предполагает выявление ряда существенных признаков его системы. Если

обратиться к фонетическому ярусу бурятского языка, то для него устанавливаются следующие характерные особенности, отличающие его от других монгольских языков: 1) интонационно-ритмическая специфика — замедленно-монотонный темп речи, полногласие и отсутствие количественной редукции гласных; 2) наличие фарингального согласного *h*; 3) полное отсутствие аффрикат; 4) чередование по диалектам щелевого двухфокусного *ʒ* и среднеязычного *j*; 5) появление необычного для бурятского языка окающего диалекта; 6) процесс опереднения гласных и появление в некоторых диалектах гласных смешанного ряда *æ* и *œ*.

Анализ указанных фонетических особенностей современного бурятского языка показывает, что они имеют субстратную основу. По своим произносительным особенностям бурятский язык заметно отличается от других монгольских языков и диалектов: он характеризуется монотонным замедленным темпом речи и отсутствием количественной редукции. В противоположность ему современные монгольский и калмыцкий языки, наиболее близкие к нему по фонетическому строю, отличаются быстрой и напряженной артикуляцией слов, допускающей качественную и количественную редукцию кратких гласных непервых слогов вплоть до полного их выпадения.

На территории Прибайкалья эвенки перешли на бурятский язык, сохранив, однако, свои артикуляционные навыки, которые в сочетании с монгольскими определили специфику произносительной нормы современного бурятского языка.

Аналогичное явление наблюдается на севере Якутии, где эвенки перешли на якутский язык. «Особенности эвенкийского произношения способствовали возникновению особых и н т о н а ц и о н н ы х п р и е м о в в языке якутов северных районов ЯАССР... И действительно, в говорах якутов северных районов при артикуляции делается пауза после каждого слова... К особенностям произношения северных якутов относится появление долгих гласных, соответствующих кратким гласным в говорах центральных якутов...» [10] (разрядка наша. — *Б. И.*).

Появление необычных для якутского языка долгот, пауз и т. д. — это произносительные инновации, характеризующие замедленность темпа речи, монотонность ритмико-интонационной структуры языка, что с достаточной очевидностью свидетельствует о существенных изменениях, происшедших в произносительной практике якутского языка под влиянием эвенкийского.

Влияние эвенкийской артикуляции на произносительные навыки носителей якутского и бурятского языков почти идентично. Эти произносительные особенности являются доминирующим фонетическим признаком якутского и бурятского языков, отличающим их от других родственных языков, и рассматриваются некоторыми исследователями как существенный элемент эвенкийского фонетического субстрата.

Как известно, из всех монгольских языков только в бурятском имеется фарингальный согласный *h*. Наличие этой фонемы в звуковой системе бурятского языка и различные ее модификации и корреляции по диалектам составляют одну из доминирующих особенностей современного бурятского языка. Бурятский *h* — явление сравнительно позднего происхождения. Фонетический процесс $s > h$ — это потенциально возможный путь изменения звуков. Он встречается в финно-угорских, тунгусо-маньчжурских языках, а также в корейском.

Монгольский языковой мир не знает перехода переднеязычного сильного *s* в фарингальный слабый *h*, за исключением бурятского.

Из *h*-языков потенциально могли повлиять на контактирующий с ними бурятский имбатский говоры кетского языка, говор байкальских эвенков и якутский язык.

Относительно употребления звука *h* в кетских говорах А. П. Дульзон пишет: «Во всех имбатских говорах, кроме елогуйского и суломайского, можно рассматривать звук [h] как глухую экскурсию гласного; в елогуйском же говоре этот звук фарингального образования и часто замещается (факультативно) глухим заднеязычным щелевым» [11]. Притом *h*-говоры локализованы в основном в северной части ареала распространения кетского языка (по р. Курейке). Из бурятских говоров в какой-то мере имел контакт с кетским языком нижнеудинский, в котором общебурятский *h* нередко заменяется аффрикатой *kt* или просто увулярным *x*. Влияние кетского языка в данном случае исключается.

В якутском языке фарингальный *h* появился сравнительно поздно и рассматривается здесь как результат взаимодействия якутского языка с эвенкийским. Е. И. Убрятова пишет, что «появление в якутском языке *h*, вероятно, связано с общей перестройкой системы проточных согласных, которая была вызвана воздействием эвенкийского языка» [12].

Следует особо подчеркнуть, что в период собственного становления бурятский язык имел наиболее оживленный контакт с эвенкийским языком, точнее, с говором байкальских тунгусов (эвенков), который, как показывают материалы А. Кастрена, имел *h*-основу [13].

Вопрос о том, почему именно фарингальный *h*, а не другой согласный стал употребляться вместо *s*, объясняется, во-первых, тем, что в самом языке-источнике *h* корреспондировал с *s*. В эвенкийском языке употребление *h*, *s*, *š* положено даже в основу классификации диалектов, выделяются *х а к а ю щ и е*, *с е к а ю щ и е* и *щ е к а ю щ и е* говоры. Во-вторых, фарингальный *h* попал на такую языковую почву, где в этот период в диалекте монгольского языка, активно контактировавшем с накающим эвенкийским диалектом, отсутствовали щелевые глухие согласные, кроме *s*. Таким образом, в начальный период языкового контакта согласные *h* и *s* употреблялись как факультативные аллофоны одной фонематической единицы, хотя с точки зрения акустико-физиологической различие между ними довольно значительное. Даже в современных бурятских говорах встречается произнесение *h* и *s* в одной и той же позиции в качестве факультативных вариантов. Аналогичное явление наблюдается в эвенском языке, где щелевые согласные *h* и *s* оказываются аллофонами одной фонемы, хотя их объединяет только то, что они являются глухими спирантами. Л. Р. Зиндер пишет по этому поводу, что «щелевой характер», разумеется, очень общий признак в таких языках, где много или хотя бы несколько щелевых, но в эвенском языке нет больше глухих щелевых, и, следовательно, уже одно то, что фонема является щелевым согласным, противопоставляет ее другим глухим согласным..., которые являются смычными. Таким образом, спирантность оказывается признаком, объединяющим аллофоны этой фонемы» [14]. При отсутствии в языке других глухих щелевых согласных оказалось достаточным сходство признаков глухости и щеливости, чтобы считать эти спиранты аллофонами одной фонемы.

Кроме того, полностью совпадает в эвенкийском и бурятском языках позиционное расположение этих чередующихся согласных, которые встречаются в начале и в середине слова. Комбинаторное изменение *h* полностью совпадает в этих языках: в начальной позиции *h* бывает глухим, в середине слова звонким.

Можно предположить, что сравнительно быстрому и почти тотальному

освоению бурятскими диалектами звука *h* мог способствовать среднемонгольский протетический *h* (**p* > *f* > *h*). Время появления первых монголоязычных племен на занимаемой ныне бурятами территории вокруг Байкала относится к раннему среднемонгольскому периоду развития монгольских языков. Как писал Б. Я. Владимирцов, «большинство среднемонгольских наречий знало начальный *h* в словах, соответствующих монг.-письм., начинающимся с гласного, причем это *h* восходило к глухому лабиальному прамонгольского языка» [15]. Когда субстратный *h* вошел в систему звуков данного языка, то протетический *h* закономерно выпал из употребления. Аналогичный случай произошел с фонемой *ʃ* в русском языке, где ее не было, но существовал аллофон фонемы *с*, близкий по своему значению глухому *ʃ*. В связи с заимствованиями слов с инициальным *ʃ* бывший аллофон фонемы *с* развился в самостоятельную фонему *ʃ*. Таким же образом протетический *h* явился как бы своеобразным катализатором появления в бурятском языке самостоятельной фонемы *h*.

Появление фарингального *h* в бурятском языке оказало существенное влияние на другие стороны его звукового строя. Во-первых, оно отразилось на общей системе консонантизма. Если во всех монгольских языках наблюдается строгое деление согласных по горизонтали на три артикуляционных ряда, то в бурятском языке появился фарингальный звук *h*, никак не вписывающийся в эту консонантную систему. Фонетисты выделяют четвертый артикуляционный ряд только для одного звука *h*. Во-вторых, процесс дезаффрикации, который характерен для истории бурятского языка, непосредственно связан с переходом глухого сильного щелевого *s* в *h*. Как известно, из всех монгольских языков только в бурятском фиксируется полное отсутствие аффрикат. Фонетический процесс $\underline{ts} > s$ (и вслед за ним $t's̄ > s̄$, $d'ž > ž$, $dz > z$) мог произойти только после того, когда звук *h* вытеснил *s*.

Таким образом, появление *h* в системе фонем одного из монгольских языков повлекло за собой полную перестройку структурного ряда смычно-щелевых и щелевых согласных. Если в монгольской консонантной системе всегда доминировали смычные согласные, то в бурятском начинают преобладать спиранты, что безусловно отражается на артикуляторной специфике языка в целом. Т

Из всего изложенного следует вывод, что такие существенные особенности бурятского языка, как интонационное своеобразие, появление фарингального *h*, полное исчезновение аффрикат, являются результатом языковых контактов, и трактуются они как элементы звенкийского фонетического субстрата. Появление «окающих» диалектов, междиалектных чередований *ž* и *j*, гласных смешанного ряда *æ* и *œ* также находятся в сфере действия языковых контактов, но рассматриваются как следы взаимодействия с диалектом одного из тюркских племен.

Вполне допустимо предположение о том, что при передвижении основной массы предков якутов из Прибайкалья на север отдельные группы их остались на занимаемых ими ранее территориях. Таким местом вполне могли оказаться богатые пастбищами, отдаленные от центра долины рек, в частности Тугнуй и Курбы в Забайкалье, Курумчинская долина в Доббайкалье. Со временем их говоры были ассимилированы языком основной массы региона (монгольских племен — предков бурят), оставив некоторые следы субстрата, например, по Тугнуй и Курбе — в виде сильно развитого «оканья», в эхиритском и булагатском говорах — в виде «жаканья» и опереднения гласных *a* и *o*. Анализ этих фонетических явлений дан в работе автора «Становление звукового строя бурятского языка» [16].

Таким образом, наиболее специфические черты бурятского языка относятся в основном к реалиям, связанным с различными ситуациями экстралингвистического характера, которые оказали существенное влияние на процесс становления звукового строя бурятского языка и его диалектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ligeti L.* Recherches sur les dialects mongols et turcs de l'Afghanistan // *Acta Orientalia*. IV, 1954. P. 99—100.
2. *Годаева В. Х.* Монгольские языки и диалекты Китая. М., 1960.
3. *Сосновский В. И.* К вопросу об образовании бурятской народности // *Бурятияведение*. IV. Верхнеудинск, 1928. С. 102—103.
4. *Окладников А. П.* Археологические данные о появлении первых монголов в Прибайкалье // *Филология и история монгольских народов*. М., 1958.
5. *Дебец Г. Ф.* Могильный железного периода в с. Зарубино // *Бурятияведение*. II. Верхнеудинск, 1926.
6. *Балдаев С. П.* Родословные предания и легенды бурят. Улан-Удэ, 1970. С. 294.
7. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I. Л., 1975; Т. II. Л., 1977.
8. *Долгих Б. О.* Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960.
9. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Бурятские исторические хроники и родословные (историко-лингвистическое исследование). Улан-Удэ, 1972.
10. *Романова А. В., Мыреева А. Н., Бараиков П. П.* Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков. Л., 1975. С. 146—147.
11. *Дульзон А. П.* Кетский язык. Томск, 1968. С. 49—50.
12. *Убрятова Е. И.* Опыт сравнительного изучения фонетических особенностей языка населения некоторых районов Якутской АССР. М., 1960. С. 74.
13. *Castrén M. A.* Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre. St.-Pb., 1856.
14. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М., 1979. С. 55.
15. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л., 1929. С. 411.
16. *Бураев И. Д.* Становление звукового строя бурятского языка. Новосибирск, 1981. С. 58—59, 91—93, 95—97.

РЕЦЕНЗИИ

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Влч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I — II. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. XCVI + 1328 с.*

Все, кто знал о подготовке рецензируемой книги к выходу в свет, ждали с нетерпением этого большого события — и не были разочарованы. Это произведение «in the Grand Style» может быть отнесено не только к индоевропейской филологии и культурологии, но и к общей лингвистике и истории Евразии. Чтение этой книги захватывает благодаря неисчерпаемому богатству ее содержания: перед нами силам обширных знаний и смелых теорий. Именно поэтому рецензируемый труд, как и всякое по-настоящему новаторское духовное явление, неизбежно вызовет споры и контроверзы. Именно поэтому, с другой стороны, в свете изложенных в рецензируемой книге положений, возможно, придется внести коренные изменения как непосредственно в реконструированные системы, так и в общепризнанное направление эволюции, причем это касается не только лингвистических фактов, но и предьстории индоевропейских культур.

В настоящей рецензии, являющейся скорее кратким очерком, я ограничусь перечнем наиболее важных достижений этого многопланового исследования, которое открывается революционной трактовкой систем смычных и заканчивается неожиданной для всех локализацией колыбели индоевропейцев. С одной стороны, я буду обращать особое внимание на те содержательные линии, которые привели к новым трактовкам, а с другой стороны — на собственно лингвистические или филологические проблемы, которые по большей части не могут быть отделены — в этом, в частности, состоит большая заслуга авторов — от тех потрясений, которые, как показано в работе, испытали размещение и предьстория индоевропейских культур.

Как известно, авторы книги — не только востоковеды широкого профиля, на протяжении всей книги они проявляют себя также и как теоретики. Введение (с. LXXIII — XCVI) целиком посвящено формулировке теоретических установок, на которые опирается исследование, и в частности, реконструкция. Эти в высшей степени содержательные страницы невозможно пересказать. Отметим лишь, что авторы используют сравнительный метод, метод внутренней реконструкции, но также прибегают к помощи ареальной лингвистики и синхронной типологии. Разумеется, в большей или меньшей степени это делают все, но в рецензируемой книге типологический фактор является решающим: «На данном этапе развития лингвистической науки, когда одним из основных направлений является структурно-типологическая лингвистика (и лингвистика универсалий), многое в традиционных построениях индоевропеистики, основанных на сравнительной (внешней) и внутренней реконструкции самого индоевропейского матернала, можно, по-видимому, пересмотреть с целью согласования постулируемого индоевропейского праязыка с данными типологической лингвистики. Такой анализ традиционных индоевропейских реконструкций и приведение их в соответствие с типологически вероятными системами может вызвать существенный пересмотр этих реконструкций» (с. LXXXIV).

Установка, тем самым, определена недвусмысленно: гипотезы относительно реконструкции должны проверяться на типологическую достоверность. Если они не достоверны, их следует изменить. Речь идет не столько даже о «типологии», сколько о «лингвистике универсалий». Неслучайно поэтому столь частое упоминание имени Гринберга.

Другая опора — это порождающая грамматика, некоторые ее процедуры и многие ее принципы. Например, вместо того, чтобы аналитически представить в виде фонем-

* Перевод рецензии, опубликованной в BSLP, 1986, t. LXXXI, fasc. 2.

ных трансформаций следующий процесс:

$$/b^h/ \rightarrow /b/, /d^h/ \rightarrow /d/, /g^h/ \rightarrow /g/,$$

авторы предпочитают использовать «правило переписывания», оперирующее лишь дифференциальными признаками:

$$[+ \text{придыхае.}] \longrightarrow [- \text{придыхание}] \left[\begin{array}{l} + \text{смычность} \\ + \text{звонкость} \end{array} \right]$$

Кроме того, в синтаксической части особенно заметна тенденция к разделению на уровни, типичному для генеративистов: «поверхностные» и «глубинные» структуры.

Первая часть (428 с.) посвящена «Структуре общендоевропейского языка». Заметим сразу, что авторы различают три хронологических уровня: протоиндоевропейский, поздний и.-е. (накануне распада), «исторические» и.-е. диалекты.

Первый раздел (с. 5—263) первой части книги, состоящий из четырех глав, посвящен реконструкции «фонологической системы и морфологии общендоевропейского языка». Остановимся прежде всего на первой главе, наиболее новаторской, наиболее важной для понимания дальнейшего. Здесь речь идет о «трех сериях и.-е. смычных (парадигматика и спштагматика). Критика, или «реинтерпретация», относится к «традиционной» системе и.-е. смычных. Я приведу здесь «классическую» таблицу, опуская лабиовелярные (вариант с тремя, а не с четырьмя сериями):

I	II	III
(b)	b ^h	p
d	d ^h	t
g	g ^h	k

Такую систему нельзя признать удовлетворительной из-за лакуны в позиции губного звонкого непрдыхательного: речь идет об отсутствии звонкого билабиального *b, что давно уже замечено (он отсутствует или крайне редко встречается). Авторы исходят из реинтерпретации, предложенной Педерсеном, который представлял систему «протоиндоевропейского» следующим образом:

I	II	III
—	p ^h	b
t	t ^h	d
k	k ^h	g

I и III серии обмениваются признаками звонкость/глухость, а серия II утрачивает звонкость.

Следующий этап: в соответствии с данными синхронной типологии (Гринберг, Кэмпбелл и т. д.) и исходя из положений Якобсона, который также заметил несоответствие между и.-е. консонантизмом и универсальными тенденциями человеческого языка, авторы предлагают реинтерпретировать смычные III серии как глухие придыхательные. Отсюда следует, очевидно, пересмотр согласных I серии. Из-за отсутствия билабиального члена их нельзя считать звонкими. Следовательно, это глухие непрдыхательные (глухие придыхательные представлены в серии III). Типология утверждает, что в подсистеме глухих смычных имеет место «иерархия маркированности», упорядочивающая члены системы от наиболее маркированных к наименее маркированным: глухой глоттализированный более маркирован, чем глухой придыхательный, этот последний более маркирован, чем глухой простой непрдыхательный. Смычный p^h, обладающий наибольшей маркированностью, имеет, следовательно, наименьшую частотность, чем остальные, и даже имеет тенденцию к исчезновению, в результате чего в системе образуется пустая клетка. Этот факт из области «универсалий» (Гринберг) наилучшим образом объясняет дефектность или отсутствие билабиального члена серии I. Тем более, что, исходя из традиционной схемы, нельзя не признать распределение частот и.-е. смычных несколько странным:

серия I — 6,2%, серия II — 8,9%, серия III — 17,7%.

Если принять во внимание иерархию маркированности, получается, что более маркированные звонкие придыхательные (серия II) более частотны, чем слабо маркированные звонкие непрдыхательные серии I, что с трудом объяснимо. Однако распределение частот оказывается естественным и соответствующим общим тенденциям языка, если наименее частотную I серию считать серией глоттализированных, более маркированных, чем звонкие. Исходя из этого, авторы постулируют следующую сис-

тему:

I	II	III
(p')	b ^h	p ^h
t'	d ^h	t ^h
k'	g ^h	k ^h

Принимая во внимание аллофоны, приходится усложнить картину в том, что касается единиц, но упростить в том, что касается дифференциальных признаков:

I	II	III
(p')	b ^h , b	p ^h , p
t'	d ^h , d	t ^h , t
k'	g ^h , g	k ^h , k

Это означает, что в и.-е. была серия, маркированная признаком «глоттализация», другая серия с признаком «звонкость», третья — с признаком «не-звонкость», две последние серии с придыхательными и непридыхательными аллофонами. Именно этой моделью авторы оперируют в дальнейшем изложении.

Отметим, что звуки, называемые здесь (как и в самой книге) «глоттализованными», в строгом, фонетическом смысле таковыми не являются (в отличие, например, от увулярного грузинского q', настоящего «глоттализованного»). Это согласные с гортанной смычкой — «постглоттализованные», или «эктивные».

Как отмечается в книге, идея интерпретации в качестве глоттализованной одной из серий и.-е. смычных была выдвинута уже в 1956 г. Мартине и сформулирована одновременно, но независимо от него авторами рецензируемой книги (1972), Хоппером (1973) и Одрюком (1975). Известная под названием «глоттальной теории», она до сих пор положительно оценивалась индоевропейцами. Эта теория дает возможность сформулировать далеко идущие следствия. Перечислим некоторые из них.

Первое следствие, наиболее очевидное и практически значимое, ведет к трудоемкому пересмотру существующего положения дел: приходится «переписывать» большое количество и.-е. лексем, и среди них самые распространенные. Таким образом, сторонники этой теории отныне будут пользоваться буквами *t', *k' и т. д. в тех случаях, где раньше писались *d-, *g- и т. д. Такие известные слова, как «небо», «давать», «дом» и т. д., будут записываться теперь как *t'îēu, *t'îō, *t'om, а не как *dîēu, *dō, *dom. Эти изменения вызовут озабоченность у специалиста по классической филологии, но, несомненно, обрадуют кавказоведа, который увидит в этом расширение сферы влияния гортанной смычки.

Другое следствие является более важным: придется переформулировать некоторые основные фонетические «законы», в частности, закон Бартоломе. Проиллюстрируем результаты таких ревизий (приводимые правила широко известны, но имеют нетрадиционную форму):

(1) Два смычных, имеющие одинаковые пучки дифференциальных признаков, несовместимы в пределах корня структуры C₁VC₂.

(2) Два глоттализованных смычных несовместимы в пределах корня структуры C₁VC₂.

(3) Глоттализованные смычные (серия I) совместимы с фонемами серии III в любых позициях.

(4) Неглоттализованные смычные, входя в состав единого корня, должны характеризоваться идентичным значением признака звонкость/глухость.

Закон Грассмана, например, послужил поводом для еще одной новой концепции. Речь идет уже не об утрате придыхательности, а о применении гораздо более фундаментального правила, в соответствии с которым:

(5) Если корень содержит два смычных серии II, дистантно расположенных, один из них представлен придыхательным вариантом, а другой — непридыхательным. Следовательно, такие формы, как скр. *bahú*, греч. πῆχυσ, предполагают и.-е. *bāgh^h-ū*, соответственно с непридыхательным и придыхательным аллофонами и.-е. фонем *b[^h] и *g[^h] (а не *b[^h] *āg[^h]-ū*). Это «правило» независимо от своей объяснительной силы вызывает интерес главным образом потому, что дает единое объяснение диалектным фактам (объяснение, относящееся к общиндоевропейскому состоянию).

Наиболее радикальна, однако, ревизия фонологических систем различных исторических диалектов в их отношении к общиндоевропейскому: она состоит в том, что Мейерхофер называет «десанскритизацией» (Entsanskritisierung) и.-е. модели, или, в общих чертах, в опрокидывании традиционной персепективы. В самом деле, если допустить, что первая серия и.-е. смычных — это глухие непридыхательные («глоттализованные» или нет — в данном случае несущественно), приходится сделать естественный вывод о том, что наиболее консервативные, наиболее близкие к исходному состоянию

системы можно обнаружить в германских языках в армянском и в анатолийских языках. Напротив, наиболее поздние и удаленные от общиндоевропейского системы находим в индоиранских, греческом, итальянских и др. языках.

Авторы подробно реконструируют фонологические и фонетические процессы, приведшие к возникновению систем исторических языков. Наиболее радикальные изменения произошли в санскрите: имела место «деглоттализация» и озвончение серии I, что привело к возникновению серии звонких непридыхательных. Произошло расщепление серии II (звонкой): непридыхательные аллофоны частично дали звонкие серии I, придыхательные аллофоны дали звонкие придыхательные серии II. Подобным же образом непридыхательные и придыхательные аллофоны серии III (глухие неглоттализованные) дали, с одной стороны, глухие серии III (глухие непридыхательные), а с другой — глухие придыхательные серии IV.

Процесс преобразования и.-е. смыхных в греческом можно представить следующим образом: 1) утрата придыхания придыхательными аллофонами III серии, например $t^h - t$; 2) оглушение обеих групп аллофонов II серии: $b - p$, $b^h - p^h$; 3) озвончение глоттализованных I серии: $k' - g$.

С другой стороны, в более консервативных языках, например, в армянском, исходная и.-е. система практически сохранена: серия I — глухие неглоттализованные или глоттализованные (восточноармянские диалекты, имеющие гортанную смычку, сохранили, таким образом, этот различительный признак, который не следует считать инновацией, вызванной субстратом; субстрат лишь способствовал сохранению первоначального положения); серия II — звонкие, придыхательные или непридыхательные; серия III — глухие придыхательные (речь идет, разумеется, о древнеармянском).

В германском имеет место деглоттализация серии I и, в более поздний период, спрантизация придыхательных аллофонов серий II и III. Все изложенное приводит к отказу, ввиду их «неадекватности» или «устарелости», от некоторых законов, надежно укоренившихся в наших традициях, в частности, от «закона Гримма» и от прочих законов, предполагающих «сдвиг согласных» в таких языках, как германские, армянский и т. п. Отныне, если выражение «сдвиг согласных» и применимо, то только к таким языкам, как индоиранские, греческий, латинский и т. п.

Применение «глоттальной теории» и ее следствия в отношении прочих частей системы приводят к другим более или менее существенным изменениям. Так, она играет важную роль и для выводов в области ареальной лингвистики, которой посвящен последний раздел второй части. С помощью этой теории можно «датировать» заимствования и одновременно уточнить механизмы, которые они приводят в действие. В некоторых случаях, однако, эта теория порождает новые трудности: например, несомненное заимствование общекавказского **uγ-el* «ядро» в и.-е. труднее объяснить, исходя из и.-е. формы **iuk'-om*, чем из «традиционной» формы **iug-om*. То же самое можно сказать о большинстве кавкаских лексем и.-е. происхождения: вопреки ожиданиям, «глоттализация» все осложняет.

Упомяну также кратко три следующие главы, содержащие много важного и интересного, но не такие «ниспровергательные»: 2. «Локальные ряды индоевропейской системы смыхных и класс сбилянтных спирантов. Парадигматика и синтагматика»; 3. «Система гласных и теория морфонологических чередований. Сонанты и „ларингальные“ в индоевропейском»; 4. «Структура индоевропейского корня». Авторы поддерживают следующую точку зрения, изложенную Т. В. Гамкрелидзе в 1960 и 1968 гг. и Вяч. Вс. Ивановым в 1965 г., развивая и уточняя ее: и.-е. система содержала три простых ларингальных фонемы H_1 , H_2 и H_3 , которые определяли тембр и количество соответствующих гласных **e*, **a*, **o* и которые совпали в одной ларингальной фонеме **H* после фонологизации соответствующих гласных /**e*/, /**a*/, /**o*/.

Несколько неожиданно первая часть заканчивается типологическим соположением морфонологической структуры и.-е. и общекавказской (ю.-к.) систем; последняя была реконструирована Гамкрелидзе и Мачавариани в 1965 г. в их большой работе о сонантах и аблауте в южнокавказских языках. Эта работа уже тогда заканчивалась сравнением ю.-к. и и.-е. с кавказоведческой точки зрения. На этот раз сравнение, дополняющее предшествующее, проведено с точки зрения и.-е. Его результаты поразительны: «Преобразование индоевропейской и картвельской систем осуществлялось в направлении сближения их языковых структур, приведшего в результате к формированию столь далеко идущего изоморфизма морфонологических систем, который, очевидно, исключает возможность независимого развития в типологически сходном направлении и свидетельствует скорее о возможных исторических контактах» (с. 263). С этим трудно спорить: почти полная уверенность в правильности приведенных положений призвана сыграть первостепенную роль в «ареальном» исследовании и.-е. языков, в определении их географического происхождения и дальнейшей судьбы.

Второй раздел первой части книги под названием «Анализ грамматической структуры общиндоевропейского языка» посвящен в основном синтаксису: гл. 5 — «Пра-

индоевропейский как язык активной типологии»; гл. 6 — «Типология грамматической синтактики общиндоевропейского языка».

Наибольшей новизной в отношении и.-е. синтаксиса отличается гл. 5, которая опирается на новейшие гипотезы, выдвинутые в рамках лингвистической типологии. Во всяком случае, эта глава так же необычна, как и глава о смычных, и можно сказать наверняка, что две теории, изложенные в рецензируемой книге, будут иметь наибольший резонанс или, во всяком случае, вызовут споры и дискуссии — это «глоттальная теория» и «теория активности», о которой сейчас пойдет речь.

Указанная теория основана на некоторых хорошо известных фактах (однако авторы делают из них неожиданные следствия): существование в и.-е. противопоставления одушевленности и неодушевленности, двойная серия падежных показателей, различие между глаголами на *-*mi* и на *-*Ha* и т. п.; авторы указывают на «... явные черты бинаризма, пронизывающего всю индоевропейскую языковую систему, как грамматическую, так и лексико-семантическую» (с. 267).

Две формы род. п. ед. /мн. числа *-*os* и *-*om* совпадают с окончаниями *-*os* и *-*om* номинатива и аккузатива. С другой стороны, аккузатив на *-*om* совпадает с окончанием *-*om* существительных среднего рода в номинативе и аккузативе. Все имена среднего рода на *-*om* принадлежат к классу неодушевленных. Все имена на *-*s*, *-*os* принадлежат к классу одушевленных (или классу существ, которые считаются таковыми). Этому классическому противопоставлению авторы предпочитают противопоставление «активное» vs. «пассивное»: «Суффикс *-*s*, *-*os* является деривационным маркером имен активного класса, суффикс *-*om* — деривационным маркером имен пассивного класса» (с. 273).

Признание такого бинаризма у имен приводит к необходимости постулировать разделение глаголов на два класса — «активность» противопоставляется «инактивности». Высказав интересные соображения о формировании именных, местоименных и т. п. флексий, авторы исследуют эту «бинарную структуру глагольных категорий»: глагольные формы разделяются на два класса в зависимости от того, «какую семантику — активную или пассивную — они выражают» или: «Глаголы активного класса сочетаются исключительно с активными актантами, глаголы пассивного класса — с пассивными именами». Глаголы с суф. *-*mi* выступают в связи с активными именами, глаголы с суф. *-*Ha* — с пассивными. Отсюда две парадигмы:

	Актив			Пассив		
	Агенис	Предикат	Пациенс	Агенис	Предикат	Пациенс
1-е л.	Активный	Глагол на	- <i>mi</i> Активный	Активный	Глагол на	- <i>Ha</i> Неактивный
2-е л.	—	—	- <i>si</i> —	—	—	- <i>thHa</i> —
3-е л.	—	—	- <i>ti</i> —	—	—	- <i>e</i> —
Пример:	«Человек убивает зверя»			«Пример:» Человек кладет камень»		

Далее следуют интересные наблюдения над морфологией глагола — соотношением перфекта и медиума, природой и происхождением суффикса *-*ni*^h и т. д., — выдержанные в духе бинаризма, определенного выше.

Наконец, в последней части рассматриваемой главы излагается «Активная типология праиндоевропейского языка» (с. 308—319). Поскольку эта чисто синтаксическая часть изложения до некоторой степени хаотична и содержит повторения (в отличие от начала книги), я буду излагать факты по-своему. Для простоты будут использованы неуместные здесь термины «субъект» и «объект» наряду с чисто семантическими понятиями агениса и пациенса (эти последние, как мы увидим, также неадекватны).

Актантные отношения могут организовываться по трем основным типам: аккузативному (или номинативному), эргативному, активному. Они различаются в зависимости от трактовки единственного актанта одноактантного высказывания сравнительно с трактовкой каждого из двух актантов двухактантного высказывания (имеется в виду, что различия форм выражаются в именах, в глаголах или и в тех и в других).

1. А к к у з а т и в н а я с т р у к т у р а: единственный актант одновалентного предиката имеет ту же форму, что и агенис (или «субъект») двухвалентного предиката, например:

одновалентный предикат	<i>puer uenit</i>
двухвалентный предикат	<i>puer puella-m uidit</i>

В данном случае особенным образом трактуется пациенс, поэтому название «аккузативный» здесь подходит больше, чем «номинативный».

II. Э р г а т и в н а я с т р у к т у р а: единственный актант одновалентного предиката имеет ту же форму, что и пациенс (или «объект») двухвалентного предиката. Пример из лаского, южнокавказского языка, относящегося к более чистому «эргативному» типу, чем грузинский (предложения имеют тот же смысл и тот же порядок

слов, что и вышеприведенные латинские):

одновалентный предикат	<i>bere komoztu</i>
двухвалентный предикат	<i>bere-k bozo kozi ru.</i>

Здесь специфическим образом трактуется агенс двухвалентного предиката — он получает показатель эргатива.

III. «А к т и в н а я» структура: имеется два типа показателей — один для актантов, осмысливаемых как активные, другой — для актантов, осмысливаемых как инактивные. Приведу пример из языка гуарани (по Боссопу: *Lingua*, 1980, 50, с. 373—377). Для структур этого типа требуется четыре высказывания вместо двух. В приводимых примерах маркируется глагол, но от этого ничего не меняется. Возьмем, например, актант 2-го л. ед. числа «ты»; он маркируется в глаголе префиксом «активной» серии *xe-* или инактивной серии *nde-* (3-е л., с которым оно здесь сочетается, не имеет показателя). Если предикат одновалентен, речь идет только о семантическом согласовании, без синтаксических следствий: «ты бежишь» vs. «ты голоден». Двухвалентный предикат предполагает следующую дифференциацию: предикат с активным префиксом = актант «ты» мыслится как активный в процессе с двумя участниками: «Ты видишь, трогаешь, бьешь ... (кого-то)»; глагол с инактивным префиксом = актант «ты» мыслится как инактивный в процессе с двумя участниками: «(некто) видит, трогает, бьет ТЕБЯ...»

	Активные префиксы	Инактивные префиксы
одновалентный	<i>re-ma'apo</i> «ты работаешь»	<i>nde-puru'a</i> «ты беременна»
двухвалентный	<i>re-juhi</i> «ты (его) трогает»	<i>nde-pele</i> «(он) тебя трогает»

Маркирование имени можно наблюдать на материале америндейских языков, описанных Спеком (*American Anthropologist*, 1907, v. 9, № 3, с. 470—483). В этих языках активный падеж на *-t* противопоставлен инактивному падежу на *-n/-0*.

Для актантной структуры такого типа становятся абсолютно несущественными противопоставления, важные при других обстоятельствах, такие, как субъект vs. объект, агенс vs. пациенс, переходный vs. непереходный. Действующий в данном случае механизм весьма прост: активные имена связаны с некоторым показателем (именным и/или глагольным), независимо от их функции. То, что мы в своих языках называем агенсом, является активным актантом двухвалентного высказывания, то, что мы называем пациенсом — инактивным актантом двухвалентного высказывания.

Возвращаясь теперь к изложению рецензируемой работы.

Актантная структура активного типа естественным образом соответствует фундаментальному «бипаризму» протоиндоевропейской системы. Эту структуру можно изобразить следующим образом (V = глагол, N = имя, A = актив, In = инактив):

	Общая схема		Протои.-е схема	
(1) одновалентные активные	N-A	V	N-*os	V
(2) двухвалентные	N-A	V N-In	N-*os	V N-*om
(3) одновалентные инактивные		N-In V	N-*om	V

Опуская V и N как общие коэффициенты, можно получить схемы:

	Общая схема	Протои.-е. схема
(1) одновалентные активные	A	*-os
(2) двухвалентные	A In	*-os *-om
(3) одновалентные инактивные	In	*-om

Таковы семантико-синтаксические основания протоиндоевропейского. Однако со времени общиндоевропейского система изменилась и в результате долгой эволюции превратилась в другую, аккузативного типа. В самом деле, реконструкция, исходящая из исторически засвидетельствованных языков, ясно обнаруживает аккузативный характер системы накануне распада языковой общности, хотя и с ясно выраженными следами древней структуры активного типа. Авторы не допускают существования в древнейший период эргативной структуры. Эволюция «глубинной структуры языка» (понятие, которое постоянно используется в этой части книги) шла не от эргативной системы к аккузативной, но от активной конструкции к конструкции либо эргативной, либо аккузативной (с. 314—315). Что же при этом происходило?

«Глубинный» именной бинаризм (т. е. противопоставление актива инактиву), характерный для протои.-е. и выражающийся «поверхностно» в системе «активного» типа, распространился на другие сферы языка, в частности, на глагол, в связи с чем произошло разделение глаголов на «активные» и «инактивные» (более позднее сравнительно с именами). Это разделение впоследствии трансформировалось, в результате

чего возникли «глубинная» субъектно-объектная и, соответственно, переходно-непереходная системы. «Поверхностная» активная конструкция, потеряв смысл своего существования, также видоизменилась: вместо того, чтобы выражать различие между активным и пассивным актантами, она стала маркировать противопоставление субъекта и объекта. Другими словами, выражение синтаксической функции вытеснило выражение семантического класса. При этом почти автоматически произошла нейтрализация семантического противопоставления актива/пассива для единственного актанта одновалентного предиката: оказалось достаточным различать актанты двухвалентного предиката, субъект (или агенс) и объект (или пациенс). Организация двухвалентной глагольной синтагмы не изменилась ни по своему принципу, ни по форме: один показатель маркировал субъект (или агенс), другой — объект (или пациенс). Что касается субъекта одновалентного предиката в плане выражения, нейтрализация противопоставления актива/пассива привела к тому, что один из двух показателей исчез, уступив место другому (поскольку в действительности маркирование этого актанта вообще потеряло смысл). Отсюда две возможности: 1) показатель актива исчезает, показатель пассива — обобщается. Это приводит к структуре эргативного типа: по форме субъект одновалентного предиката совпадает с объектом двухвалентного; особый показатель сохраняется только у агенса двухвалентного глагола; 2) показатель пассива исчезает, показатель актива обобщается. Все это приводит к структуре аккузативного типа: субъект одновалентного предиката совпадает по форме с субъектом двухвалентного.

Между этапом протоиндоевропейского и этапом общиндоевропейского имело место развитие по второму типу: «Происходит нейтрализация противопоставления именных образований на *-os и *-om//θ, которые могут уже выступать в качестве актанта — субъекта при одновалентных глагольных структурах как ряда *-mi, так и ряда *-Na» (с. 316). Бывшие активные формы используются для маркирования синтаксической функции субъекта, бывшие пассивные формы — для маркирования синтаксической функции объекта. Общиндоевропейская система выглядит так:

Падеж субъекта	Падеж объекта
*-[o]s	*-[o]m
*-om	*-om
*-θ	*-θ

Сюда же относится оппозиция *-θ — *-m, в которой показатель субъекта *-θ есть результат утраты *-s после звонкого и ларингала (с. 183—184). Чисто фонологическое развитие было, должно быть, усилено следующей тенденцией аккузативной системы — слабо и вовсе не маркировать функцию субъекта, маркировать или сильно маркировать функцию объекта.

И.е. система еще раз сравнивается с южнокавказской: их развитие оказывается взаимно дополняемым, поскольку южнокавказские языки пришли к структуре эргативного типа. Во всяком случае, по мнению авторов, два синтаксических типа — аккузативный и эргативный — не имеет смысла противопоставлять, ибо они фактически восходят к одному и тому же типу и являются «поверхностными» реализациями одной и той же «глубинной» структуры.

Наконец, авторы резко критикуют попытки некоторых лингвистов (Улебек, Вайан, Гендриксон, Мартини и т. д.) обнаружить следы эргативной структуры в и.е.: эта гипотеза, по их мнению, неприемлема (с. 319). Такая строгость представляется чрезмерной, поскольку перечисленные ученые способствовали постановке проблемы и уже определили некоторые элементы ее решения.

Вообще говоря, и ход мысли, и реконструкции авторов вызовут, несомненно, оживленные споры. Теоретические постулаты, связанные с разделением на уровни (последние типичны для генеративистов: ср. «глубинный», «поверхностный»), могут вызвать раздражение у некоторых читателей. Однако здесь дело лишь в способе изложения и формулирования проблем. Фактически заслуга авторов состоит в показе того, что материал может либо рассматриваться в более широких рамках общей типологии, либо ограничиваться проблематикой и.е. языка. Два примера:

1) **О б щ а я т и п о л о г и я.** Из приводимых авторами аргументов можно сделать следующий вывод (хотя в таком виде он нигде не сформулирован): неважно, маркирован или нет единственный актант одновалентного предиката. Поскольку он является единственным и в принципе обязательно, его функцию можно не указывать (т.е. можно указывать, а можно и нет). Эта тенденция широко представлена в языках мира: для единственного актанта наиболее характерно отсутствие показателя или слабое маркирование как в аккузативных, так и в эргативных языках. Только так называемая «активная» структура с необходимостью требует маркирования единственного актанта, но по семантическому, а не функциональному признаку.

2) **И н д о е в р о п е и с т и к а.** Если до некоторой степени допускать возмож-

ность существования в индоевропейском древнего эргатива, как это делали многие авторы в течение последних пятидесяти лет (Vaillant, BSL, 1936 и т. д.), исходя из реконструкции именной флексии, приходится наряду с этим постулировать существование одной из двух структур — эргативной, если противопоставлять двухвалентный предикат и одновалентный предикат с **инактивными** актантами, и аккумулятивной, если противопоставлять двухвалентный предикат и одновалентный предикат с **активными** актантами. «Эргативная» гипотеза в индоевропейском не является самодостаточной. Факты таковы, что требование более простой формулировки этой гипотезы приводит к ее замене гипотезой активной системы. Нельзя не признать очевидное: если тождество реконструированных флексивных форм совпадает с тождеством синтаксических функций, то, следовательно, синтаксис индоевропейского языка был того же типа, что и синтаксис гуарани.

Другие синтаксические проблемы исследуются в гл. 6 «Типология грамматической синтагматики общиндоевропейского языка» (с. 320—368), в которой известные факты по-новому формулируются и интерпретируются, иногда неожиданным образом. И здесь реконструкция также сопровождается типологическими аргументами. В результате авторы реконструируют модель SVO, соответствующую, по их мнению, тому, что можно было бы ожидать от языка активного типа. Среди прочего мы узнаем, что структура **индоевропейского простого предложения** очень близка к той, которую обнаруживают североавстралийские языки. Кроме того, по-новому осмыслены пассивный и средний залоги, первый — на основе постулатов порождающей грамматики, второй — с привлечением системы различных «версий» грузинского (и вообще южнокавказских языков). Все это хорошо обосновано и вызывает большой интерес, хотя некоторые положения почти шокируют. Во всяком случае, и в связи с упомянутыми темами можно ожидать оживленных дискуссий.

Последний раздел первой части также способен привести к острой борьбе мнений... Речь идет о третьем разделе «Ареальные структуры общиндоевропейского языка», содержащем единственную главу — 7. «Членение индоевропейской языковой общности» (с. 369—428). Исходя из тщательно проработанных грамматических, фонологических и лексических изоглосс, авторы предлагают классификацию и.-е. диалектов и указывают на последовательность этапов их расчленения (7 фаз): 1) Общинеоэропейский; 2) Внутреннее разделение на группы А и В; 3) Отделение анатолийского от А; 4) Выделение группы В и остатка группы А (тохаро-кельто-италийский); 5) Отделение тохарского от группы А; разделение группы В на индо-ирано-греческо-армянский и балто-славяно-германский и т. д. Таким образом заканчивается первая часть, насыщенная и местами перенасыщенная информацией, но захватывающая, написанная с большим умом, во многих местах являющая читателю яркую новизну, а иногда даже и революционность. Это собственно лингвистическая часть книги, и поэтому здесь ей было уделено преимущественное внимание, хотя и пришлось ограничиться беглым обзором с несколькими останками. Вторая часть рецензируемой книги будет рассмотрена очень кратко, разумеется, не потому, что она менее интересна (читать ее намного легче), но потому, что она посвящена проблемам культуры, как следует из ее названия: «Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры». Способы исследования здесь крайне разнообразны, при этом предпочтение отдается сравнительной лингвистике (генетической и ареальной) и археологии, с частым обращением к истории реалий и общей «культурологии». Обнаруживаемое при этом богатство эрудиции поистине не имеет себе равных.

Первый раздел второй части — «Семантический словарь общиндоевропейского языка» (с. 457—855) — имеет целью реконструировать концептуальный и практический универсум индоевропейцев, исходя из лексем, понятий и реалий, общих для них в период, предшествующий разделению, во всех областях человеческого опыта. Рассматриваются понятия, относящиеся к миру живого (боги, люди, животные, растения); к природной среде, к климату; к производительной деятельности и орудиям труда; к социальному и экономическому устройству, к системе родства; к концепции мироздания, к религии и ее обрядам; во всех видах нормализации — в текстах и поэтической речи, в системах счисления и метрике. Приведенный сухой перечень не способен, разумеется, отразить того удовольствия, которое получаешь от 400 страниц текста, читающегося как роман, несмотря на серьезность аргументации (пусть даже не всегда убедительной) и на необязательность иллюстративного материала.

Вторая часть (с. 856—957), несомненно, станет объектом жарких дискуссий, причем следует ожидать резких возражений, относящихся и к фактам, и к теоретическим принципам их рассмотрения. Дело в том, что речь идет о том, чтобы локализовать с высокой степенью точности колыбель индоевропейцев, их «прародину» (Urheimat), и проследить пути, приведшие их к местам исторического обитания после завершения расселения. Это является третьей революционной «теорией» авторов, или, как ее уже называют некоторые ученые, «восточной гипотезой».

На протяжении V тысячелетия и в начале IV до н. э. индоевропейцы занимали пространство к востоку от Анатолии, к югу от Малого Кавказа и к северу от Месопотамии. К северу это пространство доходило до верховьев Аракса, к югу — до Месопотамии и Ассирии. К востоку это пространство простиралось до долин Тигра и Евфрата, к западу — до верховьев Евфрата, включая притоки Евфрата и Тигра. В конечном счете получается, что прародина индоевропейцев, захватывая окрестности озер Ван и Урмия, приблизительно совпадала с территорией Кардуса и юга древней Армении.

Именно из этих мест, начиная с IV тысячелетия, выходят этнические и диалектные группы, которые в будущем заселят Евразию. Некоторые из них были уже практически как бы у места назначения, например, анатолийцы, армяне, греки (во всяком случае, азиатские), часть арийцев. Другим, наоборот, пришлось преодолеть огромные пространства, пробираясь обходными путями, так что реконструкция их маршрута представляет собой длинную извилистую линию.

Таким образом, большая часть миграций принимает направление, противоположное общепризнанному. Так, «староевропейская» группа, от которой впоследствии отделились кельты, италийцы и т. д., обогнула Каспийское море с востока и добралась на севере до Аральского моря. Но прежде чем повернуть на запад, эта группа задержалась на «второй прародине» (как ее называют авторы) — на юге Балкан и России, между Дунаем и Уралом, где она пребывала долгое время. Допущение этой тысячелетней остановки означает возврат к классически признанному пути миграции к западу через центральную и южную Европу (к тому же и само понятие «староевропейский», заимствованное, по-видимому, у Краппа, в некотором смысле означает возврат к традиции).

Все эти гипотезы тщательно выстроены и подкреплены доказательствами, на которых следует остановиться подробнее. Они разнообразны по своей природе и апеллируют к многочисленным областям знания, начиная от наиболее традиционных (классическая филология), и кончая наиболее современными (такими, как историческая климатология или эпидемиология), причем первые из этих дисциплин подкрепляются данными вторых и наоборот. Вот один из множества примеров: маршрут группы народов, разговаривавших на «староевропейских» диалектах, устанавливается, с одной стороны, с помощью археологии (с привлечением огромного количества свидетельств), гидронимии и сравнительной лексикологии, но, с другой стороны, также и с помощью данных по истории чумы (особенно на основе исследования Леруа Лядюри), которые сопоставляются с распространенностью названия грызуна — переносчика чумы. Вывод: этнос, из которого позже выделились латиняне, балты, славяне и т. д., ко времени проникновения в Европу уже обладал иммунитетом против чумы, что предполагает предшествующее длительное пребывание в Центральной Азии (в областях, прилегающих к Аральскому морю).

Большая часть доказательств опирается на археологические и доисторические свидетельства. Поэтому можно приготовиться к резким и, возможно, даже нескончаемым спорам: обращение с реалиями производит одновременно впечатление чрезмерной непринужденности и определенной затрудненности; можно ожидать «буковой войны», «березовой войны» и других схваток. Во всяком случае, лингвисты должны хорошо взвесить свои доводы в споре, ибо наиболее веские доказательства затрагивают «реальные» отношения между многими языковыми семьями и в конечном счете опираются на филологию. Даже если «восточная» гипотеза не будет принята, придется находить решения для многих важных проблем. Например, один из главных аргументов локализации прародины между Араксом и северной Месопотамией состоит в констатации двух фактов. Лексические заимствования, с одной стороны, между индоевропейским и семитским и, с другой — между южнокавказским и индоевропейским имели место — это подтверждается сравнением форм — до дифференциации каждой из этих языковых семей; следовательно, их нужно отнести к периоду общиндоевропейского, общесемитского, общекавказского. Это предполагает продолжительные связи между упомянутыми группами в древнейшую эпоху, вплоть до III тысячелетия до н. э. Такие факты получают наилучшее объяснение, если допустить, что эти народы в период, близкий к IV тысячелетию, занимали соседние или даже частично соприкасающиеся территории. Все изложенное требует подробного обсуждения, но любые решения следует принимать с учетом явлений, открытых авторами книги, и тех новых требований, которые с ними связаны.

Однако главный вывод, к которому приходишь по прочтении этого итогового труда, состоит в том, что отныне компаративисты, лингвисты и историки должны будут отвечать на огромное количество вопросов, основанных на новых или обновленных концепциях или формулировках. И давая какие бы то ни было ответы, придется осмысливать массу фактов, на которые опираются доказательства, по большей части весьма убедительные. Добавлю, что и неискушенный читатель, не вовлеченный в споры специалистов, многое почерпнет из рецензируемой книги, ибо она представ-

ляет собой энциклопедию и. е. языков и культур. Книга эта не имеет себе равных и охватывает в мельчайших деталях всю совокупность проблем, опираясь на исчерпывающие и надежнейшие источники, список которых насчитывает две тысячи названий. Можно уверенно утверждать, что данный труд, несмотря на свои монументальные размеры, легок для прочтения благодаря большому количеству четких подразделений, воплощающих замысел книги, и особенно благодаря указателю на двухстах страницах (имеется даже четырехстранный «индекс к „указателям“»): с помощью всего этого можно сразу же найти то, что нужно, даже если это мелочь.

Итак, мы вправе теперь считать, что читатель хорошо подготовлен к путешествию, в которое зовут его авторы книги, ибо входить в этот мир нужно так, как когда-то проникали в огромные итоговые произведения прошлого века, например, в «Феноменологию духа»: путешественник был увлечен движением и восхищен непреодолимым натиском идей. Таково свойство великих произведений прошлого. Подобно им, эта великолепная книга, несмотря на ее современность, не только дарит нам соблазны, но и подвергает испытаниям.

Шарашидзе Ж.

Перевела с французского *Гульга О. А.*

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I — II. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. ХСVI — 1328 с.*

Фундаментальные лингвистические работы, являющиеся трудом многих лет жизни, всегда вызывают восхищение. Тем более, что со времен монументального «Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen» К. Бругмана и Б. Дельбрюка (Strassburg 1893—1900) обобщающих трудов по индоевропейистике не вышло. За эту сложную задачу не взялся даже А. Мейе, хотя его «Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes» намного содержательнее, чем позволяет предположить непритязательное название этой книги.

Начнем с композиции рецензируемой книги. Каждый том соответствует одной части. Первая часть, озаглавленная «Структура общиндоевропейского языка», состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен фонологической системе и морфологии общиндоевропейского языка и включает в себя четыре главы: 1) «Три серии индоевропейских смычных. Парадигматика и синтагматика» (с. 5—80); 2) «Локальные ряды индоевропейской системы смычных и сибиллянтных спирантов. Парадигматика и синтагматика» (с. 81—151), 3) «Система гласных и теория морфонологических чередований. Сонанты и „ларингальные“ в индоевропейском» (с. 152—214); 4) «Структура индоевропейского корня» (с. 215—263). Второй раздел — «Анализ грамматической структуры общиндо-

европейского языка» — содержит две главы: 5) «Праиндоевропейский как язык активной типологии» (с. 267—319) и 6) «Типология грамматической синтагматики общиндоевропейского языка» (с. 320—368). Наконец, третий раздел — «Ареальные структуры общиндоевропейского языка» — состоит из единственной главы — «Членение индоевропейской языковой области» (с. 371—428). Вторая часть — «Семантический словарь общиндоевропейского языка и реконструкция индоевропейской протокультуры» — содержит два раздела, первый из которых — «Семантический словарь общиндоевропейского языка» — объединяет главы, посвященные названиям мира «живого» — богов, человека и животных (домашних и диких), названий растений и их ритуально-культурного использования, а также группам слов, относящихся к географической среде (климату, рельефу, метеорологическим явлениям, небесным телам), хозяйственной деятельности (земледелию, скотоводству, ремеслам, транспорту), материальному быту, структуре духовных понятий, мифологической картине мира, медицине, погребальным обрядам, счету и хронологии, поэтическим и ритуальным текстам. Второй раздел второй части — «Хронология общиндоевропейского языка. Проблема индоевропейской „прародинь“ и пути миграции индоевропейских племен в исторические области расселения» — состоит из двух глав, из которых первая посвящена ареальным и хронологическим характеристикам общиндоевропейского (исследова-

* Перевод рецензии, опубликованной в «Bulletin de liaison du Centre d'études Balkaniques, 1987, № 6» [Paris].

ние ведется на основе языковых и историко-культурных данных), вторая — миграция племен. Завершая этот — иностранный обзор, добавим, что во Введении (страницы, не входящие в основной текст) приводится список исторически засвидетельствованных языков и диалектов индоевропейского, здесь же сформулированы методические позиции авторов; книгу завершают обширная библиография и указатели. Отметим также ее превосходное полиграфическое исполнение.

Не ставя себе целью вдаваться в детали (что для рецензента было бы заведомо невыполнимым) займемся в первую очередь вопросами собственно лингвистическими, оставляя в стороне семантику, культуру и историю, рассмотрение которых не входит в нашу компетенцию.

Как известно, реконструкция и.е. языка, ведущая начало со времен младограмматиков, порождает в высшей степени сложные типологические проблемы. Так, три серии смычных — глухие (p, t, k, k^{w}), звонкие (b, d, g, g^{w}), звонкие придыхательные (b^h, d^h, g^h, g^{wh}), которые обычно постулируют, удовлетворительны с точки зрения сравнительного языковедения и позволяют без труда обосновать консонантные системы различных и.е. языков. Однако при более глубоком подходе можно заметить, что:

— такая система не находит типологических параллелей (авторы подвергают сомнению данные австронезийского языка келабит, описанного Блэстом, доказывая, что придыхательность в нем является позиционной),

— эту систему не сохранил ни один из п.е. языков: имеются системы либо с четырьмя сериями смычных (глухие/звонкие/глухие придыхательные/звонкие придыхательные, например, в санскрите), либо с тремя сериями (смычных, как в греческом, где представлены глухие, звонкие и глухие придыхательные, или с двумя сериями смычных и одной серией спирантов, как в латыни, или с одной серией смычных и двумя сериями спирантов, как в германском), либо системы только с двумя сериями, как в балто-славянском.

Неоднократно предлагались различные решения этой проблемы: четыре серии смычных для индоевропейского (к сожалению, существование серии глухих придыхательных еще далеко не доказано), или же три серии, но с противопоставлением глухих (давших звонкие)/глухих придыхательных (давших звонкие придыхательные)/звонких (давших глухие), как у Х. Педерсена, или же третью серию считали глухими, сопро-

вождаемыми звонким придыханием, и т. п. Авторы рецензируемой книги выдвигают предположение о существовании глоттализиции и постулируют серию глоттализованных смычных (p', t', k' (которые позднее перешли в простые звонкие), серию звонких придыхательных и серию глухих придыхательных — различительным признаком двух последних серий является звонкость, что и ведет к известным различиям в трактовке придыхательности в отдельных языках. В книге этот тезис хорошо обоснован и представляется весьма заманчивым.

Другая типологическая проблема встает при рассмотрении вокалической системы протоиндоевропейского языка. Если постулировать, что $*i$ и $*u$ были сонантами, что $*a$, которое не участвует в чередованиях, есть результат особой «окраски» $*e/o$ после ларингала ($*H_2$) и что $*o$ в древний период не существовало, можно прийти к выводу, что прасистема индоевропейских гласных была монофонематической, содержащей обычно реконструируемую гласную $*e$, противопоставленную \emptyset . Однако нигде еще не обнаружено системы с одной (т. е. с фонологической точки зрения равносильной \emptyset) гласной (данные некоторых языков Северного Кавказа, например, кабардинского и абазинского, представляются сомнительными), и авторы не идут по этому пути, постулируют для древнейшего состояния $*i, *u$ и гласную нижнего подтема, близкую к a . Классическая система a, e, i, o, u появляется только после фонологизации позиционных вариантов. Такое построение следует признать разумным и лучше обоснованным, чем моновокалическая точка зрения.

Одна из главных идей Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова заключается в том, что в индоевропейском существовало два класса имен, противопоставленных по признаку *активность* ~ *неактивность*, и что каждому классу соответствовал отдельный класс глаголов, причем показателями «активного» класса глаголов были $*-s/*-os$, а «неактивного» $*-om, *-t', *-t[h], *k[h]$, $-\emptyset$. Им соответствовали две серии глагольных окончаний $*-m (i), *-s (i), *-t[h]i$ и $*-Ha, *-t[h]a, -\emptyset$, представлявшие собой первичные и вторичные окончания презентного аорста и окончания перфекта и медиума в п.е. языках. Чтобы объяснить существование окончаний 1 и 2-го лица в парадигме $*Ha$, авторы предполагают, что исконно имела только форма 3-го лица на $*-e$ и что два первых лица оформились уже после того, как противопоставление *активность* ~ *неактивность* было утра-

чено. Последнее, по мнению авторов книги, хорошо сохранилось в хеттском (глаголы на *-mi/глаголы на *-hi).

Анализируя формы актантов в связи с выделенными типами глаголов, авторы приходят к выводу, что протоиндоевропейский был, подобно некоторым современным америндейским языкам (группы на-дене, сну, тули-гуарани), языком *активного*, т. е. не «аккузативного» и не «эргативного» типа, и что он стал аккузативным языком в более позднее время.

Идея об исконно бинарном противопоставлении в системе и.-е. глагола не нова, но сопоставление ее с системой импс осуществлено впервые. Тем не менее нельзя не признать отнесение праиндоевропейского к языкам «активного» типа слишком смелым. Не говоря уже о том, что языки, в которых этот тип представлен, весьма редки, следует отметить, что постулируемая авторами строго бинарная оппозиция едва ли могла быть источником смешанных структур. Кроме того, авторов как будто бы затрудняет деление глаголов на атематические и тематические, причем последние они считают позднейшей инновацией, связанной с развитием видовых противопоставлений. Природа видовых противопоставлений не уточняется. Подчеркнем, наконец, что тесное

семантическое взаимодействие перфекта и медиума не проявляется различий в их образовании. Представляется, что данные, позволяющие установить относительную хронологию парадигм на *-mi и на *-o или хронологию перфектных и медиальных форм, отсутствуют. Предположение Ф. Балер, в соответствии с которым исконно существовала оппозиция между активным типом (*-ti) и медиальным типом (*-e), из которого развился тип тематический, не принимается во внимание. То же касается точки зрения Вл. Георгиева о существовании тройного аспектуального противопоставления длительное ~ точечное ~ результативное. Происхождение индоевропейских глагольных категорий таит в себе еще много тайн, и теория Гамкрелидзе — Иванова, как бы интересна она ни была, не исчерпывает дискуссии.

Вопросы, затронутые в настоящей рецензии, составляют, разумеется, лишь малую часть всех проблем, связанных с фактами, гипотезами и материалами этой книги, которая обещает стать самым значительным трудом по индоевропеистике второй половины XX в.

Фёйе Ж.

Перевела с французского Гульга О. А.

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I — II. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. ХСVI + 1328 с.

Приступая к общей характеристике фундаментального труда Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, следует, вероятно, подчеркнуть, что это прежде всего негравитальная во всех отношениях работа, посвященная проблемным вопросам современной индоевропеистики. Многогранность обсуждаемой в ней проблематики и новизна многих авторских решений позволяют не сомневаться в том, что она окажет активное стимулирующее воздействие на развитие всего сравнительного — в широком смысле слова — языкознания, независимо от отношения к ней тех или иных исследователей. Вряд ли будет ошибкой сказать, что в этом труде содержится в какой-то степени итог более чем тридцатилетней работы ее авторов в области теории и истории языка.

«Настоящая книга, — отмечают авторы, — излагает результаты наших сравнительных исследований по индоевро-

пейским языкам и реконструкции праиндоевропейского языкового состояния, из которого и выводятся исторические индоевропейские языки. При этом праиндоевропейская система рассматривается в типологическом сопоставлении с другими языковыми системами, в особенности с системами смежных географических ареалов, с которыми праиндоевропейская система должна была находиться в определенных отношениях в течение длительного периода» (с. IX). Вместе с тем языковые данные исследуются «в тесной связи со всеми аспектами человеческой культуры» (там же), что делает значение работы выходящим далеко за пределы собственно лингвистической проблематики. Путь исследования от языка к обществу обозначается самой композицией книги.

В первой ее части (с. 1—428), рассматриваются ключевые вопросы прежде всего фонологической и морфологичес-

кой структуры индоевропейского языка, а также характерные процессы, представившие суть последующего развития прасистемы в различных индоевропейских микросемьях и конкретных языках. Здесь же предпринимается типологическое сопоставление праиндоевропейского состояния с другими, неиндоевропейскими языковыми системами и намечаются его ареальные характеристики — как в плане изоглосс внутри самой индоевропейской общности, так и в аспекте ее внешних контактов.

Вторая часть делится на два раздела. Первый — «Семантический словарь общиндоевропейского языка» (с. 465—855) содержит анализ реконструируемой общиндоевропейской лексики — прежде всего той, которая отражает окружающий мир и представления людей, материальную и духовную культуру эпохи. Второй ее раздел — «Хронология общиндоевропейского языка. Проблема индоевропейской „прародины“ и пути миграций индоевропейских племен в исторические области расселения» (с. 856—957) — посвящен сопоставлению реконструированных праязыка и протокультуры индоевропейцев с предположительным временем и местом их существования. Авторы определяют соответствующую эпоху временем пятого или, во всяком случае, не позднее четвертого тысячелетия до н. э., а ареал — как зону Средиземноморья и Передней Азии, т. е. пространство от Балкан до Ближнего Востока и Закавказья, вплоть до Иранского плоскогорья и Южной Туркмении. Высказываются также предположения о времени и путях миграции носителей древних индоевропейских диалектов при их распространении с предполагаемой прародины на места исторически зафиксированного бытования. Этот раздел во многом суммирует предшествующее изложение, вводя обе реконструированные прасистемы — лингвистическую и культурную — в контекст реального мира и прослеживая затем судьбу в нем языков и культур, продолжающих эти прасистемы.

Помимо исследовательской части, книга содержит продуманную систему вспомогательных разделов. Собственно исследованию предпослано краткое авторское предисловие, знакомящее читателя с задачами и структурой книги, предисловие Р. Якобсона, обзор древнеписьменных источников и принятый справочный аппарат. Предваряет основную часть вводная теоретическая глава «Языковая система и предпосылки диахронической лингвистики» (с. LXXIII—XCVI). В небольшом послесловии к книге дается обзор работ, вышедших в

основном уже по завершении подготовки книги к печати, и авторская реакция на содержащиеся в них идеи. Завершают книгу: обширная, тщательно подобранная библиография (с. 971—1113), указатели (сост. Н. А. Джавахишвили, с. 1115—1316), а также отдельные исправления и дополнения (с. 1317—1328).

Особенностью труда является то, что он не представляет собой индоевропейской грамматики традиционного типа. Решающее внимание в нем уделено аспекту исследования, который можно определить как «объяснительный»: при характеристике наиболее архаичного состояния общиндоевропейского языка и его последующих преобразований авторы излагают материал, исходя из его системной организованности в синхронии и из причинных связей процессов трансформаций — в диахронии. Выявление содержательного ядра в организации праязыковой системы и в причинах ее преобразований делает авторскую интерпретацию исторического процесса особенно убедительной. Тем самым труд оказывается результатом органического синтеза достижений традиционной компаративистики и содержательно ориентированной типологии. Авторская позиция ощущается здесь в каждом параграфе, а высокий удельный вес новых идей авторов позволяет говорить об их работе как о подлинно новаторской.

Для раскрытия последней качества книги достаточно выделить ее несколько ключевых по своей значимости пунктов. Так, в итоге радикального пересмотра традиционной концепции праиндоевропейской фонологической системы, и в частности, подсистемы консонантизма, авторы сформулировали принципиально новую его теорию, получившую в мировой компаративистике название «глутальной». В ее свете заново интерпретирована система трех коррелирующих серий смычных согласных фонем праиндоевропейского состояния (с. 5 и сл.). Суть ее, концептивно отраженная и в более ранних работах Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова (см. [1—4]), состоит в следующем. Постулировавшаяся традиционной система трех серий смычных согласных [I — звонкие простые *d, g* (но практически без *b*), II — звонкие придыхательные *bh, dh, gh*, III — глухие (простые) *p, t, k*] не находила типологической поддержки в закономерностях организации фонемной парадигматики в других языках, — как в плане наличия серии звонких придыхательных фонем при отсутствии глухих придыхательных, так и в отношении ущербной представленности или отсутствия *b* (при наличии *bh, p*). Авто-

ры реинтерпретировали эту трюичную систему, трактуя все три серии иначе: I — невзвонкие глоттализированные t^h , K^h (о последнем см. также ниже; p^h встречается редко или отсутствует), II — звонкие, III — глухие, с реализацией двух последних в виде придыхательных и непридыхательных аллофонов (типа d^h / d и t^h / t соответственно).

Такая интерпретация, согласующаяся с многочисленными аналогиями в других языках и соответствующая статистически наиболее вероятным структурным закономерностям строения фонологических систем, позволила, в свою очередь, по-новому взглянуть на соотношение архаизмов и инноваций в различных ветвях индоевропейской языковой семьи. В частности, в германской, армянской и, возможно, хетто-лувийской системах рефлексы трех серий смычных оказались наиболее близки к их индоевропейским прототипам. Особенно показательно в этом плане отражение согласных I серии как невзвонких, имеющее, кстати, типологическую поддержку в диалектах удинского и лезгинского языков, где глоттализированные при дезабруптивации переходят в «простые» глухие [5—6]. Глухая реализация согласных I серии сохранялась и в древних индоиранских диалектах на морфемных швах в эпоху действия «закона Бартоломе» в качестве следствия одного из его правил (см. с. 32 и сл.). Серии II и III уже в диалектах общиндоевропейского состояния допускали, помимо неаспирированной и аспирированной, также спирантную артикуляцию согласных — в качестве одного из способов презентации аспирированных вариантов. Этот старый — спирантный — тип реализации и возобладал в прагерманском (с. 36) ¹.

Существенными представляются уточнения, внесенные авторами в проблему локальных рядов согласных; в книге (с. 85 и сл.) получена поддержка и дальнейшее развитие теория трех рядов раннеиндоевропейских «гуттуральных»:

¹ Спирантная реализация аспирированных возобладала и в части диалектов общиранского состояния: спирантность аспирированных II (звонкой) серии (охватившая затем все звонкие согласные, включая озвончившиеся I серии) в восточной группе диалектов и спирантность аспирированных III (глухой) серии, — в основном, в западной (подробнее [7, с. 24—26, 213—214]). При этом в позиции после $*\#s-$ фонемами III серии в общиранском реализовались без придыхания (по типу $*sp-$, см. [8]), в отличие от древнеиндийского, где унифицировался тип $sph-$.

велярного, лабиовелярного и палатального (т. е. $K^h = k^h, k^h, \hat{k}^h$ и т. д.) и выдвинута интересная идея о наличии также трех фонем-сбилянтов с теми же резонансными признаками ($*s, *s^o, *s^h$). Реконструируются для этого периода, кроме того, и поствелярные (вульгарные) $*q^h, *q^h$. Все эти ряды прослеживаются в виде их закономерных рефлексов в разных индоевропейских языках и находят свои типологические параллели (в том числе в живых индоиранских языках, см. [9—10]). Предпологаемые авторами для той же эпохи лабиализованные дентальные $*t^o, *d^h, *t^h$ типологически вполне встроены [11], однако их дальнейшее развитие указывает на то, что это были скорее сочетания согласных с сонантом $*[u]$ в виде CS или даже CSS (типа $*du, *duq$, ср. с. 195—197), а их сращения (типа $*dq, *tq > b > w, v$) — вторичны и проходят по разным языкам в различных условиях.

В разделах о системе гласных и сонантов (с. 152—214) рассмотрены практически все проблемы этого цикла. Существенным представляется, в частности, положение о том, что вокализация $*m, *g$ в виде $*a$ была свойственна тем диалектам (предкам индоиранских языков и греческого), в которых [i] и [u] еще не входили на том этапе в систему гласных фонем, а представляли слоговые варианты сонантов (с. 199). Для истории иранских языков, например, это положение существенно еще и потому, что здесь вокализация $*m, *g$ проходила через промежуточный этап в виде некоего гласного — переднего ряда либо продвинутого вперед (типа $*[\tilde{a}] \rightarrow [\tilde{a}], [\tilde{a}]$), который до некоторой степени (мнее, чем $*i, *e$) палатализовал предшествовавшие ему гуттуральные, пока не слился с единственной существовавшей к той эпохе гласной фонемой $*a$. Следы этой палатализации сохранились в иранских языках. Возможно, сходный промежуточный этап был пройден и древнеиндийскими диалектами, однако последующее сильное парадигматическое выравнивание (особенно в санскрите) изгладило здесь в большинстве случаев его следы. Ср. авест. *fasaiti* ~ др.-инд. *gacchati* «идет» с продолжениями инд.-ир. $*f\tilde{a} < \text{и.е. } *k^o m-$ (от корня $*gam- < *k^o em-$ «идти»), но авест. *fata-* ~ др.-инд. *hatá-* — причастие на $*-ta-$ с продолжением инд.-ир. $*f\tilde{h}\tilde{a} < \text{и.е. } *g^h q-$ (от корня $*ghan- < *g^h en-$ «бить, убивать», ср. nasledующие общир. причастия $*jata-$: перс. *zād* «ударил», шугн. *zid*, язг. *zūd* «убил» и т. п.); материалы см. [7, с. 30—31].

Новая концепция трех серий соглас-

ных и уточнение их локальных рядов позволили авторам пересмотреть закономерности фонологической структуры корня в раннем индоевропейском, вследствие чего фонемные ограничения в структуре корня впервые получили непротиворечивое объяснение.

Структуре корня вообще уделено большое внимание в книге (см. с. 215—256), причем именно «глоттальная» теория позволяет объяснить ряд особенностей строения его консонантного костяка. Так, запрет на сочетаемость двух согласных I серии в корне типа SVC-связывается с артикуляционным неудобством последовательности двух глоттализированных (что поддерживается данными многих языков, имеющих эту серию). Согласные каждой из остальных серий совместимы в одном корне, но — для II серии — с разными показателями аспирации. Это дает возможность трактовки «закона Грассмана» не как диахронического правила дезаспирации ранних аспирированных в древнеиндийском и греческом, а как синхронной общеиндоевропейской закономерности распределения в корне придыхательных и непридыхательных аллофонов.

«Глоттальная» теория внесла коррективы и в интерпретацию процессов, происходивших на морфемных швах. Особенно существенна в этом плане реинтерпретация «закона Бартоломея». В свете данной теории становится понятным, почему в греко-арийских диалектах при сочетании корня с исходом на согласную II серии с морфемой, начинающейся согласной III серии, стык морфем реализовался как сочетание непридыхательного с придыхательным (при ассимиляции по звонкости в арийском, по глухости — в греческом и с последующей утратой аспирации). Становится также понятным, почему конечная корневая согласная I серии отражается в этой позиции как глухая (см. с. 32 и сл.). Последовательность согласных в корне и процессы на стыке морфем уточнены в работе и в отношении их локальных рядов (с. 144 и сл.).

В разделе «Анализ грамматической структуры общиндоевропейского языка» (с. 265 и сл.) воссоздана морфосинтаксическая система праиндоевропейского состояния и основания ее дальнейшей трансформации в индоевропейских языках. Раскрытая авторами диалектика взаимодействия плана содержания и плана выражения в истории индоевропейских языков позволила им впервые последовательно обосновать принадлежность ранней праиндоевропейской системы к языкам активной типологии, с одной стороны, и проследить развитие в ней черт нового, номинативного строя, —

с другой. В книге выделяется несколько хронологических срезов праиндоевропейского состояния, наглядно демонстрирующих этот процесс.

Особый интерес представляет разработка авторами синтаксического аспекта грамматики. В посвященных ему параграфах (с. 320—368) содержится фактически ключ к пониманию целого ряда сдвигов в морфологической структуре — как в отношении функций аффиксов и флексий, так и — на более позднем этапе — в плане развития превербов, адвербов, предлогов, послелогов в отдельных индоевропейских языках.

Уточнения в представлениях о начальных этапах дивергенции праязыковой системы (не только индоевропейской, но и праязыковой вообще, что существенно в методическом плане) вносит раздел, посвященный арсальной неоднородности индоевропейского языка. В методическом отношении особенно важны здесь разработанные на большом материале идеи о неодинаковой ценности показаний разноуровневых изоглоссов (с. 369 и сл.) и о хронологической стратификации наиболее существенных (морфологических) изоглоссов (ср. особенно с. 393 и сл.). Справедливое положение авторов о том, что утрата или переосмысление того или иного структурного элемента в разных диалектах не подразумевают их обязательного общего развития (поскольку такие процессы могли протекать в диалектах параллельно), подкрепляется рядом примеров. К одному из них — примеру продолжения в разных языках в функции относительных местоимений одной из двух индоевропейских основ: **ǵo-* или **kʰǵi-* (с. 387), — можно добавить, что утрата второй основы могла быть относительно недавней. Так, в диалектах обшербранского состояния сохранились рефлексы обеих основ. В дальнейшем они продолжались или исчезали в разных праязыковых языках параллельно, независимо от генетической группировки последних. Ср. относительные местоимения (и наследующие им служебные элементы) из рефлексов **ǵo-* (> ир. **ǵa-*) в небольшой части языков (авест., др.-перс. *ya-*, ср.-перс. *i*) и из рефлексов **kʰǵi-* (> ир. **ǵi-*) в подавляющем большинстве живых и вымерших языков западной и восточной группы. Последняя основа наблюдается в одних языках преимущественно в относительном значении [иногда с переходом их в разряд союзных слов и союзов (например, афг. *ca*, суғи. *ca*, язг. *ǵə*)] или в служебные элементы типа «изафетного» показателя при определяемом перед определенном, например, нарф. *ǵē*], в других — а таких

значительно больше — в вопросительном и относительном (что сочетается с использованием в относительной функции и других вопросительных местоимений, включая вторичные производные, см., например [12—14]). Ср. также сопоставительное употребление *ci-ta* и *ya-ta* в древнеперсидском языке [15].

Разделы, посвященные семантическому словарю общиндоевропейского языка (с. 457 и сл.), представляют самостоятельную ценность. За ними стоит большая и скрупулезная работа авторов — не только в сфере поисков и критического отбора конкретных этимологий, но и классификации лексики по семантическим группам, ее интерпретации и соотношения с историческими реалиями и понятиями. Словарь проливает свет на окружающую природу и характер культуры носителей индоевропейских диалектов. Его разработка, в частности, позволила авторам воссоздать картину окружающей среды, хозяйственного уклада, общественной структуры, духовной жизни индоевропейцев.

В свете реконструированных как языковых, так и неязыковых данных авторы выдвигают концепцию переднеазиатской прародины индоевропейцев, что согласуется с их интерпретацией праиндоевропейской фонологической системы, включающей серию глоттализированных согласных (подобно другим историческим языкам этого ареала), а также с квалификацией индоевропейской культуры как принадлежащей к кругу древних ближневосточных. В пользу этой концепции говорят и обобщенные авторами исследования в области древнего индоевропейско-картвельского и индоевропейско-картвельского языкового взаимодействия.

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что в целом труд Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова является плодом применения современных методов сравнительно-генетического, типологического и ареального исследования к огромному фактическому материалу живых и исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Вместе с некоторыми предшествовавшими публикациями авторов он закрепляет приоритет советской науки в решении одной из наиболее актуальных проблем современного сравнительного языкознания (к сходным выводам относительно «глоттальной» схемы индоевропейского консонантизма пришли в своих недавних публикациях и такие видные компаративисты, как П. Хоппер, Т. Венеман, Ф. Кортландт и др.). Вместе с тем данный труд может служить и ярким свидетельством общего высокого уровня развития, достигнутого советским языкознанием.

Показательно, что концепция авторов уже получила признание со стороны ряда крупнейших представителей современной лингвистической науки (ср. публикации В. Лемана, М. Майрхофера, Э. Поломе, А. Мартине и др.), отмечающих, что труд Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова по существу открывает новую парадигму в индоевропейском сравнительном языкознании. Очевидным признанием значимости рецензируемой книги явилась также подготовка перевода ее на английский язык в США. Даже в том случае, если дальнейшее развитие науки не подтвердит какие-либо из положений авторов работы, бесспорно, сохранится ее огромная роль в пропаганде отечественной науки, в воспитании кадров языковедов-компаративистов.

Целесообразно отметить, что, помимо высокой собственно исследовательской ценности этого труда, он служит также образцом научной этики: его характеризуют исчерывающая полнота отсылочного аппарата при использовании идей предшественников, а также корректность полемики с оппонентами при рассмотрении дискуссионной проблематики.

В заключение остается еще раз подчеркнуть значение данного труда, стимулирующего разработку целого комплекса исследований историко-лингвистического цикла, — проблематики филиации индоевропейских языков, индоевропейско-картвельских и индоевропейско-семитских контактов, проблемы соотношения истории языка и истории общества и др.

Эдельман Д. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972.
2. Gamkrelidze Th. V., Ivanov V. V. Rekonstruktion der indogermanischen Verschlüsse. Vorläufiger Bericht // Phonetica. 1973. 27.
3. Gamkrelidze Th. V. Linguistic typology and Indo-European reconstruction // Linguistic studies offered to J. Greenberg on the occasion of his sixtieth birthday. Saratoga, 1976.
4. Гамкрелидзе Т. В. Лингвистическая типология и индоевропейская реконструкция // ИАН СЛЯ. 1977. № 3.
5. Гюльмагомедов А. Г. Куткашенские говоры лезгинского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 1966. С. 8.

6. *Талибов Б. Б.* Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980. С. 78—80, 179—180, 186—189.
7. *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
8. *Эдельман Д. И.* К перспективам реконструкции общеиранского состояния // ВЯ. 1982. № 1. С. 39.
9. *Эдельман Д. И.* К типологии индоевропейских гуттуральных // ИАН СЛЯ. 1973. № 6.
10. *Эдельман Д. И.* Язгулямский язык. М., 1966. С. 14—18.
11. *Захарьин Б. А., Эдельман Д. И.* Язык кашмира. М., 1971. С. 35, 40—41.
12. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981. С. 89—90, 205—206, 268, 462—463.
13. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. С. 517.
14. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987. С. 82—83, 312—313, 342, 391, 404, 600, 676.
15. *Szemerényi O.* Iranian studies. I // KZ. 1959. Bd. 76. Hf. 1—2. P. 65—67.

Янина В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М.: Наука, 1986. 312 с.

Рецензируемая книга продолжает публикацию новгородских берестяных грамот в серии «Новгородские грамоты на бересте».

Исследование берестяных грамот, обнаруженных Новгородской археологической экспедицией, позволило по-новому взглянуть на многие моменты социальной, экономической, культурной и лингвистической истории Древней Руси. Рассматриваемый том является в значительной степени итоговим, его резюмирующий характер отразился в исправлениях и дополнениях, относящихся ко всем предшествующим томам. Итоговой является и большая работа А. А. Зализняка «Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения», которой и будет в основном посвящена настоящая рецензия. Конечно, итоги, подведенные этой книгой, не окончательны — новые раскопки приносят новые грамоты, а с ними и новый материал для исторических и лингвистических реконструкций. Однако труд В. Л. Янина и А. А. Зализняка закладывает основы для нового этапа изучения берестяных грамот и с этой точки зрения заслуживает особого внимания. Остановлюсь сначала на издании в целом.

Книга открывается публикацией новгородских (№ 540—614) и старорусской (№ 14) берестяных грамот из раскопок 1977—1983 гг., осуществленной В. Л. Яниным. Публикация снабжена указателем слов, а в приложениях к ней даются надписи на деревянных «счетных» бирках. Одного взгляда на эту публикацию достаточно для того, чтобы увидеть, насколько велик прогресс в чтении и исторической интерпретации берестяных грамот со времени их первой находки.

За истекшие тридцать пять лет накоплен огромный опыт, и это позволяет В. Л. Янину читать и комментировать грамоты почти так, как если бы это была переписка знакомых людей, обстоятельства жизни которых хорошо известны.

Вторая часть книги содержит работы, обобщающие материал всех берестяных грамот, обнаруженных к 1983 г.; она открывается исследованием А. А. Зализняка, подробный разбор которого будет дан ниже. В нем дается описание графико-орфографических систем письменности на бересте, особенностей древненовгородской морфологии и синтаксиса, обнаруживающихся при анализе этой письменности, наблюдения над древненовгородской лексикой. Следующий пространный раздел содержит внесенные А. А. Зализняком «поправки и замечания к чтениям берестяных грамот»: целый ряд грамот заново прочтен, в чтение многих внесены существенные изменения; этот раздел представляет необходимое пособие для всех тех, кто пользуется берестяными грамотами.

Далее в книге даются «Поправки и замечания к чтениям берестяных грамот» В. Л. Янина. И здесь произведен тщательный пересмотр всего накопленного материала, предложены новые чтения и во многих случаях дан новый исторический и филологический комментарий к тексту грамот. Существенные наблюдения содержатся и в исследовании Е. А. Хелимского «О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах». Завершает книгу составленный А. А. Зализняком «Словоуказатель к берестяным грамотам» (в конденсированном виде он содержит огромную лингвистическую информацию,

извлеченную из текстов на бересте) и составленный В. Л. Янниным «Указатель принадлежности берестяных грамот к топографическим и хронологическим комплексам».

Перейду теперь к исследованию А. А. Зализняка, которое для лингвистов, естественно, представляет наибольший интерес. Это исследование имеет принципиальное значение для изучения древнейшей истории русского языка, поскольку приведенные в нем данные позволяют дать окончательный ответ на ряд вопросов, которые были предметом длительной дискуссии, и вместе с тем ставят такие проблемы, которые ранее не возникали.

Особая важность берестяных грамот для истории русского языка обусловлена тем, что они содержат специфический лингвистический материал, который не может быть получен из других источников. Если раньше для истории русского языка выделяли две группы источников — памятники письменности и диалектологические данные, позволяющие с помощью лингвистической географии реконструировать языковые процессы прошлого, то теперь, видимо, следует говорить о трех группах источников: памятниках книжной письменности, памятниках не книжной письменности (это и есть берестяные грамоты вместе с небольшим эпиграфическим материалом) и диалектологических данных. Осмысление берестяных грамот как источника особого рода существенно меняет при этом и наше представление о двух других источниках: они позволяют понять, насколько опосредованно отражаются факты разговорного языка в памятниках книжного письма и вместе с тем сколь неполны данные современных диалектов в тех случаях, когда те или иные локальные черты оказались предметом конвергентного выравнивания. Поэтому выделение берестяных грамот как особого источника делает необходимым пересмотр под этим углом зрения всей истории русского языка древнейшего периода (XI—XV вв.). Этот пересмотр и проделан в значительной степени в разбираемой работе А. А. Зализняка.

Адекватная оценка берестяных грамот как лингвистического источника оказалась возможной в силу нового подхода к ним, которым руководствовались А. А. Зализняк и В. Л. Янин. Раньше берестяные грамоты рассматривались как письменность в некотором роде второго сорта, как образцы неграмотного письма. В действительности же, как подчеркивает А. А. Зализняк, «они за немногими исключениями вполне грамотны с точки зрения графико-орфографической системы, которой пользовался пишущий...

Берестяные грамоты показывают, что существовала особая, „бытовая“ графическая традиция, отличная от книжной» (с. 217). Такое чтение грамот позволяет рассматривать их не как нагромождение исковерканных языковых форм, а как вполне последовательную (хотя и обладающую особым механизмом, игнорирующим правила книжного письма) запись новгородской живой речи XI—XV вв. Хотя в отдельных грамотах можно наблюдать определенное влияние книжного языка, разговорный язык воспроизведен в них в той непосредственности, которая не идет ни в какое сравнение с его отражением в памятниках книжного письма. Поэтому берестяные грамоты, будучи правильно прочтены, дают принципиально новые сведения о языке древнего Новгорода.

Берестяные грамоты как лингвистический источник уникальны и еще в одном отношении: они дают последовательную хронологическую картину языковых изменений. Если поначалу стратиграфические датировки рассматривались лингвистами с недоверием и они предпочитали оперировать палеографическими критериями, то настоящее исследование отчетливо показало, что изменения в языковых параметрах непосредственно коррелируют со стратиграфическими датировками. Эта корреляция не может иметь случайного характера и поэтому с несомненностью свидетельствует как о достоверности стратиграфии, так и о достоверности вырисовывающейся хронологии языковых процессов. Этот подход и позволил А. А. Зализняку сделать ряд выводов относительно характера и времени историко-языковых процессов в древне-новгородском диалекте.

1. Укажу лишь на некоторые установленные в исследовании факты, в свете которых оказывается возможным исключить противоречивость в трактовке доступных ранее материалов, характеризующую различные построения ранней истории русского языка.

Свидетельства новгородских книжных текстов относительно падения редуцированных поддаются разной интерпретации. Отдельные случаи пропусков слабых редуцированных наблюдаются уже в памятниках конца XI в., и вместе с тем вплоть до XIV в. находятся памятники, в которых существенная часть еров написана правильно (в соответствии с этимологией). Датировка падения слабых редуцированных зависит от того, как понимать эти данные: первые примеры пропуска еров можно рассматривать как раннее свидетельство фонетических процессов, а можно — как след инославянского протографа. Относительно частое «правильное» написание еров в поздних

рукописях можно связывать с устойчивостью книжной традиции, а можно — с незавершенностью самого фонетического процесса. Данные берестяных грамот с несомненностью указывают, «что падение редуцированных в древнеповгородском диалекте наметилось уже в XI в...., но в основном протекало в XII в. и в начале XIII в. практически завершилось» (с. 124). Важно при этом не только то, что к концу XI и началу XII в. относятся отдельные грамоты с отдельными, сравнительно малочисленными пропусками еров, а с первой половины XIII в. нет ни одной грамоты, где число пропущенных еров не превосходило бы числа сохранных. Важно, что распределенные по стратиграфическим датировкам грамоты наглядно показывают плавное нарастание процесса. Конечно, и в отношении берестяных грамот можно полагать, что письменная фиксация несколько запаздывает по сравнению с реальными изменениями, однако постепенность в росте статистических параметров исключает возможность слишком большого разрыва (больше, скажем, 15—20 лет). Таким образом, можно считать, что хронология падения редуцированных для северо-запада восточнославянского ареала твердо установлена, и интерпретация данных книжной письменности должна согласоваться с этими временными рамками.

Материал берестяных грамот является решающим и для вопроса о втором полногласии, как на это указывал в свое время В. М. Марков [4]. А. А. Зализняк показывает, что в позиции перед слабым редуцированным следующим слогом сочетания *ТърТ*, *ТълТ*, *ТьТ* последовательно пишутся с гласным по обе стороны плавного (за исключением трех грамот), а в позиции перед гласным полного образования «вставная гласная выступает гораздо менее последовательно, причем частота ее появления заметно убывает от ранних грамот к поздним» (с. 125). Эти данные позволяют утверждать, что вставная гласная развивалась после плавного до падения редуцированных и вне зависимости от него¹.

¹ Фонологически, конечно, эту гласную можно считать избыточной и постулировать фонетическую реализацию [r²], [r³] для фонем / l / и / r / в позиции после еров и перед согласным, ср. подобное решение для случая первого полногласия, объясняющее различные рефлексы гласного после плавного на юге (*корде*) и на севере (*корба*) восточнославянской территории [2]. Вряд ли, однако, это лучшее решение, и в любом случае выбор того или иного фонологического описа-

Можно предполагать далее, что развитие вставной гласной было общевосточнославянским явлением и, соответственно, что обычные в древних восточнославянских рукописях написания с гласной буквой по обеим сторонам плавного фонетически мотивированы, а не возникают в результате контаминации южнославянского написания и восточнославянского произношения. Вместе с тем в древнейший период (до падения редуцированных) эта вставная гласная ни в одном диалекте не является тождественной /ъ/ или /ь/, поскольку в отношении этой гласной никогда не действуют правила распределения сильных и слабых редуцированных: находясь перед слогом со слабым редуцированным, она обычно не проясняется, а если проясняется, то не делает слабым редуцированный предшествующего слога. После падения и прояснения редуцированных имеет, видимо, место процесс, который можно было бы определить как «фонологическое выравнивание»: поскольку редуцированные исчезают из фонологической системы языка, вставные гласные звуки перестают ассоциироваться с ними и воспринимаются либо как ноль звука, либо как гласные полного образования. То или иное восприятие зависело, надо полагать, от фонетических характеристик вставного гласного: в позиции перед слабым редуцированным он приближался к гласным полного образования, в позиции перед сильным редуцированным и гласными полного образования такого сближения не происходило. Это новое восприятие и отразилось в записи берестяных грамот, в которых в первой позиции гласный почти последовательно обозначен как в грамотах XI—XII вв. так и в грамотах позднего периода, тогда как во второй позиции обозначение вставного гласного заметно убывает от ранних грамот к поздним» (с. 125)².

Ничего не дает нам здесь для понимания историко-фонетических процессов. Нет никаких оснований предполагать (как это предлагал В. Н. Сидоров [3]), что плавный в рассматриваемых сочетаниях переходил в слоговой и слоговость плавного сохранялась вплоть до падения редуцированных.

² Как отмечает А. А. Зализняк, «этот процесс очевидным образом сходен с процессом формирования первого полногласия (*оро, оло, ере*). И в том и в другом случае энететическая гласная сходна с гласной, стоящей перед *р, л*, однако фонологически ей не тождественна (по крайней мере, на начальном этапе развития)» (с. 125). Таким образом, для северной восточнославянской зоны можно предполагать общее развитие как для

Еще более важным для ранней истории восточнославянских диалектов представляется вывод А. А. Зализняка об отсутствии эффектов второй палатализации в древненовгородском говоре. Эти выводы совпадают здесь с заключениями, к которым пришла С. М. Глушкина [4], анализируя материалы современных новгородско-псковских говоров (ср. еще [5]). Данные берестяных грамот позволяют вместе с тем однозначно утверждать, что речь идет не о непоследовательном (или сравнительно позднем) прохождении второй палатализации на северо-западе восточнославянской территории, но о полном отсутствии этого явления как фонетического процесса в истории данного диалекта. Формы с эффектами второй палатализации в новгородской письменности (летописях, договорных грамотах и т. д.), равно как и в современных новгородско-псковских диалектах, должны быть целиком отнесены на счет влияния книжной традиции и междиалектного смешения, относящегося к достаточно позднему времени. Вместе с тем А. А. Зализняк показывает, что третья палатализация (по крайней мере, для *k) в древненовгородском диалекте осуществлялась (с. 118). (С. М. Глушкина [4, с. 38—40] предполагала, что в новгородско-псковском ареале могла отсутствовать и третья палатализация)³. Выявленные А. А. Зализняком факты «являются сильнейшим аргументом в пользу того, что третья палатализация старше второй» (с. 119). По существу,

новгородские данные однозначно решают вопрос об относительной хронологии указанных процессов и могут служить дополнительным свидетельством в пользу того построения славянской исторической фонетики, которое недавно было предложено Г. Лантом [6], ср. еще [7]⁴.

Материал берестяных грамот позволяет с достаточной определенностью датировать и процесс перехода $\bar{b} > u$. В отличие от книжной письменности берестяные грамоты отражают фонетические процессы, происходящие в живом языке, непосредственно и без существенных задержек. За исключением одной грамоты (№ 219) рубежа XII и XIII вв. все грамоты, характеризующиеся смешением \bar{b} и u , не старше второй половины XIII в. В трех четвертях грамот, знающих смешение \bar{b} с u , это смешение «затрагивает только позицию в конце слова и перед мягкой согласной (или j), тогда как перед твердой согласной находится написание \bar{b} или e » (с. 108). Эта позиционная обусловленность не оставляет сомнения в том, что смешение букв \bar{b} и u фонетически мотивировано и что мотивирующий его процесс перехода $\bar{b} > u$ имеет место не ранее XIII в. (после падения редуцированных). Этот процесс, видимо, можно рассматривать как одно из следствий той перестройки вокалической системы, которая происходит в результате падения и прояснения редуцированных⁵.

2. Принципиальная повизна выводов, полученных при анализе берестяных грамот, выразительно подчеркивает размеры нашего незнания реального диалектного материала древнерусской эпохи, поскольку этот материал извлекается из памятников книжного характера. Это незнание обусловлено в конечном счете

сочетаний *or, *ol, *er, *el, так и для сочетаний *ьr, *ьl, *ьr, *ьl — отождествление вставного гласного (после плавного) с гласным, предшествующим плавному. В случае первого полногласия это развитие, видимо, начинается раньше и распространяется на всю великорусскую территорию; в случае второго полногласия мы имеем дело с относительно более поздним процессом, с инновацией, которая за пределы собственно северо-западного ареала распространиться не успевает.

³ Что касается перехода $e > z$ в условиях третьей палатализации, то берестяные грамоты практически не дают здесь никакого материала (отсутствуют соответствующие примеры). Что касается x , то здесь, как можно полагать [6, с. 35—37], третья палатализация никогда не имела места. Поэтому формы типа *въгемо, воги* и т. д., встречающиеся в берестяных грамотах (с. 116), к вопросу о том, проходила ли третья палатализация в древненовгородском диалекте, отношения не имеют.

⁴ Новая попытка синхронизировать вторую и третью палатализации и объяснить особенности новгородско-псковского диалекта поздним прохождением в нем монофтонгизации дифтонгов [8] не представляется достаточно убедительной, поскольку при этом не учитывается тождество рефлексов второй палатализации и *tj, *d̄j (см. ниже).

⁵ В работах Л. Л. Касаткина высказывается предположение, что переход \bar{b} в u обусловлен ассимилирующим воздействием гласного последующего слога [9, 10]. Эта объяснение очень привлекательно в том отношении, что ставит переход \bar{b} в u в один ряд с другими восточнославянскими фонетическими процессами [11], однако оно предполагает, что этот процесс имел место до падения редуцированных, что противоречит свидетельству берестяных грамот.

тем, что писцы книжных текстов (т. е. писцы, прошедшие специальное профессиональное обучение) отнюдь не стремились к передаче своей живой речи [12]. Напротив, в тех случаях, когда диалектные формы были противопоставлены нормативным элементам книжного языка и письма, книжные писцы старательно избегали их употребления, рассматривая, очевидно, такое употребление как ош и б к у (об этом можно судить по передкам в древних рукописях исправлениям). Нормы книжного письма выдерживались благодаря правилам, которые позволяли писцу построить книжную форму, исходя из форм его диалекта. Правила могли основываться как на фонетической, так и на морфологической информации [13]. Можно полагать, что именно правила и определяли область нормативного: там, где нельзя было сформулировать четкого общего правила, не было и нормы, т. е. допустимой оказывалась вариантность специально книжных (генетически инославянских или архаических) и диалектных форм. Эту допустимую вариантность следует отличать от ошибок: ошибки возникают лишь в области нормативного и связаны с тем, что писец по тем или иным причинам не сумел воспользоваться нужным в данном случае правилом. Очевидно, что число ошибок определенным образом соотносится со сложностью правила: чем проще правило, тем менее вероятна ошибка.

К наиболее простым правилам относятся, видимо, такие, которые требуют однозначной замены одного морфологического показателя (некнижного) другим (книжным). В современном русском языке к правилам такого рода относится указание о правописании окончаний прилагательных род. ед. муж. и ср. рода — слышится /ova/, но пишется -ого. Это правило не вызывает обычно особых трудностей даже при достаточно низком уровне грамотности; причина, по-видимому, в простоте самого механизма морфологического пересчета. Можно предположить, что то, что просто для нас, не составляло большой сложности и для наших далеких предков — с морфологическим пересчетом они могли справляться безупречно.

Именно простота морфологического пересчета и позволяла, надо думать, новгородским писцам избавляться в книжных текстах от морфологических особенностей древненовгородского диалекта. Исследование А. А. Зализняка показало, насколько основательно выполнялась эта работа. Как оказывается, морфологическая система древненовгородского диалекта кардинальным образом отличалась от морфологической системы книжных текстов. А. А. Зализняк так резюми-

рует эти особенности древненовгородской морфологии:

«1. Окончание *-e* в И. ед. муж. (но не В. ед.!) имен *o*-склонения с твердой основой. Это окончание представлено как у существительных, так и в нечленимых формах прилагательных и причастий (в частности, перфектного причастия на *-л*).

2. Окончание *-ѣ* в Р. ед. *a*-склонения при твердой основе (а не только при мягкой, как в других восточнославянских диалектах).

3. Окончание *-ѣ* в И. В. мн. *a*-склонения при твердой основе (а не только при мягкой).

4. Отсутствие *-ть* в 3 ед. и 3 мн. презенса...

5. Окончание *-ои* в Д. ед. *o*-склонения у наименований лиц. Эта особенность ограничена в основном ранним периодом (XI—XII/XIII).

6. Окончание *-ѣ* при мягкой основе (а не только при твердой) в Д. М. ед. *a*-склонения и в М. ед. *o*-склонения» (с. 127—128).

Очевидно, что эта совокупность особенностей дает возможность говорить о древненовгородской морфологии как о самостоятельной системе как в рамках восточнославянского, так и в рамках общеславянского диалектного многообразия. Ряд черт этой системы явно имеет архаический характер, прежде всего им. ед. на *-e* (ср. [14]). Вместе с тем в языковом сознании эпохи эти черты выступают, видимо, как признаки не-престижной диалектной речи, недопустимые в тексте, претендующем на какую-либо культурную значимость, а в официальных документах устраняемые с тем большей последовательностью, чем более официальный статус имеет текст.

А. А. Зализняк разделяет все берестяные грамоты на две основные тематические группы: бытовые грамоты (частные письма, реестры долгов или вещей, челобитные) и грамоты небытовые (официальные документы типа завещаний, рядных и расписок, учебные и литературные, церковные). Обнаруживается, что грамоты этих двух типов существенно различаются своей морфологией. Так, в небытовых грамотах в им. ед. окончание *-ѣ* безусловно преобладает во все периоды, тогда как в бытовых грамотах в ранний период в почти исключительном употреблении встречается *-e* (в последующие периоды окончание *-e* постепенно теснится окончанием *-ѣ*). Отсюда следует, что употребление или неупотребление диалектных морфологических форм непосредственно связывалось с установкой пишущего: создание небытового текста требовало применения

правил, позволяющих избавиться от специфически диалектных элементов.

В силу того что данная установка была нормативной, в книжных текстах специфически диалектные элементы могут появляться лишь в качестве окказиональных ошибок. Реконструкция реальной картины по этим отрывочным данным крайне сложна, иногда просто невозможна, причем зависимость ошибок от характера применяемых правил может приводить к такому их неравномерному распределению, которое создает видимость результатов своеобразного исторического процесса; в последнем случае реконструкция как раз и может следовать за этой обманчивой видимостью. Так, в частности, отдельные примеры им. ед. на *-e* в летописях и пергаментных грамотах были хорошо известны с конца прошлого века. Чаще всего эти примеры представляли собой имена собственные — видимо, по той причине, что собственные имена вообще сохраняют определенную независимость по отношению к орфографическим преобразованиям и поэтому могут являться в книжных текстах в своей разговорной форме⁶. Основываясь на этом факте, А. А. Шахматов, в других работах, впрочем, предлагавший иное, фонетическое, объяснение, считает возможным (как и ряд других исследователей) «выводить окончание *-e* в именительном единственном... из формы звательного единственного» [16, с. 50].⁷ Этот процесс, соглас-

⁶ Ср. устойчивое сохранение полногласия в собственных именах в древнейших летописных кодексах (*Володимерь, Всеволодь* и т. д.) [15]. Апеллятивная специфика этих имен исключает их из сферы действия «книжньющих» преобразований (положение отчасти меняется после второго южнославянского влияния).

⁷ Неправомерность разбираемой интерпретации не означает, конечно, что формы им. ед. на *-e* не тождественны этимологически формам вокатива. Неправомерно лишь предположение, что рассматриваемые формы являются инновацией, спроецированной звательной формой. Представляется убедительной точка зрения Вяч. Вс. Иванова, согласно которой им. ед. на *-e* восходит к индоевропейской форме *casus indefinitus*; к этой же форме восходит и славянский вокатив [14, с. 330—331]. Эта точка зрения предполагает, что в том праславянском диалекте, который лежит в основе древнеовгородского, произошло перераспределение функций падежных форм, при котором форма на *-e* стала употребляться во всех значениях им. падежа. Не обсуждая здесь гипотезы о фонетическом генезисе форм на *-e* (см. [17, 18]), ср. замечания по этому поводу у А. А. Зализняка (с. 134).

но данной точке зрения, имеет место прежде всего в собственных именах и является полным аналогом употреблению личных имен типа *Павло, Александро*, которые А. А. Шахматов также считает звательными формами, в функциях им. падежа [16, с. 49—50]. На имена нарицательные, прилагательные и причастия этот процесс распространяется вторичным образом, «когда именительный падеж стал употребляться в значении звательного» [16, с. 367]. Материал берестяных грамот не согласуется с подобной интерпретацией⁷: им. ед. на *-e* явно выступает как архаическая черта, которая «несомненно существовала уже в дописьменную эпоху» (с. 134) и отнюдь не была специально связана с собственными именами. Эта связь, которая подсказала Шахматову его интерпретацию, была обусловлена не собственно языковыми процессами, а условиями книжного письма.

Не менее обманчивую картину создают условия книжного письма и для процесса падения редуцированных, и эта обманчивость также рельефно оттеняется показаниями берестяных грамот. А. А. Шахматов считал, что «памятники XI—XII века дают основание утверждать, что в процессе падения полукратких гласных замечалась следующая последовательность: сначала исчезли полукраткие в начальном слоге слова; потом они исчезли в другом положении, т. е. в срединных и конечных слогах», причем «возможно, что прежде всего исчезли глухие в начальном слоге перед следующим ударяемым слогом» [19]. В результате дальнейших наблюдений пад книжными памятниками этот вывод осложнился дополнителным предположением, что ранняя утрата редуцированных не имела места в тех случаях, когда «редуцируемые в слабом положении соотносятся с редуцированными в сильном положении в составе той же морфемы» [20], ср. [24], т. е. фонетический процесс нарушался под воздействием морфологического фактора. Построенная таким образом картина соответствует показаниям памятников книжного письма, но игнорирует то обстоятельство, что между разговорным языком и его отражением в книжной письменности стоят правила, которыми руководствовался книжный писец в своей профессиональной деятельности. Если же предположить, что книжный писец писал еры не по слуху, а по правилам, то становится очевидным, что «частотность написаний без букв *ъ* и *ь* в старейших текстах убывает в последовательности, обратной возможности запоминания (усвоения) „правил“» [22, с. 402]. Действительно, писцу «легче всего было усвоить „правило“ написания букв *ъ* и *ь* в конце словоформ, оканчивавшихся

(после падения редуцированных) согласными; далее — в конце предлогов, а также приставок; сложнее — в правописании суффиксов, особенно — менее регулярных; наконец, наиболее сложным должно было быть усвоение написаний корней... Совершенно очевидно, что последовательность осуществления фонетического процесса не может соответствовать указанной градации, так как должна зависеть от фонетических условий, как правило, не связанных с тем, в какой или аффиксальной морфеме находится гласный» [22, с. 402].

Берестяные грамоты дают иную картину, нежели книжные тексты. В грамотах до середины XII в. (включительно) редуцированный в начале тактовой группы встречается 27 раз, нет ни одного случая пропуска редуцированного и лишь в одном случае имеется «избыточное» употребление ера между согласными, являющимися рефлексом *СС (*кърините*, № 160, сер. XII в.). В тех же грамотах (следует А. А. Зализняку, с. 123, мы рассматриваем здесь грамоты 246, 247, 527, 526, 562, 566 XI в., 109, 238, 120, 613 рубежа XI/XII в., 424, 605, 119, 241, 336, 429, 84, 335, 421, Свинц., Ст. Русса 7, 8, 12 первой пол. XII в. и 422, 105, 160, 524, 235 сер. XII в.) в середине тактовой группы на 79 случаев отражения редуцированного на письме встретилось 17 случаев пропуска соответствующей буквы или ее избыточного написания. Таким образом, в грамотах XI — сер. XII в. в начальной позиции падение редуцированных отражается в 3,5% случаев, тогда как в нена начальной позиции — в 17,7% случаев; при всей ограниченности данных это различие статистически значимо.

Следующий период показывает совершенно иную картину. В грамотах второй пол. XII — нач. XIII в. (рассматривались следующие грамоты: 509, 516, 78, 234, 155, 550 второй пол. XII в., 9, 163, 590, 87, 603 конца XII в., 227, 219, 439, 531, 601, 332 вж., бл. 436, 502, 609, 222, 334, 510, 600 рубежа XII/XIII в. и нач. XIII в., в дополнение среди грамот конца XII в. рассматривалась и дарственная Варлаама Хулынского) в начальной позиции на 35 случаев отражения редуцированного на письме фиксируется 18 случаев его пропуска или употребления избыточной буквы; для нена начальной позиции соответствующие цифры будут 80 и 39. Таким образом, в грамотах второй пол. XII — нач. XIII в. в начальной позиции падение редуцированных отражается в 34% случаев, тогда как в нена начальной — в 32,8% случаев; различие здесь статистически незначимо.

Как можно видеть, материал берестяных грамот позволяет сделать вывод о

том, что процесс падения редуцированных сначала развивается в печальных слогах, а затем распространяется и на начальный слог тактовой группы. Этот вывод прямо противоположен тому, который делался на основании анализа клипных текстов, не учитывавшего их специфики; он вместе с тем хорошо согласуется с типологически вероятным развитием подобных процессов (ср. хотя бы историю «е тише» в развитии французского языка)⁸. И в данном случае, как можно видеть, показания текстов, написанных профессиональными писцами,

⁸ В качестве единицы при подсчетах я выбрал тактовую группу, поскольку падение редуцированных как фонетический процесс должно было проходить в рамках именно этой фонетической единицы. Этот выбор определенным образом влияет на классификацию примеров. Так, при избранном подходе форма *къ мѣ* будет рассматриваться в числе примеров на редуцированный, выпавший в нена начальной позиции, а форма *къ мѣиѣ* — в числе примеров на сохраненный в нена начальной позиции редуцированный. В то же время я не включал в подсчет редуцированных в начальной позиции тактовые группы с редуцированным в предлоге (типа *кѣ немюу*), поскольку в предлоге, как и в конце слова, соответствующая буква могла, видимо, писаться автоматически (возможно, как разделительный знак). Однако, хотя при иных решениях конкретные цифры меняются, общий вывод остается тем же самым. Так, если в качестве единицы брать не тактовые группы, а «слова» (более традиционный подход), оказывается, что в грамотах XI — сер. XII в. падение редуцированных отражается в начальной позиции в 2,3% случаев, в нена начальной — в 21% случаев, в грамотах же второй пол. XII — нач. XIII в. оно отражается в начальной позиции в 35,8% случаев, в нена начальной — в 28,4% случаев. Если включить в подсчет тактовые группы с редуцированным в предлоге, то для первого периода соответствующие показатели будут 1,5% и 17%, для второго — 23% и 33,3%. Замечу, между прочим, что диспропорция последних двух показателей (23% и 33,3%) говорит о том, что написание *ѣ* (или *о*) в предлогах было и в берестяных грамотах в значительной степени орфографической условностью. Если бы их написание определялось таким же механизмом, как и написание соответствующих букв в других случаях, включение в подсчет тактовых групп с редуцированным в предлоге не должно было бы — в условиях завершившегося процесса падения редуцированных — влиять на соотношение разбираемых параметров.

отражают процессы, происходившие в живом языке, лишь очень опосредствованным образом и могут почти полностью затуманить картину реального диалектного разнообразия.

3. Итак, берестяные грамоты отчетливо показывают, что картина относительной однородности восточнославянских диалектов, восстанавливаемая по данным книжных текстов, возникает в значительной степени благодаря условиям книжного письма. Анализ берестяных грамот, сделанный А. А. Зализняком, позволяет увидеть, насколько существенны те особенности, которые были присущи древненовгородскому диалекту. Эти особенности ставят перед историком языка целый ряд проблем, поскольку обнаруживают неадекватность традиционной картины восточнославянского языкового развития и вместе с тем требуют переосмысления давно известных фактов и разработки новых схем междиалектного взаимодействия, связывающих праславянское языковое состояние с диалектным разнообразием современных славянских говоров.

Одна из возникающих здесь проблем имеет методологический характер и относится к работе с письменными книжными источниками. Данные берестяных грамот позволяют увидеть, как работает «фильтр» профессиональных навыков книжных писцов, какие факты диалектного языка через этот фильтр проходят и какой вид они при этом приобретают. Таким образом, для Новгорода мы имеем как бы два члена пропорции: диалектный язык и его отражение в книжных памятниках. Предполагая действие аналогичного фильтра и на других территориях и исходя из полученной для Новгорода пропорции, можно попытаться построить методику, позволяющую по данным книжных текстов других ареалов составить представление об отражающемся в них явлении диалектного языка. Вместе с тем вскрытая рецензируемым исследованием специфика древненовгородского диалекта подчеркивает существенную неполноту наших знаний о других восточнославянских диалектах, наличие обширных белых пятен в общей картине развития славянских языков в древнейшую эпоху. Отличия древненовгородского говора от других славянских диалектов настолько велики, что под сомнением оказываются самые параметры, на основе которых членится славянская диалектная область. Неясно, например, каково соотношение сходных и несходных черт при такой попарной группировке, как, например, древнесловенские диалекты и словачские диалекты, словацкий и лехитские языки, лехитские языки и древненовгородский диалект и т. д., причем сложность картины возрастает, если пе-

рейти (как это, видимо, целесообразно при сравнительно-исторических сопоставлениях, ср. [23, с. 54—55]) к более дробному диалектному членению. Очевидно, что старая схема (отдельные исследователи, впрочем, продолжают придерживаться ее или тех или иных ее модификаций и по сей день), согласно которой праславянский распадался на три диалекта, которые в своем последующем развитии и дали соответственно южнославянские, западнославянские и восточнославянские языки, не согласуется с особым положением древненовгородского, так что специфика этого говора может служить еще одним сильнейшим аргументом против традиционной концепции славянского диалектного развития. Отказ от старых концепций (у такого отказа тоже есть своя достаточно давняя традиция), однако, никаких проблем не решает, а лишь указывает на необходимость принципиально нового построения, требующего нового осмысления разнообразия фонетических, морфологических, акцентологических и лексических изоглосс на славянской территории.

Анализируя берестяные грамоты, А. А. Зализняк вскрыл в них ряд черт, не замеченных прежде в силу неправильного чтения текста, которые объединяют древненовгородский диалект с лехитскими (или вообще западнославянскими) языками. Сюда относятся рефлексy **kv*, **gv* (корни *кѣлѣ*, *кѣтъ*— *зѣзд*— *зѣврст* в отличие от южного восточнославянского *цѣлѣ*, *цѣтъ*, *зѣзд*— с. 112—113) и рефлексy начального **tl* (*кляць* в отличие от южного восточнославянского *лещь* — с. 119—122). В последнем случае данные берестяных грамот явно должны быть соотнесены с показателями псковских говоров, обнаруживающих /kl/, /gl/ на месте срединных **tl*, **dl* (в соответствии с /tl/, /dl/ [по говорам /gl/] западнославянских языков). Эти факты особенно значимы, поскольку в целом ряде отношений псковские говоры могут сохранять (по крайней мере, в реликтовом состоянии) черты древненовгородского диалекта⁹. С. Л. Николаев недавно показал (устное сообщение), что сохраняющиеся в псковских говорах реликтовые формы

⁹ См. об отсутствии рефлексов второй палатализации [4]. О формах им. ед. на -e и о формах 3-го лица презенса без -*тъ* см. [24, 25], ср. еще [26]. Оставляю здесь без внимания вопрос о возможной гетерогенности древненовгородского диалекта; в любом случае правдоподобно, что псковские говоры консервируют ряд черт древненовгородского диалекта (или одного из его вариантов), которые в ходе последующего развития на собственно новгородской территории были утрачены.

типа *наслѣгать* «наследить», *рогати* «рожать», *завѣкать* «завещать», *сустрекаѣи* «встречать» и т. п. предполагают [k̄, ḡ] (палатальные смычные) в качестве рефлексов *tj, *dj и что, таким образом, рефлексы *tj, *dj в древнепсковском (а также, видимо, и в древненовгородском) совпадают с рефлексами заднеязычных перед монофтонгизированными дифтонгами (рефлексами «второй палатализации»); это совпадение также является чертой, объединяющей восточнославянский северо-запад с западнославянскими языками¹⁰. В качестве такого же рода черты может рассматриваться, естественно, и отсутствие *-ть* в окончаниях 3-го лица презенса.

Указанные факты побуждают вновь поставить вопрос о связи древненовгородского (а, возможно, и вообще древнего северного восточнославянского) с западнославянскими диалектами (о чем в свое время писал еще Д. К. Зеленин [27]).

¹⁰ Палатальные смычные [k̄, ḡ] выступают как необходимый этап процесса палатализации, как начальная стадия этого процесса, обусловленная аккомодацией заднеязычного согласного и следующего за ним переднего гласного (ср. [6, с. 27]); столь же естественны палатальные смычные и в качестве рефлексов *tj, *dj, представляя собой результат ассимиляции по месту образования. Это позволяет предположить, что в псковских говорах (и, видимо, в древненовгородском) отразился начальный этап того фонетического развития, который дал аффрикаты [с, з] или [č, ž] на месте соответствующих рефлексов в западнославянских языках. Отличие древненовгородского от западнославянских состоит (помимо различий в фонетическом качестве) в том, что в последних рефлексы *tj и второй палатализации совпали с рефлексами третьей палатализации ([č]), и все вместе оказались противопоставленными рефлексам первой палатализации ([č̄]), тогда как в древненовгородском совпавшие рефлексы *tj и второй палатализации ([k̄]) оказались противопоставленными совпавшим в свою очередь рефлексам первой и третьей палатализации ([с]). Это различие в фонетическом развитии можно объяснить как по-разному реализующуюся общую тенденцию к сокращению противопоставленных среднеязычных затворных согласных (от трех к двум); позднейшую реализацию этой же тенденции можно видеть и в мазурень. Замечу, что при такой интерпретации восточнославянское цоканье оказывается системно обусловленным, что, впрочем, не исключает возможности субстратного влияния как сопутствующего фактора (как и в случае с мазуреньем).

Общие реликтовые формы (архаизмы, приобретают в данном случае особое значение; они, видимо, очерчивают периферию большого ареала, который можно было бы обозначить как северную группу общеславянских диалектов [28, с. 70 и сл.]. При этом следует иметь в виду, что набор признаков, по которым северная группа противопоставляется южной, оказывается — сравнительно с диалектным членением известных живых языков, например, болгарского или немецкого — очень ограниченным (ср. [29; 30, с. 190—192]), что подчеркивает значимость древненовгородско-западнославянских изоглосс. Число контрастирующих признаков убывает при движении с северо-востока на юго-запад (от Новгорода к Вышеграду), что может указывать на широкие процессы общеславянского междиалектного выравнивания — их интенсивность особенно велика в центре Восточной Европы и ослабевает на ее северо-восточной периферии. Вместе с тем специфические древненовгородские архаизмы предполагают, в принципе, что ряд конвергентных процессов в Восточной Европе имел место уже после того, как на северо-западе восточнославянской территории возникли славянские поселения (образовавшие, таким образом, своего рода изолят, огражденный от этих процессов).

В ряде недавних работ Г. Лант, основываясь на том, что в позднем общеславянском число диалектных различий крайне ограничено, предполагает, что это относительно поздние инновации, возникшие после интенсивного выравнивания славянских диалектов в период между 500 и 750 гг. [30, с. 202—203], ср. [31, с. 66]. Реконструкция древненовгородского диалекта и обнаруживающиеся при этом древние северославянские изоглоссы требуют, как кажется, определенной модификации этой гипотезы. Следует, видимо, думать, что конвергентные процессы проходили на славянской территории с неравномерной интенсивностью, причем север выступал для этих процессов как периферийная зона, в которой их интенсивность ослабевала и могли консервироваться определенные черты старого диалектного единства (ср. о периферийных зонах [23]); соответственно, отдельные изоглоссы (те, которые объединяют восточнославянский северо-запад с западнославянскими языками) имеют для позднего общеславянского не характер инновации, а характер архаизма; последующее членение славянской языковой области определяется сложным синтезом этих архаических черт с теми диалектными инновациями, о которых говорит Г. Лант¹¹.

¹¹ Конвергентные процессы по-разному

Высказанные соображения представляются собой лишь попытку очертить те перспективы, которые открывает исследование А. А. Зализняка перед исторической диалектологией славянских языков. Еще существенные результаты изучения берестяных грамот для исследования восточнославянской диалектной области. В свое время Р. И. Аванесов писал о том, что лингвогеографическое исследование не в состоянии вскрыть «старые диалектные черты, соответствующие старым племенам», поскольку они «не только затемнены последующими процессами, но, можно сказать, почти полностью перекрыты ими и не оставили после себя достаточно ощутимых следов» [32]. Как раз эти следы и отыскиались в берестяных грамотах, причем обнаруживающихся в них черты позволяют по-новому взглянуть и на современные говоры и увидеть в них реликты тех самых явлений, которые характеризовали древненовгородский диалект.

Ранее восточнославянская диалектология имела дело с двумя совокупностями данных. С одной стороны, сравнительная грамматика славянских языков указывала на пучок изоглоссов, отделяющих восточнославянские диалекты от южнославянских и западнославянских; как бы ни трактовались отдельные элементы этого пучка и время развития тех или иных изоглоссов, хронологические границы этих данных не пересекали рубеж X—XI вв. С другой стороны, реконструкция, опирающаяся на современные диалектологические данные, как правило, выявляла лишь изоглоссы, возникающие в XIII—XIV вв., т. е. глубина реконструкции едва достигала рубежа XII—XIII вв. Таким образом, период более чем в два века оказывался практически выпавшим в схемах восточнославянского историко-диалектного развития. Исследование А. А. Зализняка заполняет этот разрыв для северо-запада восточнославянской территории, и этот образец последовательно прослеженного развития может,

отражаться на разных уровнях языка. Конвергенция стирает прежде всего различия фонетического и морфологического характера, тогда как в лексике инновации сравнительно легко могут уживаться с архаизмами, что и приводит к той «мозаичности... внутриславянских изолексов», о которой писал О. Н. Трубачев [31, с. 66]; ср. описание этой мозаичной картины у Н. И. Толстого [23, с. 48—56]. Такой же характер мозаичности, обусловленной сложностью диалектного членения славянской языковой области в период, предшествовавший радикальной нивелировке диалектов, свойствен, видимо, и целому ряду акцентологических изоглоссов.

видимо, иметь принципиальное значение для реконструкции общей картины.

Прежде всего становится очевидным, что существенным моментом развития в XI—XIII вв. были конвергентные процессы. Это ставит под сомнение существование единого правосточнославянского языка, который в результате дивергентного развития дал первоначально отдельные группы восточнославянских диалектов, а затем в результате взаимодействия этих групп и дальнейшей дивергенции — современное разнообразие восточнославянских диалектов. Отличия древненовгородского диалекта от, скажем, древнекиевского оказываются на общеславянском фоне настолько радикальными, что целесообразно, видимо, предположить участие по крайней мере двух исходных диалектов (диалектных групп) в восточнославянском языковом развитии¹². Позднейшие процессы сглаживали различия между двумя исходными диалектами, и это сглаживание ясно отражается в берестяных грамотах (с. 217).

Принципиальная проблема, встающая в этой связи, состоит в том, как из этих двух центров — северного и южного — развилось все многообразие восточнославянских говоров. Социально-исторические параметры этого развития до известной степени выяснены исторической диалектологией восточнославянских языков; обособление диалектных групп так или иначе соотносится с политическим и хозяйственным обособлением отдельных регионов в составе Русской земли [28]. Определению подлежат те языковые компоненты, которые участвовали в образовании отдельных диалектных групп, и самый механизм их взаимодействия. Так, например, если мы примем отсутствие второй палатализации, характерное для древненовгородского диалекта, всему северному восточнославянскому центру, мы должны будем объяснить, каким образом появляются рефлексы второй палатализации в ростово-суздальской диалектной зоне (в корнях; отсутствие чередования заднеязычных со свистящими

¹² Это, конечно, отнюдь не новое решение. Оно предлагалось и ранее вне зависимости от материала берестяных грамот. Основанием были такие изоглоссы, как /γ/ — /g/ и различие/неразличие аффрикаты (цокашь), см. [28, с. 81 сл.]. Из традиционного матерпала сюда же может быть отнесено фонетическое качество второго о (тождество рефлексов с рефлексами *o или *ъ) в полногласных сочетаниях (ср. [33]). Как бы то ни было, материал берестяных грамот имеет кардинальное значение для вопроса о дуцентровости исходного восточнославянского языкового развития.

ми в словозменении может, в принципе, интерпретироваться и как влияние северо-западного диалекта и даже как сохранение архаической черты, присущей восточнославянскому северу). Появляются ли они под влиянием диалектов восточнославянского юга, являются ли они следствием междиалектного смещения на ростово-суздальской территории или же они отражают исконную гетерогенность северной диалектной группы? Все эти возможности могли иметь место; для ряда восточнославянских территорий механика образования исходных диалектных особенностей могла также определяться наложением славянской речи (северного или южного происхождения) на разнородный балтийский субстрат. В любом случае установление двух исходных центров в восточнославянском языковом развитии и реконструкция многочисленных особенностей северной диалектной группы, намеченные в исследовании А. А. Зализняка, ставят перед исторической диалектологией принципиально новые задачи, поскольку принципиально меняются наши представления об исходных компонентах, участвовавших в формировании восточнославянского диалектного разнообразия. Решение этих задач требует сотрудничества лингвистов с археологами, антропологами и историками. Таким образом, разбираемое исследование А. А. Зализняка наряду с трудами В. Л. Янина служит отправным моментом для целого комплекса работ, которым предстоит вскрыть всю сложность лингвистических, культурных, этнических и политических процессов, определивших превращение восточнославянской территории в единую Русскую землю.

Живов В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964. С. 236.
2. Гард П. К истории восточнославянских гласных среднего подъема // ВЯ. 1974. № 3. С. 114.
3. Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. С. 16—19.
4. Глушкина С. М. О второй палатализации заднеязычных в русском языке (На материалах северо-западных говоров) // В кн.: Псковские говоры. Т. II. Псков, 1968.
5. Stieber Z. Druga palatalizacja tylnojęzykowych w świetle atlasu dialektów rosyjskich na wschód od Moskwy // RS. 1968. T. XXIX. Cz. 1.
6. Lunt H. G. The progressive palatalization of Common Slavic. Skopje, 1981.

7. Lunt H. G. The progressive palatalization of Early Slavic: Opinions, facts, methods // Folia linguistica historica. 1987. V. 5.
8. Vermeer W. The rise of the North Russian dialect of Common Slavic // Studies in Slavic and general linguistics. 1986. V. 8.
9. Касаткин Л. Л. Русский диалектный консонантизм как источник истории русского языка. М., 1984. С. 32—36.
10. Касаткин Л. Л. Об условиях и времени изменения *ѣ* и *ѣе* в русских говорах // Russian linguistics. 1985. V. 9. № 2—3. P. 339—343.
11. Shevelov G. Y. A historical phonology of the Ukrainian language. Heidelberg, 1979. P. 142.
12. Дурново Н. Славянское правописание X—XII вв. // Slavica. 1933. Ročn. XII. Seš. 1—2. S. 45.
13. Живов В. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian linguistics. 1984. V. 8. № 3.
14. Иванов Вяч. Вс. Отражение индоевропейского casus indefinitus в древневосточном диалекте // Russian linguistics. 1985. V. 9. № 2—3.
15. Hüttl-Folter G. Die *trat/torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Wien, 1983. P. 31—33.
16. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
17. Шахматов А. А. К истории звуков русского языка // Изв. ОРЯС. 1903. Т. VIII. Кн. 2. С. 318, 323, 334.
18. Шахматов А. А. Исследование о движущихся грамотах XV в. Ч. 1. и II. СПб., 1903. С. 99.
19. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. С. 217—218.
20. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965. С. 100.
21. Фалев И. А. О редуцированных гласных в древнерусском языке // Язык и литература. 1927. Т. II. Вып. 1.
22. Хабургаев Г. А. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история языка. Ереван, 1976.
23. Толстой Н. И. О соотношении центрального и периферийного ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
24. Каринский Н. М. Очерки по истории псковской письменности и языка. 1. Исследование языка Псковского Шестоднева 1374 г. СПб., 1916. С. 38—39.
25. Соболевский А. И. Два слова о псков-

- ском говоре // РФВ. 1916. Т. 75. № 1. С. 139—140.
26. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии / Под ред. Орловой В. Г. М., 1970. С. 124—130.
27. Зеленин Д. К. О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. № 6.
28. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980.
29. Lunt H. G. On writing the history of the language of Old Rus' // Semiosis. Semiotics and the history of culture. In honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1984. P. 308—310.
30. Lunt H. G. Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonic // Litterae slavicae Medii aevi. Franciscus Venceslao Mares Sexagenario oblatae. München, 1985.
31. Трубочев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6.
32. Аванесов Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ. 1947. № 9. С. 124.
33. Живов В. Еще раз о правописании *ц* и *ч* в древних новгородских рукописях // Russian linguistics. 1986. V. 10. № 3. P. 305.

Baker R. The development of the Komi case system. A dialectological investigation. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura. 1985. X + 266 p. (Mémoires de la Société Finno-ougrienne. T. 189).

В зарубежном финно-угроведении последних лет Робин Бейкер известен как автор содержательных работ.

Ряд исследований Р. Бейкера посвящен коми языку, входящему в пермскую группу финно-угорских языков. В рецензируемой работе прослеживается развитие системы склонения коми языка; фактически работа представляет собой расширенный вариант докторской диссертации «Innovation and variation in the case system of contemporary Komi dialects», защищенной автором в 1984 г. при Ист-Английском университете. В отличие от диссертации, описание в публикации дано на более широком фоне языковых особенностей уральской языковой семьи.

Обширному исследованию (276 с.) предпослано введение (с. 2—18), в котором приводится необходимая информация об «экзотической» коми стране, ее народе и истории.

Основная часть работы делится на три главы: «Коми язык» (с. 19—115), «Система склонения» (с. 116—174), «Иновации и вариации» (с. 175—240). К работе приложены схематические (диалектологические) карты коми языка, а также карты ареалов соседних языков.

Восходящие к пермскому праязыку, удмуртский и коми языки по сей день сохраняют значительную близость: общими являются 80% лексики, много общего в грамматических системах. Автор прав, указывая, что тюрко-татарскому влиянию подвергся прежде всего удмуртский язык, в коми же языке более ощутимо влияние русского языка. Фонетико-фонологическая система пермских языков в целом

сохраняет архаичные черты; так, например, сохранялось различие между *s*, *š* и *š*, восходящее к уральскому праязыку. Пермские языки относятся к старописьменным языкам. Древнепермские тексты XIV в. — большое подспорье при изучении истории коми языка. В нижневолжском краю в то время господствовал еще чистый *l*-овый диалект. Переход *l* > *v* произошел явно не ранее XVII в. Порядок слов в коми языке относительно свободен. По мнению Р. Бейкера, исходным порядком является SVO, который в древних текстах чередуется с порядком SOV, в чем Р. Бейкер усматривает влияние оригинальных текстов. Отметим, что исходным типом для уральских языков обычно все же считается порядок SOV [1, 2].

Использование предлогов агглютинирующим финно-угорским языкам несвойственно. Их появление в коми языке объясняется влиянием русского языка, например, *munim t'serez mel'uxino* «(мы) пошли через Мелюхино» (с. 29). Слова же заимствовались и из соседних родственных языков (обско-угорских, ненецкого, вепского, марийского). Заимствование союзов из русского языка привело к формированию паратаксиста и гипотаксиста, характерных для индоевропейских языков (и до сих пор, впрочем, отсутствующих в самодийских языках). По мнению Р. Бейкера, влияние русского языка на разных уровнях наиболее ощутимо в коми-язвинском наречии. Но есть и другие диалекты и наречия, в которых оно не слабее, чем в коми-язвинском.

Несмотря на некоторые изменения, ко-

ми язык в своей основе является агглютинирующим. Представляется поэтому парадоксальным высказанное в свое время ошибочное мнение просветителя-поэта И. А. Куратова о коми языке как языке изолирующего типа (с. 47). Для агглютинирующих языков в целом характерна сингармония гласных, отсутствующая в современном коми языке, как и в ряде других финно-угорских языков. Надо, однако, подчеркнуть, что исчезновение ее иногда представляется весьма загадочным. Так, не знает сингармонии гласных современный эстонский литературный язык, хотя в ряде его диалектов (как и в близкородственном финском языке) она сохраняется.

Много внимания Р. Бейкер уделяет описанию диалектных различий исследуемого языка. При этом им использован ряд монографий по диалектам коми языка, составленных коми учеными. Существенный дополнительный материал — прежде всего по коми-пермяцким говорам — почерпнут из рукописного собрания финского ученого Т. Э. Уотила, а также из текстов, опубликованных П. Ариэст в сборнике «Fennougristica». 5 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1978. Вып. 456).

Различные мнения относительно границ диалектных зон Р. Бейкер излагает полностью. Например, по-разному решается в литературе вопрос о том, причислять ли верхнекамское наречие к коми-пермяцкому языку (с. 55).

Основные различия между тремя наречиями коми языка (коми-зырянского, коми-пермяцкого, коми-язьвинского) Р. Бейкер иллюстрирует, опираясь прежде всего на фонологические, морфологические и лексические критерии. Одной из морфологических особенностей является количество падежей, которых в коми-зырянском и коми-язьвинском наречиях насчитывается примерно равное количество (соответственно 17 и 15), в коми-пермяцком же — 22. К сожалению, не указаны говоры с еще большим количеством падежей (в крохальском говоре нижнеиньвенского диалекта, например, 28 [3, с. 142]). Число падежей в этом диалекте превышает даже число их в венгерском языке (23 падежа), которое до сих пор считалось максимальным для финно-угорских языков.

Р. Бейкер, исходя из данных истории языка, в некоторых случаях причисляет созвучные флексии к разным падежным формам. Так, в коми-пермяцком языке окончания *-viš* аблатива и *-ve* аккузатива восходят к формам с начальным **l*, в то время как *-viš* сублатива и *-ve* суперлатива исконно содержали *v*. По мнению рецензента, Р. Бейкер прав, связывая и флексию *-v:n* генитива с коми-зырянским

и коми-язьвинским формантом *-len, -lan* (с. 68), хотя некоторые советские лингвисты эти формы считают различными по происхождению.

При переходе к более детальному разграничению диалектов и говоров коми языка неизбежно возрастает число учитываемых параметров.

Из области морфологии особенно привлекает внимание объяснение происхождения признака мн. числа *-an (-jan)*: предполагается, что в основе этих форм лежат генитивные формы личных местоимений (*mijan* «наш», *tijan* «ваш»), с последующим ограниченным переходом их конечного компонента в качестве признака мн. числа на одушевленные существительные, прежде всего в их созвучных формах — *pijan:ponpijan* «ценки». При этом все же необходимо упомянуть, что **ja/*jä* является древнейшим суффиксом уральских языков со значением собирательности (и места), который в разных языках нередко лежит в основе признака мн. числа (в самодийских языках *je, i*, в венгерском, саамском и прибалтийско-финских *i < ja, jä* [4, 5]). В некоторых диалектах слияние падежных окончаний привело к образованию новых падежей, например, аблатотерминатива *-išed'ž* (аблат. + терминат.) в пижне- и верхневычегодском и др. Лексическое варьирование в северных районах объясняется влиянием немецкого языка. При установлении границ диалектных зон Р. Бейкер привлекает и синтаксические параметры, прежде всего использование наименований парных частей тела в ед. (как исконный вариант) или во мн. числе (под влиянием русского языка, например, в коми-язьвинском *kokjožo, kijožo* «в ноги, в руки»).

Опираясь на комплекс фонологических, морфологических, синтаксических и семантических критериев, Р. Бейкер выделяет всего 18 диалектных зон. 10 коми-зырянских диалектов традиционны, относительно же коми-пермяцкого и коми-язьвинского нет единства и у советских исследователей, ср. [6, с. 113; 3, с. 210—235]. Автор справедливо утверждает, что при проведении границ диалектных зон наряду с формами с исходным *l* (эловые, нуль-эловые, вз-эловые, безэловые) необходимо учитывать и другие факторы (с. 103), но ведь именно так обычно и поступают. Поэтому представляется преувеличенной критика Р. Бейкера в адрес советских исследователей, которые якобы разграничивают диалекты коми языка, опираясь на типы *l*-форм в качестве единственного или главного параметра (the sole or primary parameter, с. 104). Наоборот, общепризнанной является точка зрения, согласно которой «диалекты коми-зырянского, коми-пермяцкого наречий

классифицируются по целому комплексу особенностей» [6, с. 110].

Вряд ли можно согласиться с рекомендацией Р. Бейкера опираться при классификации коми диалектов прежде всего на словесное ударение как наиболее характерный показатель («the most useful single index in Komi dialect classification», с. 115). Фоном при формировании общих или отличительных черт различных диалектов во многом является миграция населения, имевшая место в прошлом; следы ее проявляются и в этнографии. Увеличение внимания к экстралингвистическим факторам (социологическим, культурным и др.) может в будущем при изучении диалектов оказать существенную помощь.

В падежной системе коми языка Р. Бейкер подчеркивает такие существенные черты, как соотношение определенности/неопределенности и одушевленности/неодушевленности. Такая же инновация наблюдается еще в марийском, селькупском и некоторых других языках. Как известно, в финно-угорском или уральском праязыке дихотомическим соотношением одушевленности/неодушевленности были охвачены лишь разнокорневые-вопросительные местоимения (**ku* — «кто» — **mi* — «что»). Подсчеты Р. Бейкера свидетельствуют о том, что в 700 случаях флексия аккузатива *-es* соотносена с одушевленными объектами, *-s* — с неодушевленными (в 92% случаев).

Основы современной падежной системы коми языка, как известно, восходят к уральскому праязыку. Наряду с окончанием генитива **-n* и аккузатива **-m* Р. Бейкер предлагает и форму *-θ* (с нулевым окончанием), совпадающую с окончанием номинатива (с. 129). Такое решение, однако, представляется спорным. В финно-угорском праязыке к более ранним формам латива на **-i* и **-k* присовокупились формы на **-j*, формы же локатива на **-na/-*nā* обогатились типом на **-t!/-tt*.

Первоначальные падежные окончания могли иметь своим источником местоимения, как и принято считать, однако происхождение аккузатива на **-m* остается неясным. Форма аккузатива (*-es*) с элементом на *s* современного коми языка восходит (через промежуточное звено в качестве суффикса притяжательного местоимения) к уральскому указательному местоимению «этот» (отметим, что вместо **se* (с. 137) правильнее была бы форма **še*, см. [7]). Объяснения, касающиеся происхождения поздних коми падежей, Р. Бейкер излагает детально, в ряде случаев оставляя читателю решить, которое из них считать более убедительным. Верно утверждение, что окончание элатива *-iś* — по фонологическим и семантическим соображениям — неправомерно связы-

вать с прибалтийско-финским суффиксом наречий *-sti* (с. 143). Однако следует отметить, что **-sti*, как известно, и является производным от элатива на **-sta*, сложившимся лишь в волжский период развития прибалтийско-финских языков, когда контакт с языками пермской группы уже был нарушен.

Возникновение ряда *l*-падежей (генитив *-len*, аблатив *-liś*, датив *-li*) Р. Бейкер связывает с компонентом «одушевленный», причем исходным моментом остается локальная функция. По мнению Р. Бейкера, развитие *l*-падежей, восходящих к показателю «одушевленный», в марийском и прибалтийско-финских языках происходило параллельно. Все же представляется, что совпадение падежей в пермских и прибалтийско-финских языках только лишь параллелизмом объяснить невозможно, настолько значительно совпадение форм в этой группе падежей. Ср. датив в коми *-li*, в удм. *-li* — аллат. в прибалт.-фин. **-len*; генит. в коми *-len*, в удм. *-len* — адессив в прибалт.-фин. **-lna*; аблат. в коми *-liś*, в удм. *-leś* — аблат. в прибалтийско-финск. **-lta*. Именно поэтому хотелось бы в работе видеть более обширное сопоставление *l*-падежей.

Отдельно рассматривается развитие и всех других падежей коми языка, а также формы с послелогами, заменяющие собой определенные падежи или выступающие параллельно с ними. Основные модели флексий — V, VC, CV, CVC, а в диалектах — как результат слияния флексий — также VCVC и CVCCV.

Разграничение флексии и послелога иногда затруднительно, особенно в случаях видоизменения послелога. Некоторые конструкции с послелогами явно возникли в результате пересмысления русских предлогов, например, *tu da va vilin* «на земле и воде». (Отметим в качестве сравнения, что такая же тенденция перехода к аналитическим конструкциям наблюдается и в других финно-угорских языках, например, в эстонских диалектах по соседству с русским языковым ареалом *laua peal* «на столе», при общем превалирующем синтетическом типе адесс. *laua-l* «на столе».) Анализируя использование конструкций с *din*, Р. Бейкер приходит к верному выводу о том, что семанτικο-синтаксические критерии для отграничения флексийных форм от послеложных фактически отсутствуют (с. 168). Это же, впрочем, констатировалось и исследователями аналогичных форм в прибалтийско-финских языках [8, 9]. В последней части исследования Р. Бейкера дается обзор ряда новообразований, среди которых центральное место занимают падежи с послеложным элементом на *vil*. В южных диалектах коми-пермяцкого языка разные формы после-

логов с основой на *vil-*, сливаясь с основным словом, дали ряд новых падежей (суперэссив *-vin*, суперлатив *-ve*, сублатив *viš*, перлатив *-vet/-vet*, супертерминатив *-ved'ž*, суперэргессив *-višaň/-viššaň*). Не оставлены без внимания и падежи более позднего образования, производные от послелогов *din-* и *ord-*. К интересным инновациям относит автор приобретение надежным окончанием датива *-li/-le* значения аккумулятива. Однако в коми лингвистике принято считать, что употребление *-li/-le* в функции вин. падежа — это реликт датива, который «имел более широкие функции, обозначая вообще объект, на который переходит действие» [10]. Р. Бейкер убедительно опровергает сравнение с чувашским языком, в котором датив и аккузатив также омонимичны: в чувашском совпадение имеет фонетическую основу. Верна и позиция Р. Бейкера, связывающего присоединение датива *-li* к логическому субъекту с явным влиянием русского языка, ср. *brigad'irl'i dolžen tedn'i udžse* «бригадиру надо знать свою работу». Фактический материал в основном взят, естественно, из работ советских исследователей; тщательно Р. Бейкером изучены и рукописные собрания Т. Э. Уотила.

Особую группу среди падежей позднейшего образования в коми языке составляют в разных диалектах сложно-флективные формы. Многие из них возникли на базе апроксиматива *-lañ* в сочетании с иллативом (*-lañe*), инессивом (*-lañin*), терминативом (*-lañed'ž*), транзитивом (*-lañiti*), элативом (*-lañiš*), эргессивом (*-lañšaň*). Рассмотрение этих форм остается в работе поверхностным, полностью отсутствует их семантико-синтаксический анализ (ср. более детальное описание, данное Г. Некрасовой [11]).

В итоге можно констатировать, что исследование Р. Бейкера представляет со-

бой весомое дополнение ко всему тому, что с большой последовательностью делается по изучению финно-угорских языков в Коми филиале АН СССР и в других исследовательских центрах нашей страны.

Алвре П. Ю.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Janhunen J.* On the structure of Proto-Uralic // FUF. 1982. XLIV. 1—3. P. 39.
2. *Korhonen M.* Johdatus lapin kielen historiaan // Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toimituksia. 1981. 370. S. 342.
3. *Баталова Р. М.* Коми-пермяцкая диалектология. М., 1975.
4. *Künnap A.* System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. I. Numeruszeichen und Nominalflexion // MSFOu. 1971. 147. S. 50.
5. *Alvre P.* Soome-ugi keelte ajalooline grammatika. I. Tartu, 1983. Lk. 42.
6. Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермские и угорские языки. М., 1976.
7. Основы финно-угорского языкознания (Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 399.
8. *Oinas F. J.* The development of some postpositional cases in Balto-Finnic languages // MSFOu. 1961. 123. P. 175—180.
9. *Зайцева М. И.* Грамматика венского языка. Л., 1981. С. 186—187.
10. Современный коми язык. Ч. 1. Фонетика, лексика, морфология / Под ред. Лыткина В. И. Сыктывкар, 1955. С. 141.
11. *Некрасова Г.* О падежах на *-lañ(-)* в коми языке // Пауль Аристе и его деятельность. Fenno-ugristica. 12. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1985. Вып. 690.

МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ
КНИГ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ».
ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗЕНТА,

Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. 349 с.

Циткина Ф. А. Терминология и перевод (К основам сопоставительного терминоведения). Львов, 1988. 158 с.

Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Наречие, служебные части речи, изобразительные слова). Л., 1987. 152 с.

Dressler W. U., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W. U. Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam — Philadelphia, 1987. 151 p.

Hall R. A. (Jr.) Linguistics and pseudolinguistics. Selected essays 1965—1985. Amsterdam — Philadelphia, 150 p.

Janhunen J. Glottal stop in Nenets. Helsinki, 1986. 202 p.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 28.04.88

Подписано к печати 13.07.87

Формат бумаги 70×100^{1/16}

Высокая печать

Усл. печ. л. 13,0

Усл. кр.-отт. 75,5 тыс.

Уч.-изд. л. 15,2

Бум. л. 5,0

Тираж 5733 экз. Зак. 1570

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6